Владимир Маяковский

зори

гори из

пламъци

пламъци и

зора

е

гори

вся

В. В. МАЯКОВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

●

ПОЭМЫ
ПЬЕСЫ
ПРОЗА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 7
М 39

Тексты и научный аппарат тома
подготовлены издательством «Художественная литература»
с участием Института мировой литературы
имени А. М. Горького АН СССР

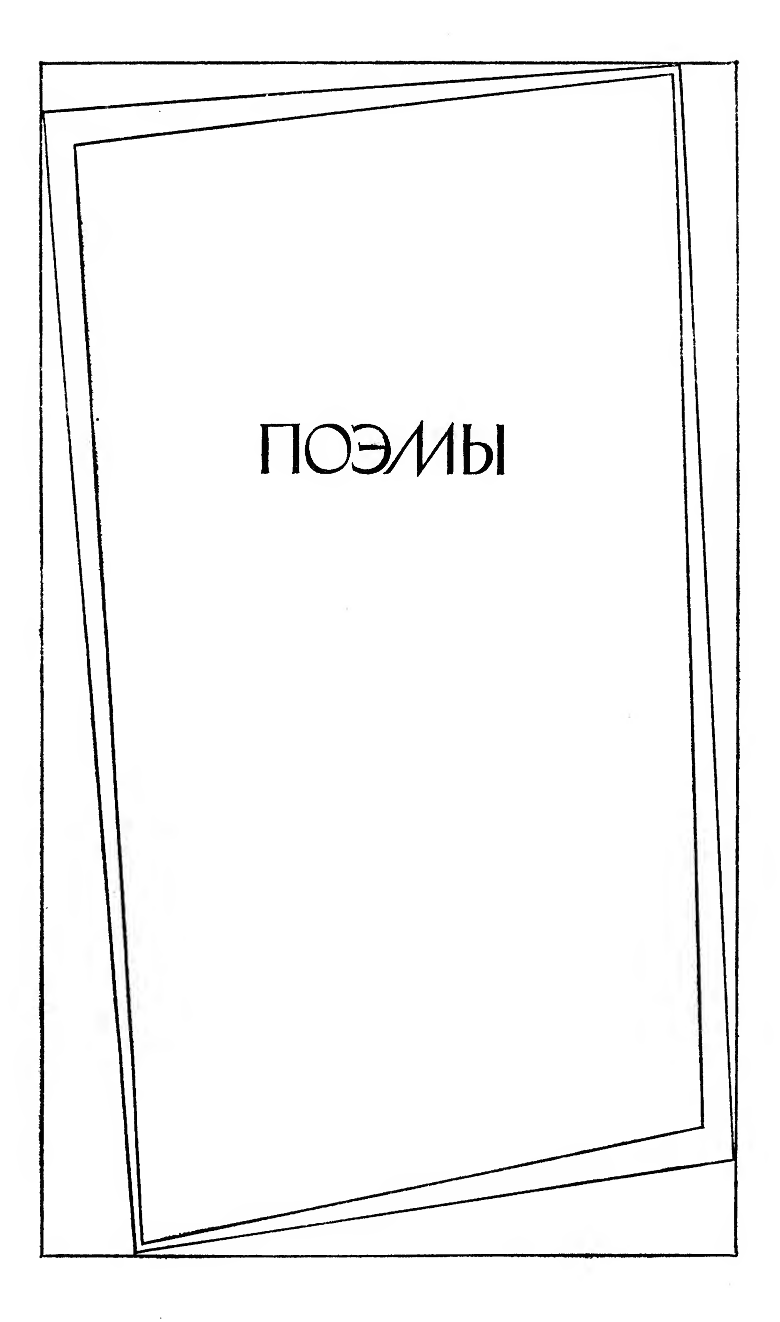
Составление
Ал. Михайлова

Общая редакция
В. Ракова

Примечания
А. Ушакова

Оформление художника
А. Еремина

М $\frac{4702010200-1515}{080(02)-88}$ 1515—88 (подписное)



ПОЭМЫ

ОБЛАКО В ШТАНАХ

Тетраптих

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огро́мив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходи́те учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре»,— сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,

плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала,—
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,—
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.

Теперь и он, и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится,—
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на́ зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходи́те.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть»,—
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей зáгиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дрáзните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен,—
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня малó.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,—
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,—
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil» [1].

---

[1] «ничто» (*лат.*).

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улицу му́ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi [1] и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.

Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хо́рах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

---

[1] такси *(фр.)*.

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъя́звили проказу,—
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне —
люди,
и те, что обидели,—
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
ра́спял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!

Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли»,—
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом гря́зненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршнью обрызганных предательством звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы,—
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске,—
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять!—
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят,—
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц,—
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бóк,
наклонюсь
и скажу ему нá ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?

Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим пó столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи,—
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской мýки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова,—
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!

Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
вправе ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914—1915

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

ПРОЛОГ

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

1

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

Буре веселья улицы у́зки.
Праздник нарядных черпал и че́рпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!

Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто́ ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спа́ленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью па́ленной,
и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!

Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь!—
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубо́,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.

Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную, рыжую.

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь зá море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку,—
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь нá мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я — равный кандидат

и на царя вселенной
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги,—
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо́,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.

Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)
Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с по́моста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.

Любовь мою,
как апостол во время о́но,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашéй ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдáл,
коленопреклоненный выник.

Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите — гвоздями слов
прибит к бумаге я.

1915

ВОЙНА И МИР

ПРОЛОГ

Хорошо вам.
Мертвые сраму не имут.
Злобу
к умершим убийцам туши.
Очистительнейшей влагой вымыт
грех отлетевшей души.

Хорошо вам!
А мне
сквозь строй,
сквозь грохот
как пронести любовь к живому?
Оступлюсь —
и последней любовишки кроха
навеки канет в дымный омут.

Чтó им,
вернувшимся,
печали ваши,
чтó им
каких-то стихов бахрома?!
Им
на паре б деревяшек
день кое-как прохромать!

Боишься!
Трус!
Убьют!
А так
полсотни лет еще можешь, раб, расти.
Ложь!

Я знаю,
и в лаве атак
я буду первый
в геройстве,
в храбрости.

О, кто же,
набатом гибнущих годин
званный,
не выйдет брав?
Все!
А я
на земле
один
глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!
Не разбрызгав,
душу
сумел,
сумел донесть.
Единственный человечий,
средь воя,
средь визга,
голос
подъемлю днесь.

А там
расстреливайте,
вяжите к столбу!
Я ль изменюсь в лице!
Хотите —
туза
нацеплю на лбу,
чтоб ярче горела цель?!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Лиле

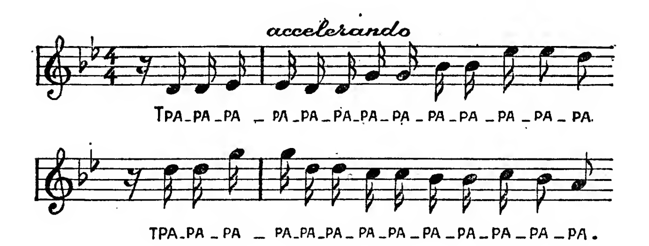
8 октября.
1915 год.
Даты
времени,
смотревшего в обряд
посвящения меня в солдаты.

«Слышите!
Каждый,
ненужный даже,
должен жить;
нельзя,
нельзя ж его
в могилы траншей и блиндажей
вкопать заживо —
убийцы!»

Не слушают.
Шестипудовый унтер сжал, как пресс.
От уха до уха выбрили аккуратненько.
Мишенью
на лоб
нацепили крест
ратника.

Теперь и мне на запад!
Буду идти и идти там,
пока не оплачут твои глаза
под рубрикой
«убитые»
набранного петитом.

ЧАСТЬ I



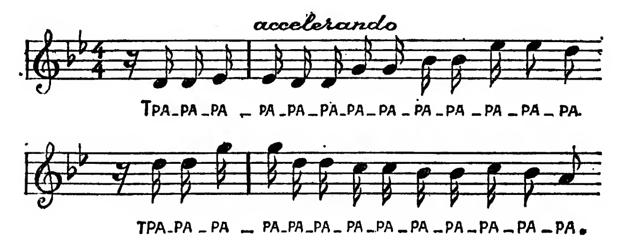
И вот
на эстраду,
колеблемую костром оркестра,
вывалился живот.
И начал!
Рос в глазах, как в тысячах луп.
Змеился.

Пот сиял лачком.
Вдруг —
остановил мелькающий пуп,
вывертелся волчком.

Что было!
Лысины слиплись в одну луну.
Смаслились глазки, щелясь.
Даже пляж,
расхлестав соленую слюну,
осклабил утыканную домами челюсть.

Вывертелся.
Рты,
как электрический ток,
скрючило «браво».
Браво!
Бра-аво!
Бра-а-аво!
Бра-а-а-аво!
Б-р-а-а-а-а-в-о!
Кто это,
кто?
Эта массомясая
быкомордая орава?

Стихам не втиснешь в тихие томики
крик гнева.
Это внуки Колумбов,
Галилеев потомки
ржут, запутанные в серпантинный невод!



А там,
всхлобучась на вечер чинный,
женщины
раскачивались шляпой стопёрой.

И в клавиши тротуаров бухали мужчины,
уличных блудилищ остервенелые тапёры.

Вправо,
влево,
вкривь,
вкось,
выфрантив полей лоно,
вихрились нанизанные на земную ось
карусели
Вавилонищ,
Вавилончиков,
Вавилонов.

Над ними
бутыли,
восхищающие длиной.
Под ними
бокалы
пьяной ямой.
Люди
или валялись,
как упившийся Ной,
или грохотали мордой многохамой!

Нажрутся,
а после,
в ночной слепоте,
вывалясь мя́сами в пухе и вате,
сползутся друг на друге потеть,
города содрогая скрипом кроватей.

Гниет земля,
ламп огни ей
взрывают кору горой волдырей;
дрожа городов агони́ей,
люди мрут
у камня в дыре.

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтоб понять людей небывалую убыль:
в прогрызанной душе
золотолапым микробом
вился рубль.

Во все концы,
чтоб скорее вызлить
смерть,
взбурлив людей крышам вровень,
сердец столиц тысячесильные Дизели
вогнали вагоны зараженной крови.

Тихие!
Недолго пожили.
Сразу
железо рельс всочило по жиле
в загар деревень городов заразу.
Где пели птицы — тарелок лязги.
Где бор был — площадь стодомым содомом.
Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски
публичный дом за публичным домом.

Солнце подымет рыжую голову,
запекшееся похмелье на вспухшем рте,
и нет сил удержаться голому —
взять
не вернуться ночам в вертеп.

И еще не успеет
ночь, арапка,
лечь, продажная,
в отдых,
в тень,—
на нее
раскаленную тушу вскарабкал
новый голодный день.

В крыши зажатые!
Горсточка звезд,
ори!
Шарахайся испуганно, вечер-инок!
Идем!
Раздуем на самок
ноздри,
выеденные зубами кокаина!

ЧАСТЬ II

Это случилось в одну из осеней,
были
горюче-су́хи
все.
Металось солнце,
сумасшедший маляр,
оранжевым колером пыльных выпачкав.

Откуда-то
на землю нахлынули слухи.
Тихие.
Заходили на цыпочках.

Их шепот тревогу в гру́ди выселил,
а страх
под черепом
рукой красной
распутывал, распутывал и распутывал мысли,
и стало невыносимо ясно:
если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены —
зараженная земля
сама умрет —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!

Чего размякли?!
Хныкать поздно!
Раньше б раскаянье осеняло!
Тысячеруким врачам
ланцетами роздано
оружье из арсеналов.

Италия!
Королю,
брадобрею ли
ясно —
некуда деться ей!
Уже сегодня
реяли
немцы над Венецией!

Германия!
Мысли,
музеи,
книги,
каньте в разверстые жерла.
Зевы зарев, оскальтесь нагло!
Бурши,
скачите верхом на Канте!
Нож в зубы!
Шашки нáголо!

Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под Евангелие Толстых!
За ногу худую!
По камню бородой!

Франция!
Гони с бульваров любовный шепот!
В новые танцы — юношей выловить!
Слышишь, нежная?
Хорошо
под музыку митральезы жечь и насиловать!

Англия!
Турция!..
Т-р-а-а-ах!
Что это?
Послышалось!
Не бойтесь!
Ерунда!
Земля!
Смотрúте,
что по волосам ее?
Морщины окопов легли на чело!
Т-с-с-с-с-с...—
грохот.
Барабаны, музыка?
Неужели?
Она это,
она самая?
Да!
НАЧАЛОСЬ.

ЧАСТЬ III

Нерон!
Здравствуй!
Хочешь?
Зрелище величайшего театра.
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.

Куда легендам о бойнях Цезарей
перед былью,
которая теперь была!
Как на детском лице заря,
нежна ей
самая чудовищная гипербола.

Белкой скружишься у смеха в колесе,
когда узнает твой прах о том:
сегодня
мир
весь — Колизей,
и волны всех морей
по нем изостлались бархатом.

Трибуны — скáлы,
и на скале там,
будто бой ей зубы выломил,
поднебесья соборов
скелет за скелетом
выжглись
и обнеслись перилами.

Сегодня заревом в земную плешь она,
кровавя толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажженная Европа.

Пришли,
расселись в земных долинах
гости
в страшном наряде.

Мрачно поигрывают на шеях длинных
ожерелья ядер.

Золото славян.
Черные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна.
Всех земных широт ярусы
вытолпила с головы до пят она.
И там,
где Альпы,
в закате грея,
выласкали в небе лед щеки,—
облаков галереей
нахохлились зоркие летчики.

И когда
на арену
воины
вышли
парадными парами,
в версты шарахнув театром удвоенный
грохот и гром миллиардных армий,—
шар земной
полюсы стиснул
и в ожидании замер.
Седоволосые океаны
вышли из берегов,
впились в арену мутными глазами.
Пылающими сходнями
спустилось солнце —
суровый
вечный арбитр.
Выгорая от любопытства,
звезд глаза повылезли из орбит.

А секунда медлит и медлит.
Лень ей.
К началу кровавых игр,
напряженный, как совокупление,
не дыша, остановился миг.

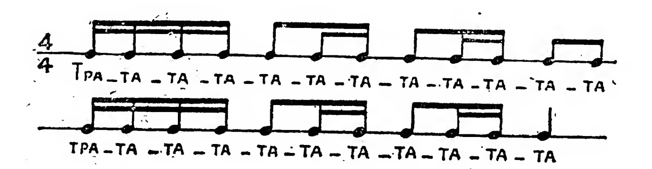
Вдруг —
секунда вдребезги.
Рухнула арена дыму в дыру.

В небе — ни зги.
Секунды быстрились и быстрились —
взрывали,
ревели,
рвали.
Пеной выстрел на выстреле
огнел в кровавом вале.

Вперед!



Вздрогнула от крика грудь дивизий.
Вперед!
Пена у рта.
Разящий Георгий у знамен в девизе,
барабаны:



Бутафор!
Катафалк готовь!
Вдов в толпу!
Мало вдов еще в ней.
И взвился
в небо
фейерверк фактов,
один другого чудовищней.

Выпучив глаза,
маяк
из-за гор
через океаны плакал;
а в океанах
эскадры корчились,
насаженные мине на́ кол.

Дантова ада кошмаром намаранней,
громоголосие меди грохотом изоржав,
дрожа за Париж,
последним
на Марне
ядром отбивается Жоффр.

С юга
Константинополь,
оскалив мечети,
выблевывал
вырезанных
в Босфор.
Волны!
Мечите их,
впившихся зубами в огрызки просфор.

Лес.
Ни голоса.
Даже нарочен
в своей тишине.
Смешались их и наши.
И только
проходят
вóроны да ночи,
в чернь облачась, чредой монашьей.

И снова,
грудь обнажая зарядам,
плывя по веснам,
пробиваясь в зиме,
армия за армией,
ряд за рядом
заливают мили земель.

Разгорается.
Новых из дубров волок.
Огня пентаграмма в пороге луга.
Молниями колючих проволок
сожраны сожженные в уголь.

Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сел.

Медными мордами жрут
всё.

Огневержец!
Где не найдешь, карая!
Впутаюсь ракете,
в небо вбегу —
с неба,
красная,
рдея у края,
кровь Пегу.

И тверди,
и воды,
и воздух взрыт.
Куда направлю опромети шаг?
Уже обезумевшая,
уже навзрыд,
вырываясь, молит душа:

«Война!
Довольно!
Уйми ты их!
Уже на земле голо́».
Метнулись гонимые разбегом убитые,
и еще
минуту
бегут без голов.

А над всем этим
дьявол
зарево зевот дымит.
Это в созвездии железнодорожных линий
стоит
озаренное пороховыми заводами
небо в Берлине.

Никому не ведомо,
дни ли,
годы ли,
с тех пор, как на́ поле
первую кровь войне о́тдали,
в чашу земли сцедив по капле.

Одинаково —
камень,

болото,
халупа ли,
человечьей кровищей вымочили весь его.
Везде
шаги
одинаково хлюпали,
меся дымящееся мира ме́сиво.

В Ростове
рабочий
в праздничный отдых
захотел
воды для самовара выжать,—
и отшатнулся:
во всех водопроводах
сочилась та же рыжая жижа.

В телеграфах надрывались машины Морзе.
Орали городам об юных они.
Где-то
на Ваганькове
могильщик заерзал.
Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене.

В широко развороченную рану полка
раскаленную лапу всунули прожекторы.
Подняли одного,
бросили в окоп —
того,
на ноже который!
Библеец лицом,
изо рва
ряса.
«Вспомните!
За ны!
При Понтийстем Пилате!»
А ветер ядер
в клочки изорвал
и мясо и платье.



Выдернулась из дыма сотня голов.
Не сметь заплаканных глаз им!
Заволокло
газом.



Белые крылья выросли у души,
стон солдат в пальбе доносится.
«Ты на небо летишь,—
удуши,
удуши его,
победоносца».

Бьется грудь неровно...
Шутка ли!
К богу нá дом!
У рая, в облака бронированного,
дверь расшибаю прикладом.

Трясутся ангелы.
Даже жаль их.
Белее перышек личика овал.
Где они —
боги!
«Бежали,
все бежали,
и Саваоф,
и Будда,
и Аллах,
и Иегова».



Ухало.
Ахало.
Охало.
Но уже не та канонада,—
повздыхала еще
и заглохла.

Вылезли с белым.
Взмолились:
— не надо! —

Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.
Безрукому огрызку кровавого обеда
на чёрта она?!

Последний на штык насажен.
Наши отходят на Ковно,
на сажень
человечьего мяса нашинковано.

И когда затихли
все, кто напáдали,
лег
батальон на батальоне —
выбежала смерть
и затанцевала на падали,
балета скелетов безносая Тальони.

Танцует.
Ветер из-под носка.
Шевельнул папахи,
обласкал на мертвом два волоска,
и дальше —
попахивая.

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги.

ЧАСТЬ IV

Эй!
Вы!
Притушите восторженные глазенки!
Лодочки ручек суньте в карман!

Это
достойная награда
за выжатое из бумаги и чернил.

А мне за что хлопать?
Я ничего не сочинил.

Думаете:
врет!
Нигде не прострелен.
В целехоньких висках биенья не уладить,
если рукоплещут
его барабанов трели,
его проклятий рифмованной руладе.

Милостивые государи!
Понимаете вы?
Боль берешь,
растишь и растишь ее:
всеми пиками истыканная грудь,
всеми газами свороченное лицо,
всеми артиллериями громимая цитадель
головы —
каждое мое четверостишие.

Не затем
взвела
по насыпям тел она,
чтоб, горестный,
сочил заплаканную гнусь;
страшной тяжестью всего, что сделано,
без всяких
«красиво»,
прижатый, гнусь.

Убиты —
и все равно мне,—
я или он их
убил.
На братском кладби́ще,
у сердца в яме,
легли миллионы,—
гниют,
шеве́лятся, приподымаемые червями!

Нет!
Не стихами!
Лучше
язык узлом завяжу,
чем разговаривать.
Этого
стихами сказать нельзя.
Выхоленным ли языком поэта
горящие жаровни лизать!

Эта!
В руках!
Смотрите!
Это не лира вам!
Раскаяньем вспоротый,
сердце вырвал —
рву аорты!

В кашу рукоплесканий ладош не вме́сите!
Нет!
Не вме́сите!
Рушься, комнат уют!
Смотрите,
под ногами камень.
На лобном месте стою.
Последними глотками
воздух...

Вытеку, срубленный,
но кровью выем
имя «убийца»,
выклейменное на человеке.
Слушайте!
Из меня
слепым Вием
время орет:
«Подымите,
подымите мне
веков веки!»

Вселенная расцветет еще,
радостна,
нова.

Чтоб не было бессмысленной лжи за ней,
каюсь:
я
один виноват
в растущем хрусте ломаемых жизней!

Слышите —
солнце первые лучи выдало,
еще не зная,
куда,
отработав, денется,—
это я,
Маяковский,
подножию идола
нес
обезглавленного младенца.

Простите!

В христиан зубов резцы
вонзая,
львы вздымали рык.
Вы думаете — Нерон?
Это я,
Маяковский
Владимир,
пьяным глазом обволакивал цирк.

Простите меня!

Воскрес Христос.
Свили
одной любовью
с устами уста вы;
Маяковский
еретикам
в подземелье Севильи
дыбой выворачивал суставы.

Простите,
простите меня!

Дни!
Вылазьте из годов лачуг!

Какой раскрыть за собой
еще?
Дымным хвостом по векам волочу
оперенное пожарами побоище!

Пришел.

Сегодня
не немец,
не русский,
не турок,—
это я
сам,
с живого сдирая шкуру,
жру мира мясо.
Тушами на штыках материки.
Города — груды глиняные.

Кровь!
Выцеди из твоей реки
хоть каплю,
в которой невинен я!

Нет такой!
Этот
выколотыми глазами —
пленник,
мною меченный.
Я,
в поклонах разбивший колени,
голодом выглодал зе́мли неметчины.

Мечу пожаров рыжие пряди.
Волчьи щетинюсь из темени ям.
Люди!
Дорогие!
Христа ради,
ради Христа,
простите меня!

Нет,
не подыму искаженного тоской лица!
Всех окаяннее,
пока не расколется,
буду лоб разбивать в покаянии!

Встаньте,
ложью верженные ниц,
оборванные войнами
калеки лет!
Радуйтесь!
Сам казнится
единственный людоед.

Нет,
не осужденного выдуманная хитрость!
Пусть с плахи не соберу разодранные части я,—
все равно
всего себя вытряс,
один достоин
новых дней приять причастие.

Вытеку срубленный,
и никто не будет —
некому будет человека мучить.
Люди родятся,
настоящие люди,
бога самого милосердней и лучше.

ЧАСТЬ V

А может быть,
больше
у времени-хамелеона
и красок никаких не осталось.
Дернется еще
и ляжет,
бездыхан и угловат.
Может быть,
дымами и боями охмеленная,
никогда не подымется земли голова.

Может быть...

Нет,
не может быть!
Когда-нибудь да выстеклится мыслей омут,
когда-нибудь да увидит, как хлещет из тел ала́.
Над вздыбленными волосами руки заломит,
выстонет:

«Господи,
что я сделала!»
Нет,
не может быть!
Грудь,
срази отчаянья лавину.
В грядущем счастье вырыщи ощупь.
Вот,
хотите,
из правого глаза
выну
целую цветущую рощу?!
Птиц причудливых мысли ройте.
Голова,
закинься восторженна и горда.
Мозг мой,
веселый и умный строитель,
строй города!

Ко всем,
кто зубы еще
злобой выщемил,
иду
в сияющих глаз заре.
Земля,
встань,
тыщами
в ризы зарев разодетых Лазарей!

И радость,
радость! —
сквозь дымы
светлые лица я
вижу.
Вот,
приоткрыв помертвевшее око,
первая
приподымается Галиция.
В травы вкуталась ободранным боком.

Кинув ноши пушек,
выпрямились горбатые,
кровавленными сединами в небо канув,

Альпы,
Балканы,
Кавказ,
Карпаты.

А над ними,
выше еще —
двое великанов.
Встал золототелый,
молит:
«Ближе!
К тебе с изрытого взрывами дна я».
Это Рейн
размокшими губами лижет
иссеченную миноносцами голову Дуная.

До колоний, бежавших за стены Китая,
до песков, в которых потеряна Персия,
каждый город,
ревевший,
смерть кидая,—
теперь сиял.

Шепот.
Вся земля
черные губы разжала.
Громче.
Урагана ревом
вскипает.
«Клянитесь,
больше никого не ско́сите!»
Это встают из могильных курганов,
мясом обрастают хороненные кости.

Было ль,
чтоб срезанные ноги
искали б
хозяев,
оборванные головы звали по имени?
Вот
на череп обрубку
вспрыгнул скальп,
ноги подбежали,
живые под ним они.

С днищ океанов и морей,
на реях,
оживших утопших выплыли залежи.
Солнце!
В ладонях твоих изогрей их,
лучей языками глаза лижи!
В старушье лицо твое
смеемся,
время!
Здоровые и целые вернемся в семьи!
Тогда
над русскими,
над болгарами,
над немцами,
над евреями,
над всеми
по тверди небес,
от зарев алой,
ряд к ряду,
семь тысяч цветов засияло
из тысячи разных радуг.

По обрывкам народов,
по банде рассеянной
эхом раскатилось
растерянное
«А-ах!..»
День раскрылся такой,
что сказки Андерсена
щенками ползали у него в ногах.

Теперь не верится,
что мог идти
в сумерках уличек, темный, шаря.
Сегодня
у капельной девочки
на ногте мизинца
солнца больше,
чем раньше на всем земном шаре.

Большими глазами землю обводит
человек.
Растет,
главою гор достиг.

Мальчик
в новом костюме
— в свободе своей —
важен,
даже смешон от гордости.

Как священники,
чтоб помнили об искупительной драме,
выходят с причастием,—
каждая страна
пришла к человеку со своими дарами:

«На».

«Безмерной Америки силу несу тебе,
мощь машин!»

«Неаполя теплые ночи дарю,
Италия.
Палимый,
пальм веерами маши».

«В холоде севера мерзнущий,
Африки солнце тебе!»

«Африки солнцем сожженный,
тебе,
со своими снегами,
с гор спустился Тибет!»

«Франция,
первая женщина мира,
губ принесла алость».

«Юношей — Греция,
лучшие телом нагим они».

«Чьих голосов мощь
в песне звончее сплеталась?!
Россия
сердце свое
раскрыла в пламенном гимне!»

«Люди,
веками граненную
Германия
мысль принесла».

«Вся
до недр напоенная золотом,
Индия
дары принесла вам!»

«Славься, человек,
во веки веков живи и славься!
Всякому,
живущему на земле,
слава,
слава,
слава!»

Захлебнешься!
А тут и я еще.
Прохожу осторожно,
огромен,
неуклюж.
О, как великолепен я
в самой сияющей
из моих бесчисленных душ!

Мимо поздравляющих,
праздничных мимо я,
— проклятое,
да не колотись ты! —
вот она
навстречу.

«Здравствуй, любимая!»

Каждый волос выласкиваю,
вьющийся,
золотистый.
О, какие ветры,
какого юга,
свершили чудо сердцем погребенным?
Расцветают глаза твои,
два луга!
Я кувыркаюсь в них,
веселый ребенок.

А кругом!
Смеяться.

Флаги.
Стоцветное.
Мимо.
Вздыбились.
Тысячи.
Насквозь.
Бегом.
В каждом юноше порох Маринетти,
в каждом старце мудрость Гюго.

Губ не хватит улыбке столицей.
Все
из квартир
на площади
вон!
Серебряными мячами
от столицы к столице
раскинем веселие,
смех,
звон!

Не поймешь —
это воздух,
цветок ли,
птица ль!
И поет,
и благоухает,
и пестрое сразу,—
но от этого
костром разгораются лица
и сладчайшим вином пьянеет разум.
И не только люди
радость личью
расцветили,
звери франтовато завили руно,
вчера бушевавшие
моря,
мурлыча,
легли у ног.

Не поверишь,
что плыли,
смерть изрыгав, они.

В трюмах,
навек забывших о порохе,
броненосцы
провозят в тихие гавани
всякого вздора яркие ворохи.

Кому же страшны пушек шайки —
эти,
кроткие,
рвут?
Они
перед домом,
на лужайке,
мирно щиплют траву.

Смотрите,
не шутка,
не смех сатиры —
средь бела дня,
тихо,
попарно,
цари-задиры
гуляют под присмотром нянь.

Земля,
откуда любовь такая нам?
Представь —
там
под деревом
видели
с Каином
играющего в шашки Христа.

Не видишь,
прищурилась, ищешь?
Глазенки — щелки две.
Шире!
Смотри,
мои глазища —
всем открытая собора дверь.

Люди! —
любимые,
нелюбимые,

знакомые,
незнакомые,
широким шествием излейтесь в двери те.
И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

1915—1916

ЧЕЛОВЕК

Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов,— солнца ладонь на голове моей.

Благочестивейшей из монашествующих — ночи облачение на плечах моих.

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую.

Звенящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий,
слышу
твое, земля:
«Ныне отпущаеши!»

В ковчеге ночи,
новый Ной,
я жду —
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Идет!
Пришла.
Раскуталась.
Лучи везде!
Скребут они.
Запели петли утло,
и тихо входят будни
с их шелухою сутолок.

Солнце снова.
Зовет огневых воевод.

Барабанит заря,
и туда,
за земную грязь вы!
Солнце!
Что ж,
своего
глашатая
так и забудешь разве?

РОЖДЕСТВО МАЯКОВСКОГО

Пусть, науськанные современниками, пишут глупые историки: «Скушной и неинтересной жизнью жил замечательный поэт».

Знаю,
не призовут мое имя
грешники,
задыхающиеся в аду.
Под аплодисменты попов
мой занавес не опустится на Голгофе.
Так вот и буду
в Летнем саду
пить мой утренний кофе.

В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.
Был абсолютно как все
— до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам.
И никто
не догадался намекнуть
недалекой
неделикатной звезде:
«Звезда — мол —
лень сиять напрасно вам!
Если не
человечьего рождения день,

то чёрта ль,
звезда,
тогда еще
праздновать?!»

Суди́те:
говорящую рыбёшку
выудим нитями невода
и поем,
поем золотую,
воспеваем рыбачью удаль.
Как же
себя мне не петь,
если весь я —
сплошная невидаль,
если каждое движение мое —
огромное,
необъяснимое чудо.

Две стороны обойдите.
В каждой
дивитесь пятилучию.
Называется «Руки».
Пара прекрасных рук!
Заметьте:
справа налево двигать могу
и слева направо.
Заметьте:
лучшую
шею выбрать могу
и обовьюсь вокруг.

Че́репа шкатулку вскройте —
сверкнет
драгоценнейший ум.
Есть ли,
чего б не мог я!
Хотите,
новое выдумать могу
животное?
Будет ходить
двухвостое
или треногое.

Кто целовал меня —
скажет,
есть ли
слаще слюны моей сóка.
Покоится в нем у меня
прекрасный
красный язык.
«О-го-го» могу —
зальется высóко, высóко.
«О-ГО-ГО» могу —
и — охоты поэта сокол —
голос
мягко сойдет на низы.
Всего не сочтешь!
Наконец,
чтоб в лето
зи́мы,
воду в вино превращать чтоб мог —
у меня
под шерстью жилета
бьется
необычайнейший комок.
Ударит вправо — направо свадьбы.
Налево грохнет — дрожат мира́жи.
Кого еще мне
любить устлать бы?
Кто ляжет
пьяный,
ночами ряжен?

Прачечная.
Прачки.
Много и мокро.
Радоваться, что ли, на мыльные пузыри?
Смотрите,
исчезает стоногий окорок!
Кто это?
Дочери неба и зари?

Булочная.
Булочник.
Булки выпек.
Что булочник?
Мукой измусоленный ноль.

И вдруг
у булок
загибаются грифы скрипок.
Он играет.
Все в него влюблено.

Сапожная.
Сапожник.
Прохвост и нищий.
Надо
на сапоги
какие-то головки.
Взглянул —
и в арфы распускаются голенища.
Он в короне.
Он принц.
Веселый и ловкий.

Это я
сердце флагом по́днял.
Небывалое чудо двадцатого века!

И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка.

ЖИЗНЬ МАЯКОВСКОГО

Ревом встревожено логово банкиров, вельмож
и дожей.

Вышли
латы,
золото тенькая.

«Если сердце всё,
то на что,
на что же
вас нагреб, дорогие деньги, я?
Как смеют петь,
кто право дал?
Кто дням велел июлиться?
Заприте небо в провода!
Скрутите землю в улицы!
Хвалился:

«Руки?!»
На ружье ж!
Ласкался днями летними?
Так будешь —
весь! —
колюч, как еж.
Язык оплюйте сплетнями!»

Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах
верхом
«Закон»,
на сердце цепь —
«Религия».

Полжизни прошло, теперь не вырвешься.
Тысячеглаз надсмотрщик, фонари, фонари, фонари...
Я в плену.
Нет мне выкупа!
Оковала земля окаянная.
Я бы всех в любви моей выкупал,
да в дома обнесен океан ее!

Кричу...
и чу!
ключи звучат!
Тюремщика гримаса.
Бросает
с острия луча
клочок гнилого мяса.

Под хохотливое
«Ага!»
бреду́ по бре́ду жара.
Гремит,
приковано к ногам,
ядро земного шара.

Замкнуло золото ключом
глаза.
Кому слепого весть?
Навек
теперь я

заключен
в бессмысленную повесть!

Долой высоких вымыслов бремя!
Бунт
муз обреченного данника.
Верящие в павлинов
— выдумка Брэма! —
верящие в розы
— измышление досужих ботаников! —
мое
безупречное описание земли
передайте из рода в род.

Рвясь из меридианов,
атласа арок,
пенится,
звенит золотоворот
франков,
долларов,
рублей,
крон,
иен,
марок.

Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.
Тонут слоны.
Мелочи тонут.
В горлах,
в ноздрях,
в ушах звон его липкий.
«Спасите!»
Места нет недоступного стону.

А посредине,
обведенный невозмутимой каймой,
целый остров расцветоченного ковра.
Здесь
живет
Повелитель Всего —
соперник мой,
мой неодолимый враг.
Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтовских восхитительны полосы.

Галстук,
выпестренный ахово,
с шеищи
по глобусу пуза расползся.

Гибнут кругом.
Но, как в небо бурав,
в честь
твоего — сиятельный — сана:
Бр-р-а-во!
Эвива!
Банзай!
Ура!
Гох!
Гип-гип!
Вив!
Осанна!

Пророков могущество в громах винят.
Глупые!
Он это
читает Локка!
Нравится.
От смеха
на брюхе
звенят,
молнятся целые цепи брелоков.
Онемелые
стоим
перед делом эллина.
Думаем:
«Кто бы,
где бы,
когда бы?»
А это
им
покойному Фидию велено:
«Хочу,
чтоб из мрамора
пышные бабы».

Четыре часа —
прекрасный повод:
«Рабы,
хочу отобедать заново!»

И бог
— его проворный повар —
из глин
сочиняет мясо фазаново.
Вытянется,
самку в любви олелеяв.
«Хочешь
бесценнейшую из звездного скопа?»
И вот
для него
легион Галилеев
елозит по звездам в глаза телескопов.

Встрясывают революции царств тéльца,
меняет погонщиков человечий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт!

СТРАСТИ МАЯКОВСКОГО

Слышите?
Слышите лошажье ржанье?
Слышите?
Слышите вопли автомобильи?
Это идут,
идут горожане
выкупаться в Его обилии.

Разлив людей.
Затерся в люд,
расстроенный и хлюпкий.
Хватаюсь за уздцы.
Ловлю
за фалды и за юбки.

Что это?
Ты?
Туда же ведома?!
В святошестве изолгалáсь!
Как красный фонарь у публичного дома,
кровав
налившийся глаз.

Зачем тебе?
Остановись!
Я знаю радость слаже!
Надменно лес ресниц навис.
Остановись!
Ушла уже...

Там, возносясь над головами, Он.

Череп блестит,
хоть надень его нá ноги,
безволосый,
весь рассиялся в лоске.
Только
у пальца безымянного
на последней фаланге
три
из-под бриллианта —
выщетинились волосики.

Вижу — подошла.
Склонилась руке.
Губы волосикам,
шепчут над ними они,
«Флейточкой» называют один,
«Облачком» — другой,
третий — сияньем неведомым
какого-то,
только что
мною творимого имени.

ВОЗНЕСЕНИЕ МАЯКОВСКОГО

Я сам поэт. Детей учите: «Солнце встает над ковылями». С любовного ложа из-за Его волосиков любимой голова.

Глазами взвила ввысь стрелу.
Улыбку убери твою!
А сердце рвется к выстрелу,
а горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.

Идет за мной,
к воде манит,
ведет на крыши скат.
Снега кругом.
Снегов налет.
Завьются и замрут.
И падает
— опять! —
на лед
замерзший изумруд.
Дрожит душа.
Меж льдов она,
и ей из льдов не выйти!
Вот так и буду,
заколдованный,
набережной Невы идти.
Шагну —
и снова в месте том.
Рванусь —
и снова зря.

Воздвигся перед носом дом.
Разверзлась за оконным льдом
пузатая заря.

Туда!

Мяукал кот.
Коптел, горя,
ночник.
Звонюсь в звонок.
Аптекаря!
Аптекаря!
Повис на палки ног.

Выросли,
спутались мысли,
оленьи
рога.
Плачем марая
пол,
распластался в моленье
о моем потерянном рае.

Аптекарь!
Аптекарь!
Где
до конца
сердце тоску изноет?
У неба ль бескрайнего в нивах,
в бреде ль Сахар,
у пустынь в помешанном зное
есть приют для ревнивых?
За стенками склянок столько тайн.
Ты знаешь высшие справедливости.
Аптекарь,
дай
душу
без боли
в просторы вывести.

Протягивает.
Череп.
«Яд».
Скрестилась кость на кость.

Кому даешь?
Бессмертен я,
твой небывалый гость.
Глаза слепые,
голос нем,
и разум запер дверь за ним,
так что ж
— еще! —
нашел во мне,—
чтоб ядом быть растерзанным?

Мутная догадка по глупому пробрела.
В окнах зеваки.
Дыбятся волоса.
И вдруг я
плавно оплываю прилавок.
Потолок отверзается сам.

Визги.
Шум.
«Над домом висит!»
Над домом вишу.

Церковь в закате.
Крест огарком.
Мимо!
Ле́са верхи.
Вороньём окаркан.
Мимо!

Студенты!
Вздор
все, что знаем и учим!
Физика, химия и астрономия — чушь.
Вот захотел
и по тучам
лечу ж.

Всюду теперь!
Можно везде мне.
Взбурься, баллад поэтовых тина.
Пойте теперь
о новом — пойте — Демоне
в американском пиджаке
и блеске желтых ботинок.

МАЯКОВСКИЙ В НЕБЕ

Стоп!

Скидываю на тучу
вещей
и тела усталого
кладь.

Благоприятны места, в которых доселе не был.

Оглядываюсь.
Эта вот
зализанная гладь —
это и есть хваленое небо?

Посмотрим, посмотрим!

Искрило,
сверкало,
блестело,

и
шорох шел —
облако
или
бестелые
тихо скользили.

«Если красавица в любви клянется...»

Здесь,
на небесной тверди,
слышать музыку Верди?
В облаке скважина.
Заглядываю —
ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна — восторг!»

Раздражало вначале:
нет тебе
ни угла ни одного,
ни чаю,
ни к чаю газет.
Постепенно вживался небесам в уклад.
Выхожу с другими глазеть,
не пришло ли новых.
«А, и вы!»
Радостно обнял.
«Здравствуйте, Владимир Владимирович!»
«Здравствуйте, Абрам Васильевич!
Ну, как кончались?
Ничего?
Удобно ль?»

Хорошие шуточки, а?

Понравилось.
Стал стоять при въезде.
И если
знакомые
являлись, умирав,
сопровождал их,
показывая в рампе созвездий
величественную бутафорию миров.

Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек.
Вот сюда
— и миры застынут в лени —
вот сюда
— завертятся шибче и круче.
«Крутните,— просят,—
да так, чтоб вымер мир.
Что им?
Кровью поля поливать?»
Смеюсь горячности.
«Шут с ними!
Пусть поливают,
плевать!»

Главный склад всевозможных лучей.
Место выгоревшие звезды кидать.
Ветхий чертеж
— неизвестно чей —
первый неудавшийся проект кита.

Серьезно.
Занято.
Кто тучи чи́нит,
кто жар надбавляет солнцу в пе́чи.
Всё в страшном порядке,
в покое,
в чине.
Никто не толкается.
Впрочем, и нечем.

Сперва ругались.
«Шатается без дела!»
Я для сердца,
а где у бестелых сѐрдца?!

Предложил им:
«Хотите,
по облаку
телом
развалюсь
и буду всех созерцать».

«Нет,— говорят,— это нам не подходит!»
«Ну, не подходит — как знаете! Мое дело предложить».

Кузни времен вздыхают меха —
и новый
год
готов.
Отсюда
низвергается, громыхая,
страшный оползень годов.

Я счет не веду неделям.
Мы,
хранимые в рамах времен,
мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.

Стих.
Лучам луны на ме́ли
слег,
волнение снами сморя.
Будто на пляже южном,
только еще онемелей,
и по мне,
насквозь излаская,
катятся вечности моря.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЯКОВСКОГО

1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы.

Вставай,
довольно!
На солнце очи!
Доколе будешь распластан, нем?

Бурчу спросонок:
«Чего грохочут?
Кто смеет сердцем шуметь во мне?»

Утро,
вечер ли?
Ровен белесый свет небес.

Сколько их,
веков,
успело уйти,
вдребезги дней разбилось о даль...
Думаю,
глядя на млечные пути,—
не моя седая развеялась борода ль?

Звезды падают.
Стал глаза вести.
Ишь
туда,
на землю, быстрая!

Проснулись в сердце забытые зависти,
а мозг
досужий
фантазию выстроил.
— Теперь
на земле,
должно быть, ново.
Пахучие весны развесили в селах.
Город каждый, должно быть, иллюминован.
Поет семья краснощеких и веселых.

Тоска возникла.
Резче и резче.
Царственно туча встает,
дальнее вспыхнет облако,
все мне мерещится
близость
какого-то земного облика.

Напрягся,
ищу
меж другими точками
землю.

Вот она!

Въелся.
Моря различаю,
горы в орлином клекоте...

Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного
на локте
форменный лесничего сюртук.

Раздражает.
Тоже
уставился наземь.
Какая старому мысль ясна?
Тихо говорит:
«На Кавказе,
вероятно, весна».

Бестелое стадо,
ну и тоску ж оно
гонит!

Взбу́бнилась злоба апаша.

Папаша,
мне скушно!
Мне скушно, папаша!
Глупых поэтов небом ма́ните,
вырядились
звезд ордена!
Солнце!
Чего расплескалось мантией?
Думаешь — кардинал?
Довольно лучи обсасывать в спячке.
За мной!
Все равно без ножек —
чего вам пачкать?!
И галош не понадобится в гря́зи земной.

Звезды!
Довольно
мученический плести
венок
земле!
Озакатили красным.
Кто там
крылами
к земле блестит?
Заря?
Стой!
По дороге как раз нам.

То перекинусь радугой,
то хвост завью кометою.
Чего пошел играть дугой?
Какую жуть в кайме таю?

Показываю
мирам
номера
невероятной скорости.
Дух
бездомный давно
полон дум о давних
днях.
Земных полушарий горсти
вижу —
лежат города в них.

Отдельные голоса различает ухо.

Взмахах в ста.

«Здравствуй, старуха!»
Поскользнулся в асфальте.
Встал.

То-то удивятся не ихней силище
путешественника неб.

Голоса:
«Смотрите,
должно быть, красильщик
с крыши.

Еще удачно!
Тяжелый хлеб».

И снова
толпа
в поводу у дела,
громоголосый катился день ее.
О, есть ли
глотка,
чтоб громче вгудела
— города громче —
в его гудение.

Кто схватит улиц рвущийся вымах!
Кто может распутать тоннелей подкопы!
Кто их остановит,
по воздуху
в дымах
аэропланами буравящих копоть!

По скату экватора
из Чикаг
сквозь Тамбовы
катятся рубли.
Вытянув выи,
гонятся все,
телами утрамбовывая
горы,
моря,
мостовые.

Их тот же лысый
невидимый водит,
главный танцмейстер земного канкана.
То в виде идеи,
то чёрта вроде,
то богом сияет, за облако канув.

Тише, философы!
Я знаю —
не спорьте —
зачем источник жизни дарен им.
Затем, чтоб рвать,
затем, чтоб портить
дни листкам календарным.

Их жалеть!
А меня им жаль?
Сожрали бульвары,
сады,
предместья!
Антиквар?
Покажите!
Покупаю кинжал.

И сладко чувствовать,
что вот
пред местью я.

МАЯКОВСКИЙ ВЕКАМ

Куда я,
зачем я?
Улицей сотой
мечусь
человечьим
разжужженным ульем.

Глаза пролетают оконные соты,
и тяжко,
и чуждо,
и мёрзко в июле им.

Витрины и окна тушит
город.

Устал и сник.

И только
туч выпотрашивает туши
кровавый закат-мясник.

Слоняюсь.
Мост феерический.
Влез.
И в страшном волненье взираю с него я.
Стоял, вспоминаю.

Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невою.

Здесь город был.
Бессмысленный город,
выпутанный в дымы трубного леса.
В этом самом городе
скоро
ночи начнутся,
остекленелые,
белесые.

Июлю капут.

Обезночел загретый.
Избредился в шепот чего-то сквозного.
То видится крест лазаретной кареты,
то слышится выстрел.
Умолкнет —
и снова.

Я знаю,
такому, как я,
накалиться
недолго,
конечно,
но все-таки дико,
когда не фонарные тыщи,
а лица.
Где было подобие этого тика?

И вижу, над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.

И снова стою
онемелый и вкопанный.
Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,

почти что дыханье,
почти что голос,
я думаю — призрак,
он взял, да и ожил.

Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало
— одна! —
раскинулась в шествие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
— снова! —
мое сумасшествие!

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.
Дома похожи.
Вот так же,
из ниши,
головы кобыльей
вылеп.

— Прохожий!
Это улица Жуковского?

Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.

«Она — Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой».
Кто,
я застрелился?
Такое загнут!
Блестящую радость, сердце, вычекань!
Окну
лечу.
Небес привычка.

Высóко.
Глубже ввысь зашел
за этáжем этаж.

Завесилась.
Смотрю за шелк —
все то же,
спальня та ж.

Сквозь тысячи лет прошла — и юна.
Лежишь,
волоса́ луною высиня.
Минута...
и то,
что было — луна,
Его оказалась голая лысина.

Нашел!

Теперь пускай поспят.
Рука,
кинжала жало стисни!
Крадусь,
приглядываюсь —
и опять!
Люблю
и вспять
иду в любви и в жалости.

Доброе утро!

Зажглось электричество.
Глаз два выката.
«Кто вы?» —
«Я Николаев
— инженер.
Это моя квартира.
А вы кто?
Чего пристаете к моей жене?»

Чужая комната.
Утро дрогло.
Трясясь уголками губ,
чужая женщина,
раздетая догола.

Бегу.

Растерзанной тенью,
большой,
косматый,
несусь по стене,
луной облитый.
Жильцы выбегают, запахивая халаты.
Гремлю о плиты.
Швейцара ударами в угол загнал.
«Из сорок второго
куда ее дели?» —
«Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле».

Куда теперь?
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне
наручники,
любви тысячелетия...
Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

ПОСЛЕДНЕЕ

Ширь,
бездомного
снова
лоном твоим прими!
Небо какое теперь?
Звезде какой?
Тысячью церквей
подо мной
затянул
и тянет мир:
«Со святыми упокой!»

1916—1917

150 000 000

Поэма

150 000 000 мастера этой поэмы имя.
Пуля — ритм.
Рифма — огонь из здания в здание.
150 000 000 говорят губами моими.
Ротационкой шагов
в булыжном верже площадей
напечатано это издание.

Кто спросит луну?
Кто солнце к ответу притянет —
чего
ночи и дни чините!?
Кто назовет земли гениального автора?
Так
и этой
моей
поэмы
никто не сочинитель.
И идея одна у нее —
сиять в настающее завтра.

В этом самом году,
в этот день и час,
под землей,
на земле,
по небу
и выше —
такие появились
плакаты,
летучки,
афиши:

«ВСЕМ!
ВСЕМ!
ВСЕМ!
Всем,
кто больше не может!
Вместе
выйдите
и идите!»
(подписи):
МЕСТЬ — ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР.
ГОЛОД — РАСПОРЯДИТЕЛЬ.
ШТЫК.
БРАУНИНГ.
БОМБА.
(три
подписи:
секретари).

Идем!
Идемидем!
Го, го,
го, го, го, го,
го, го!
Спадают!
Ванька!
Керенок подсунь-ка в лапоть!
Босому, что ли, на митинг ляпать?
Пропала Россеичка!
Загубили бедную!
Новую найдем Россию.
Всехсветную!
Иде-е-е-е-м!

Он сидит раззолоченный
за чаем
с птифур.
Я приду к нему
в холере.
Я приду к нему
в тифу.
Я приду к нему,
я скажу ему:
«Вильсон, мол,
Вудро,
хочешь крови моей ведро?

И ты увидишь...»
До самого дойдем
до Ллойд-Джорджа —
скажем ему:
«Послушай,
Жоржа...»

— До него дойдешь!
До него океаны.
Страшен,
как же,
российский одёр им.
— Ничего!
Дойдем пешкодером!
Идемидем! —

Будилась призывом,
из лесов
спросонок,
лезла сила зверей и зверят.
Визжал придавленный слоном поросенок.
Щенки выстраивались в щенячий ряд.
Невыносим человечий крик.
Но звериий
душу веревкой сворачивал.
(Я вам переведу звериный рык,
если вы не знаете языка зверячьего):

«Слушай,
Вильсон,
заплывший в сале!
Вина людей —
наказание дай им.
Но мы
не подписывали договора в Версале.
Мы,
зверье,
за что голодаем?
Свое животное горе киньте им!
Досы́та наесться хоть раз бы еще!
К чреватым саженными травами Индиям,
к американским идемте пастбищам!»

О-о-гу!
Нам тесно в блокаде-клетке.

Вперед, автомобили!
На митинг, мотоциклетки!

Мелочь, направо!
Дорогу дорогам!
Дорога за дорогой выстроились в ряд.
Слушайте, что говорят дороги.
Что говорят?

«Мы задохлись ветра́ми и пылями,
вьясь степями по рельсам голодненькими.
Немощеными хлипкими милями
надоело плестись за колодниками.
Мы хотим разливаться асфальтом,
под экспрессов тарой осев.
Подымайтесь!
Довольно поспали там,
колыбелимые пылью шоссе!
Иде-е-е-е-м!»

И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и.
К каменноугольным идемте бассейнам!
За хлебом!
За черным!
Для нас засеянным.
Без дров ходить —
дураков наймите!
На митинг, паровозы!
Паровозы,
на митинг!

Скоре-е-е-е-е-е-е-е!
Скорейскорей!
Эй,
губернии,
снимайтесь с якорей!
За Тульской Астраханская,
за махиной махина,
стоявшие недвижимо
даже при Адаме,
двинулись
и на
другие
прут, погромыхивая городами.

Вперед запоздавшую темь гоня,
сшибаясь ламп лбами,
на митинг шли легионы огня,
шагая фонарными столбами.

А по верху,
воду с огнем миря,
загнившие утопшими, катились моря.
«Дорогу каспийской волне-баловнице!
Обратно в России русло не поляжем!
Не в чахлом Баку,
а в ликующей Ницце
с волной средиземной пропляшем по пляжам».

И, наконец,
из-под грома
бега и езды,
в ширь непомерных легких завздыхав,
всклокоченными тучами рванулись из дыр
и пошли грозой российские воздуха́.
Иде-е-е-е-м!
Идемидем!

И все эти
сто пятьдесят миллионов людей,
биллионы рыбин,
триллионы насекомых,
зверей,
домашних животных,
сотни губерний,
со всем, что построилось,
стоит,
живет в них,
все, что может двигаться,
и все, что не движется,
все, что еле двигалось,
пресмыкаясь,
ползая,
плавая —
лавою все это,
лавою!

И гудело над местом,
где стояла когда-то Россия:
— Это же ж не важно,
чтоб торговать сахарином!
В колокола клокотать чтоб — сердцу важно!
Сегодня
в рай
Россию ринем
за радужные закатов скважины.

Го, го,
го, го, го, го,
го, го!
Идемидем!
Сквозь белую гвардию снегов!

Чего полезли губерний туши
из веками намеченных губернаторами зон?
Что, слушая, небес зияют уши?
Кого озирает горизонт?

Оттого
сегодня
на нас устремлены
глаза всего света
и уши всех напряжены,
наше малейшее ловя,
чтобы видеть это,
чтобы слушать эти слова:
это —
революции воля,
брошенная за последний предел,
это —
митинг,
в махины машинных тел
вмешавший людей и зверьи туши,
это —
руки,
лапы,
клешни,
рычаги,
туда,
где воздух поредел,
вонзенные в клятвенном единодушье.

Поэтов,
старавшихся выть поднебесней,
забудьте,
эти слушайте песни:

«Мы пришли сквозь столицы,
сквозь тундры прорвались,
прошагали сквозь грязи и лужищи.
Мы пришли, миллионы,
миллионы трудящихся,
миллионы работающих и служащих.
Мы пришли из квартир,
мы сбежали со складов,
из пассажей, пожаром озаренных.
Мы пришли, миллионы,
миллионы вещей,
изуродованных,
сломанных,
разоренных.

Мы спустились с гор,
мы из леса сползлись,
от полей, годами глоданных.
Мы пришли,
миллионы,
миллионы скотов,
одичавших,
тупых,
голодных.

Мы пришли,
миллионы,
безбожников,
язычников
и атеистов —
биясь
лбом,
ржавым железом,
полем —
все
истово
господу богу помолимся.

Выйдь
не из звездного
нежного ложа,
боже железный,
огненный боже,
боже не Марсов,
Нептунов и Вег,
боже из мяса —
бог-человек!
Звездам на́ мель
не загнанный ввысь,
земной
между нами
выйди,
явись!

Не тот, который
«иже еси на небесех».
Сами
на глазах у всех
сегодня
мы
займемся
чудесами.

Твое во имя
биться дабы,
в громе,
в дыме
встаем на дыбы.
Идем на подвиг
труднее божеского втрое,
творившего,
пустоту вещами да́руя.
А нам
не только, новое строя,
фантазировать,
а еще и издинамитить старое.

Жажда, пой!
Голод, насыть!
Время
в бои
тело носить.

Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь, парабеллум!

Самое это!
С донышка душ!
Жаром,
жженьем,
железом,
светом,
жарь,
жги,
режь,
рушь!

Наши ноги —
поездов молниеносные проходы.
Наши руки —
пыль сдувающие веера полян.
Наши плавники — пароходы.
Наши крылья — аэроплан.

Идти!
Лететь!
Проплывать!
Катиться! —
всего мирозданья проверяя реестр.
Нужная вещь —
хорошо,
годится.
Ненужная —
к черту!
Черный крест.
Мы
тебя доконаем,
мир-романтик!
Вместо вер —
в душе
электричество,
пар.
Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!
Стар — убивать.
На пепельницы черепá!

В диком разгроме
старое смыв,
новый разгро́мим
по миру миф.
Время-ограду
взломим ногами.
Тысячу радуг
в небе нагаммим.

В новом свете раскроются
поэтом опоганенные розы и грезы.
Всё
на радость
нашим
глазам больших детей!
Мы возьмем
и придумаем
новые розы —
розы столиц в лепестках площадей.
Все,
у кого
мучений клейма нажжены,
тогда приходите к сегодняшнему палачу.
И вы
узнаете,
что люди
бывают нежны,
как любовь,
к звезде вздымающаяся по лучу.
Будет
наша душа
любовных Волг слиянным устьем.
Будешь
— любой приплыви —
глаз сияньем облит.
По каждой
тончайшей артерии
пустим
поэтических вымыслов феерические корабли.
Как нами написано,—
мир будет таков
и в среду,
и в прошлом,
и ныне,
и присно,

и завтра,
и дальше
во веки веков!
За лето
столетнее
бейся,
пой:
— «И это будет
последний
и решительный бой!» —
Залпом глоток гремим гимн!
Миллион плюс!
Умножим нá сто!
По улицам!
На крыши!
За солнца!
В миры —
слов звонконогие гимнасты!

И вот
Россия
не нищий оборвыш,
не куча обломков,
не зданий пепел —
Россия
вся
единый Иван,
и рука
у него —
Нева,
а пятки — каспийские степи.

Идем!
Идемидем!
Не идем, а летим!
Не летим, а молньимся,
души зефирами вымыв!
Мимо
баров и бань.
Бей, барабан!
Барабан, барабань!
Были рабы!
Нет раба!

Баарбей!
Баарбань!
Баарабан!

Эй, стальногрудые!
Крепкие, эй!
Бей, барабан!
Барабан, бей!
Или — или.
Пропал или пан!
Будем бить!
Бьем!
Били!
В барабан!
В барабан!
В барабан!

Революция
царя лишит царева званья.
Революция
на булочную бросит голод толп.
Но тебе
какое дам названье,
вся Россия, смерчем скрученная в столб?!
Совнарком —
его частица мозга,—
не опередить декретам скач его.
Сердце ж было так его громоздко,
что Ленин еле мог его раскачивать.
Красноармейца можно отступить заставить,
коммуниста сдавить в тюремный гнет,
но тако́го
в какой удержишь заставе,
если
такой
шагнет?!
Гром разодрал побережий уши,
и брызги взметнулись земель за тридевять,
когда Иван,
шаги обрушив,
пошел
грозою вселенную выдивить.

В стремя фантазии ногу вденем,
дней оседлаем порох,

и сами
за этим блестящим виденьем
пойдем излучаться в несметных просторах.

Теперь
повернем вдохновенья колесо.
Наново ритма мерка.
Этой части главное действующее лицо — Вильсон.
Место действия — Америка.

Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической.
Город в ней стоит
на одном винте,
весь электро-динамо-механический.

В Чикаго
14 000 улиц —
солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду на́ год.
Чудно́ человеку в Чикаго!

В Чикаго
от света
солнце
не ярче грошовой свечи.
В Чикаго,
чтоб брови поднять —
и то
электрическая тяга.

В Чикаго
на версты
в небо
скачут
дорог стальные циркачи.
Чудно́ человеку в Чикаго!

В Чикаго
у каждого жителя
не менее генеральского чин.

А служба —
в барах быть,
кутить без забот и тягот.
Съестного
в чикагских барах
чего-чего не начудено!
Чудно́ человеку в Чикаго!

Чудно́ человеку!
И чу́дно!
В Чикаго
такой свирепеет грохот,
что грузовоз
с тысчесильной машиною
казался,
что ветрится тихая кроха,
что он
прошелёстывал тишью мышиною.

Русских
в город тот
не везет пароход,
не для нас дворцов этажи.
Я один там был,
в барах ел и пил,
попивал в барах с янками джин.
Может, пустят и вас,
не пустили пока —
начиняйтесь же и вы чудесами —
в скороходах-стихах,
в стихах-сапогах
исходите Америку сами!

Аэростанция
на небоскребе.
Вперед,
пружиня бока в дирижабле!
Сожмутся мосты до воробьих ребер.
Чикаго внизу
землею прижаблен.
А после,
с неба,
видные еле,
сорвавшись,
камнем в бездну спланируем.

Тоннелем
в метро
подземные версты выроем
и выйдем на площадь.
Народом запружена.
Версты шириною с три.

Отсюда начинается то, что нам нужно:
— «Королевская улица»—
по-ихнему
— «Рóяль-стрит».

Что за улица?
Что на ней стоит?

А стоит на ней —
Чипль-Стронг-Отель.
Да отель ли то
или сон?!
А в отеле том
в чистоте,
в теплоте
сам живет
Вудро
Вильсон.
Дом какой — не скажу.
А скажу когда,
то покорнейше прошу не верить.
Места нет такого, отойти куда,
чтоб всего его глазом обмерить.
То,
что можно увидеть,
один уголок,
но и то
такая диковина!
Посмотреть, например,
на решетки клок —
из гущённого солнца кована.
А с боков обойдешь —
гора не гора!
Верст на сотни,
а может, на тыщи.
За седьмое небо зашли флюгера.
Да и флюгер
не богом ли чищен?

Тоже лестница там!
Не пойдешь по ней!
Меж колоночек,
балкончиков,
портиков
сколько в ней ступе́ней
и не счесть ступне —
ступене́й этих самых
до чертиков!
Коль пешком пойдешь —
иди молодой!
Да и то
дойдешь ли старым!
А для лифтов —
трактиры по лестнице той,
чтоб не изголодались задаром.
А доехали —
если рады нам —
по пяти впускают парадным.
Триста комнат сначала гости идут.
Наконец дошли.
Какое!
Тут
опять начались покои.
Вас встречает лакей.
Булава в кулаке.
Так пройдешь лакеев пять.
И опять булава.
И опять лакей.
Залу кончишь —
лакей опять.
За лакеями
гуще еще
курьер.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Нет числа.
От числа такого
дух займет у щенка-Хлестакова.
И только
уставши
от страшных снований,
когда
не кажется больше,
что выйдешь,

а кажется,
нет никаких оснований,
чтоб кончилось это —
приемную видишь.
Вход отсюда прост —
в триаршинный рост
секретарь стоит в дверях нем.
Приоткроем дверь.
По ступенькам — (две) —
приподымемся,
взглянем,
ахнем! —
То не солнце днем —
цилиндрище на нем
возвышается башней Сухаревой.
Динамитом плюет
и рыгает о нем,
рыжий весь,
и ухает ухарево.
Посмотришь в ширь —
иоркширом иоркшир!
А длина —
и не скажешь какая длина,
так далеко от ног голова удалена!
То ль заряжен чем,
то ли с присвистом зуб,
что ни звук —
бух пушки.
Люди — мелочь одна,
люди ходят внизу,
под ним стоят,
как избушки.
Щеки ж
такой сверхъестественной мякоти,
что сами просятся —
придите,
лягте.
А одежда тонка,
будто вовсе и нет —
из тончайшей поэтовой неги она.
Кальсоны Вильсона
не кальсоны — сонет,
сажени из ихнего Онегина.

А работает как!
Не покладает рук.
Может заработаться до сме́рти.
Вертит пальцем большим
большого вокруг.
То быстрей,
то медленней вертит.
Повернет —
расчет где-нибудь
на заводе.
Мне
платить не хотят построчной платы.
Повернет —
Штраусы вальсы заводят,
золотым дождем заливает палаты.
Чтоб его прокормить,
поистратили рупь.
Обкормленный весь,
опо́енный.
И на случай смерти,
не пропал чтоб труп,
салотопки стоят,
маслобойни.
Все ему
американцы отданы,
и они
гордо говорят:
я —
американский подданный.
Я —
свободный
американский гражданин.
Под ним склоненные
стоят
его услужающих сонмы.
Вся зала полна
Линкольнами всякими.
Уитмэнами,
Эдисонами.

Свита его
из красавиц,
из самой отборнейшей знати.
Его шевеленья малейшего ждут.
Аделину
Патти
знаете?
Тоже тут!
В тесном смокинге стоит Уитмэн,
качалкой раскачивать в невиданном ритме.
Имея наивысший американский чин —
«заслуженный разглаживатель дамских морщин»,
стоит уже загримированный и в шляпе
всегда готовый запеть Шаляпин.
Паркеты песком соря,
рассыпчатые от старости стоят профессора.
Сам знаменитейший Мечников
стоит и снимает нагар с подсвечников.
Конечно,
ученых
сюда
привел
теорий потоп.
Художников
какое-нибудь
великолепнейшее
экольдебозар [1].

Ничего подобного!
Все
сошлись,
чтоб
ходить на базар.
Ежеутренне
все эти
любимцы муз и слав
нагрузятся корзинами,
идут на рынок
и несут,
несут
мяса́,
масла́.

---

[1] школа изящных искусств (*фр.*— école des beaux arts).

Какой-нибудь король поэтов
Лонгфелло
сто волочит со сливками крынок.
Жрет Вильсон,
наращивает жир,
растут животы,
за этажом этажи.

Небольшое примечание:

художники
Вильсонов,
Ллойд-Джорджев,
Клемансо
рисуют —
усатые,
безусые рожи —
и напрасно:
всё
это
одно и то же.

Теперь
довольно смеющихся глав нам.
В уме
Америку
ясно рисуете.
Мы переходим
к событиям главным.
К невероятной,
к гигантской сути.

День
этот
был
огнеупорный.
В разливе зноя зе́мли тихли.
Ветро́в иззубренные бороны
вотще старались воздух взрыхлить.
В Чикаго
жара непомерная:
градусов 100,
а 80 — наверное.

Все на пляже.
Кто могли — гуляли себе.
А в большей части лежали даже.

Пот
благоухал
на их холеном теле.
Ходили и пыхтели.
Лежали и пыхтели.
Барышни мопсиков на цепочках водили,
и
мопсик
раскормленный был,
как теленок.

Даме одной,
дремавшей в идиллии,
в ноздрю
сжаревший влетел мотыленок.
Некоторые вели оживленные беседы,
говорили «ах»,
говорили «ух».

С деревьев слетал пух.
Слетал с деревьев мимозовых.
Розовел
на белых шелках и кисеях.
Белел на розовых.

Так
довольно долго
все занимались
приятным времяпрепровождением.
Но уже
час тому назад
стало
кое-что меняться.
Еле слышное,
разве только что кончиком души,
дуновенье какое-то.
В безветренном море
ширятся всплески.

Что такое?
Чего это ради ее?

А утром
в молнийном блеске
АТА
(Американское Телеграфное Агентство)
город таким шарахнуло радио:
«Страшная буря на Тихом океане.
Сошли с ума муссоны и пассаты.
На Чикагском побережье выловлены рыбы.
Очень странные.
В шерстях.
Носатые».

Вылазили сонные,
не успели еще обсудить явление,
а радио
спешные
вывешивало объявления:
«Насчет рыб ложь.
Рыбак спьяну местный.
Муссоны и пассаты на месте.
Но буря есть.
Даже еще страшней.
Причины неизвестны».
Выход судам запретили большие,
к ним
присоединились
маленькие пароходные компанийки.
Доллар пал.
Чемоданы нарасхват.
Биржа в панике.
Незнакомого
на улице
останавливали незнакомые —
не знает ли чего человек со стороны.
Экстренный выпуск!
Радио!
Выпуск экстренный!
«Радиограмма переврана.
Не бурь раскат.
Другое.
Грохот неприятельских эскадр».
Радио расклеили
И, опровергая оное,

сейчас же
новое,
последнее,
захватывающее,
сенсационное.
«Не пушечный дым —
океанская синева.
Нет ни броненосцев,
ни флотов,
ни эскадр.
Ничего нет.
Иван».

Что Иван?
Какой Иван?
Откуда Иван?
Почему Иван?
Чем Иван?
Положения не было более запутанного.
Ни одного объяснения
достоверного,
путного.
Сейчас же собрался коронный совет.
Всю ночь во дворце беспокоился свет.
Министр Вильсона
Артур Крупп
заговорился так,
что упал, как труп.
Капитализма верный трезор,
совсем умаялся сам Крезо.
Вильсон
необычайное
проявил упорство
и к утру
решил —
иду в единоборство.
Беда надвигается.
Две тысячи верст.
Верст за тысячу.
За́ сто.
И...

очертанья идущего
нащупали,
заметили,
увидели маяки глазастые.

Строки
этой главы,
гремите,
время ритмом роя!
В песне —
миф о героях Гомера,
история Трои,
до неузнаваемости раздутая,
воскресни!

Голодный,
с теплом в единственный градус
жизни,
как милости да́ренной,
радуюсь,
ход твой следя легендарный.
Куда теперь?
Где пеш?
Какими идешь морями?
Молнию рвущихся депеш
холодным стихом орамим.
Ворвался в Дарданеллы Иванов разбег.
Турки
с разинутым ртами
смотрят:
человек —
голова в Казбек! —
идет над Дарданелльскими фортами.
Старики улизнули.
Молодые на мол.
Вышли.
Песни бунта и молодости.
И лишь
до берега вал домёл,
и лишь волною до мола достиг —
бросились,
будто в долгожданном сигнале,
человек на человека,
класс на класс.
Одних короновали.
Других согнали.
Пешком по морю —
и скрылись из глаз.
Других глотает морская ванна,

другими
акула кровавая кутит,
а эти
вошли,
ввалились в Ивана
и в нем разлеглись,
как матросы в каюте.

(А в Чикаго
ничто не сулило пока
для чикагцев страшный час.
Изогнувшись дугой,
оттопырив бока,
веселились,
танцами мчась.)

Замерли римляне.
Буря на Тибре.
А Тибр,
взъярясь,
папе римскому голову выбрил
и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь.

(А в Чикаго,
усы в ликеры вваля,
выступ мяса облапив бабистый,—
Илл-ля-ля!
Олл-ля-ля!—
процелованный,
взголённый,
разухабистый.)

Черная ночь.
Без звездных фонарей.
К Вильсону,
скользя по водным массам,
коронованный поэтами
крадется Рейн,
слегка посвечивая голубым лампасом.

(А Чикаго
спит,
обтанцован,
опит,
рыхотелье подушками выхоля.

Синь уснула.
Сопит.
Море храпом храпит.
День встает.
Не расплатой на них ли?)

Идет Иван,
сиянием брезжит.
Шагает Иван,
прибоями брызжет.
Бежит живое.
Бежит, побережит.
Вулканом мир хорохорится рыже.
Этого вулкана нет на
составленной старыми географами карте.
Вселенная вся,
а не жалкая Этна,
народов лавой брызжущий кратер.
Ревя несется
странами стертыми
живое и мертвое
от ливня лав.
Одни к Ивану бегут
с простертыми
руками,
другие — к Вильсону стремглав.
Из мелких фактов будничной тины
выявился факт один:
вдруг
уничтожились все середины —
нет на земле никаких середин.
Ни цветов,
ни оттенков,
ничего нет —
кроме
цвета, красящего в белый цвет,
и красного,
кровавящего цветом крови.
Багровое все становилось багро́вей.
Белое все белей и белее.
Иван
через царства
шагает по крови,
над миром справляя огней юбилеи.

Выходит, что крепости строили даром.
Заткнитесь, болтливые пушки!
                                                  Баста!
Над неприступным прошел Гибралтаром.
И мир
        океаном Ивану распластан.

(А в Чикаго
                    на пляже
                                    выводок шлюх
беснованием моря встревожен.
Погоняет время за слухом слух,
отпустив небылицам вожжи.)

Какой адмирал
                        в просторе намытом
так пути океанские выучит?!
Идет,
        начиненный людей динамитом.
Идет,
        всемирной злобою взрывчат.
В четыре стороны расплылось
                                                тихоокеанское лоно.
Иван
        без карт,
                    без компасной стрелки
шел
    и видел цель неуклонно,
как будто
                не с моря смотрел,
                                        а с тарелки.

(А в Чикаго
                    до Вильсона
                                        докатился вал,
брошенный Ивановой ходьбою.
Он боксеров,
                    стрелков,
                                    фехтовальщиков сзывал,
чтобы силу наяривать к бою.)

Вот та́к открыватели,
                                    так Колумбы

сияли,
когда
Ивану
до носа —
как будто
с тысячезапахой клумбы —
земли приближавшейся запах донесся.

(А в Чикаго
боксеров
распирает труд.
Положили Вильсона наземь
и...
ну тереть!
Натирают,
трут,
растирают силовыми мазями.)

Сверльнуло глазá маяка одноглазье —
и вот
в мозги,
в глаза,
в рот,
из всех океанских щелей вылазя,
Америка так и прет и прет.
Взбиралась с разбега верфь на верфь.
На виадук взлетал виадук.
Дымище такой,
что, в черта уверовав,
идешь, убежденный,
что ты в аду.

(Где Вильсона дряблость?
Сдули!
Смолодел на сорок годов.
Животами мышцы вздулись.
Ощупали.
Есть.
Готов.)

Доходит,
пеной волну опеня,
гигантам-домам за крыши замча,

на берег выходит Иван
в Америке,
сухенький,
даже ног не замоча.

(Положили Вильсону последний заклеп
на его механический доспех,
шлем ему бронированный возвели на лоб,
и к Ивану он гонит спех.)

Чикагцы
себя
не любят
в тесных улицах площить.
И без того
в Чикаго
площади самые лучшие.
Но даже
для чикагцев непомерная
площадь
была приготовлена для этого случая.

Люди,
место схватки орамив,
пускай непомерное!—
сузили в узел.
С одной стороны —
с горностаем,
с бобрами,
с другой —
синевели в замасленной блузе.

Лошади
в кашу впутались
в ту же.
К бобрам —
арабский скакун,
к блузам —
тяжелые туши битюжьи.
Вздымают ржанье,
грозят рысаку.
Машины стекались, скользя на мази.
На классы разбился
и вывоз
и ввоз.

К бобрам,
изящный ушел лимузин,
к блузам
стал
стосильный грузовоз.

Ни песне,
ни краске не будет отсрочки,
бой вас решит — судия строгий.
К бобрам —
декадентов всемирных строчки.
К блузам —
футуристов железные строки.

Никто,
никто не избегнет возмездья —
звезде
и той
не уйти.
К бобрам становитесь,
генералы созвездья,
к блузам —
миллионы Млечного Пути.
Наружу выпустив скованные лавины,
земной шар самый
на две раскололся полушарий половины
и, застыв,
на солнце
повис весами.

Всеми сущими пушками
над
площадью объявлен был
«чемпионат
всемирной классовой борьбы!»
В ширь
ворота Вильсону —
верста,
и тó он
боком стал
и еле лез ими.

Сапожищами
подгибает бетон.

Чугунами гремит,
железами.

Во Ивана входящего вперился он —
осмотреть врага,
да нечего
смотреть —
ничего,
хорошо сложён,
цветом тела в рубаху просвечивал.

У того —
револьверы
в четыре курка,
сабля
в семьдесят лезвий гнута,
а у этого —
рука
и еще рука,
да и та
за пояс ткнута.

Смерил глазом.
Смешок по усам его.
Взвил плечом шитье эполетово:
«Чтобы я —
о господи! —
этого са́мого?
Чтобы я
не смог
вот этого?!»

И казалось —
растет могильный холм
посреди ветров обвываний.

Ляжет в гроб,
и отныне
никто,
никогда,
ничего
не услышит
о нашем Иване.

Сабля взвизгнула.
От плеча
и вниз
на четыре версты прорез.
Встал Вильсон и ждет —
кровь должна б,
раны а из
вдруг
человек полез.
И пошло ж идти!
Люди,
дома,
броненосцы,
лошади
в прорез пролезают узкий.
С пением лезут.
В музыке.
О горе!
Прислали из северной Трои
начиненного бунтом человека-коня!
Метались чикагцы,
о советском строе
весть по оторопевшим рядам гоня.

Товарищи газетчики,
не допытывайтесь точно,
где была эта битва
и была ль когда.
В этой главе
в пятиминутье всредоточены
бывших и не бывших битв года.

Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы,
миллионы пою.
Внимайте же, историки и витии,
битв не бывших видевшему перипетии!

«Вставай, проклятьем заклейменный» —
радостная выстрелила весть.
В ответ
миллионный

голос:
«Готово!»
«Есть!»
«Боже, Вильсона храни.
Сильный, державный»,—
они
голос подняли ржавый.

Запела земли половина красную песню.
Земли половина белую песню запела.
И вот
за песней красной,
и вот
за песней за белой —
тараны затарахтели в запертое будущее,
лучей щетины заскребли,
замели.
Руки разрослись,
легко распутывающие
неведомые измерения души и земли.
Шарахнутые бунта веником
лавочники,
не доведя обычный торг,
разбежались ошпаренным муравейником
из банков,
магазинов,
конторок.
На толщь душивших набережных и дамб
к городам
из океанов
двинулась вода.
Столбы телеграфные то здесь,
то там
соборы вздергивали на провода.
Бросив насиженный фундамент,
за небоскребом пошел небоскреб,
как тигр в зверинце —
мясо
фунтами,
пастью ворот особнячишки сгреб.
Сами себя из мостовых вынув,—
где, хозяин, лбище твой?—
в зеркальные стекла бриллиантовых магазинов
бросились булыжники мостовой.

Не боясь сесть на́ мель,
не боясь на колокольни напороть туши,
просто —
как мы с вами —
шагали киты сушей.
Красное все
и все, что бе́ло,
билось друг с другом,
билось и пело.

Танцевал Вильсон
во дворце кэк-уок,
заворачивал задом и передом,
да не доделала нога экивок,
в двери смотрит Вильсон,
а в две́ри там —
непоколебимые,
походкой зловещею,
человек за человеком,
вещь за вещью
вваливаются в дверь в эту:
«Господа Вильсоны,
пожалте к ответу!»

И вот,
притворявшиеся добрыми,
колье
на Вильсоних
бросились кобрами.
Выбирая,
которая помягче и почище,
по гостиным
за миллиардершами
гонялись грузовичищи.
Не убежать!
Сороконогая
мебель раскинула лов.
Топтала людей гардеробами,
протыкала ножками столов.

Через Рокфеллеров,
валяющихся ничком,
с горлами,
сжимаемыми собственным воротничком,

растоптав,
как тараканов,
вывалилась,
в Чикаго канув.
По улицам
в саже́ни
дома не видно от дыма сражений.
Как в кинематографе
бывает —
вдруг
крупно —
видят:
сквозь хао́с
ползущую спекуляцию добивает,
встав на задние лапы,
Совнарков.

Но Вильсон не сдается,
засел во дворце,
нажимает золотые пружины,
и выстраивается цепь —
нечеловеческие дружины.
Страшней, чем танки,
чем войск роты,
безбрюхий встал,
пошел стоend ротый,
мильонозубый
ринулся голод.
Город грызнет — орехом расколот.
Сгреб деревню — хрустнула косточкой.
А людей,
а людей и зверей —
просто в рот заправляет горсточкой.
Впереди его,
вывострив ухо,
путь расчищая, лезет разруха.
Дышит завод.
Разруха слышит.
Слышит разруха — фабрика дышит.
Грохнет по фабрике —
фабрика свалена.
Сдавит завод —
завод развалина.
Рельс обломком крушит, как палицей.

Все разрушается,
гибнет,
валится.
Готовься!
К атаке!
Трудись!
Потей!
Горло голода,
разрухи глотку
затянем
петлей железнодорожных путей!
И когда пресекаться дух стран
стал,
голодом сперт,
тогда,
раскачивая поездов таран,
двинулся вперед транспорт.
Ветрилась паровозов борода седая,
бьются,
голод сдал,
и по нем,
остатки съедая,
груженные хлебом прошли поезда.

Искорежился,—
и во гневе
Вудро,
приказав:
«Сразите сразу»,
новых воинов высылает рой —
смертоноснейшую заразу.
Идут закованные в грязевые брони
спирохет на спирохете,
вибрион на вибрионе.
Ядом бактерий,
лапами вшей
кровь поганят,
ползут за шей.
Болезни явились
небывалого фасона:
вдруг
человек
становится сонный,
высыпает рябо,

распухает
и лопается грибом.
Двинулись,
предводимые некою
радугоглазой аптекою,
бутыли карболочные выдвинув в бойницы,
лазареты,
лечебницы,
больницы.
Вши отступили,
сгрудились скопом.
Вшей
в упор
расстреливали микроскопом.
Молотит и молотит дезинфекции цеп.
Враги легли,
ножки задрав.
А поверху,
размахивая флаг-рецепт,
прошел победителем мировой Наркомздрав.

Вырывается у Вильсона стон,—
и в болезнях побит и в еде,
и последнее войско высылает он,—
ядовитое войско идей.
Демократизмы,
гуманизмы —
идут и идут
за измами измы.

Не успеешь разобраться,
чего тебе нужно,
а уже
философией
голова заталмужена.
Засасывали романсов тиной.
Пением завораживали.
Завлекали картиной.
Пустые головы
книжками
для веса
нагрузив,
пошел за профессором профессор.

Их
молодая встретила орава,
и дулам браунингов в провал
рухнуло римское право
и какие-то еще права.
Простонародью очки втирая,
адом пугая,
прельщая раем,
и лысые, как колено,
и мохнатые, как звери,
с евангелиями вер,
с заговорами суеверий,
рясами вздыбив пыль,
армией двинулись черно-белые попы.
Под градом декретов
от красной лавины
рассыпались
попы,
муллы,
раввины.

А ну, чудотворцы,
со смертных одр
встаньте-ка!
На месте кровавого спора
опора веры валяется —
Петр
с проломанной головой собственного собора.
Тогда
поэты взлетели нá небо,
чтоб сверху стрелять, как с аэроплана бы.
Их
на приманку академического пайка
заманивали,
ждали, не спустятся пока.
Поэты бросались, камнем пав,—
в работу их,
перья рифм ощипав!
В «Полное собрание сочинений»,
как в норки,
классики забились.
Но жалости нет!

Напрасно
их
наседкой
Горький
прикрыл,
распустив изношенный авторитет.
Фермами ног отмахивая мили,
кранами рук расчищая пути,
футуристы
прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти.

Стенкой в стенку,
валяясь в пыли,
билась с адмиралтейством
Лувра труха,
пока
у адмиралтейства
на штыке-шпиле
не повисли Лувра картинные потроха.

Последняя схватка.
Сам Вильсон.
И в ужасе видят вильсонцы —
испепелен он,
задом придавить пытавшийся солнце.
Кто вспомнит безвестных главковерхов имя,
победы громоздивших одна на одну?!
Загрохотав в международной Цусиме,
эскадра старья пошла ко дну.

Фабриками попирая прошедшего труп,
будущее загорланило триллионом труб:
«Авелем называйте нас
или Каином,
разница какая нам!
Будущее наступило!
Будущее победитель!
Эй, века,
на поклон идите!»
Горизонт перед солнцем расступился злюч.
И только что
мира пол заклавший,

Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши.

История,
в этой главе
как на ладони бег твой.
Голодая и ноя,
города расступаются,
и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.

Год с нескончаемыми нулями.
Праздник, в святцах
не имеющий чина.
Выфлажено все.
И люди
и строения.
Может быть,
Октябрьской революции сотая годовщина,
может быть,
просто
изумительнейшее настроение.
Разгоняя дирижабли небесам под уклон,
поездами,
на палубах бесчисленных эскадр,
извилинами пеших колонн
за кадром выстраивают человечий кадр.

Большеголовые,
в красном сиянье,
с Марса слетевшие, встали марсияне.
Взыграет аэро,
и снова нет.
И снова птицей солнце заслóнится.
И снова
с отдаленнейших слетаются планет,
винтами развеерясь из-за солнца.
Пустыни смыты у мира с хари,
деревья за стволом расфеерили ствол.
На площади зелени —
на бывшей Сахаре —
сегодня
ежегодное торжество.

День за днем спускались дни,
и снова густела тьма ночная.
Прежде чем выстроиться сумев,
                                                                      они
грянули:
              — Начинаем!

«Голоса людские,
                                        зверьи голоса,
                                                                      рев рек
ввысь славословием вьем.
Пойте все, и все слушайте
                                                        мира торжественный реквием.

Вам, давнишние,
                                        года проголодавшие,
о рае сегодняшнем раструбливая весть,
вам,
      мильонолетию давшие
петь,
        пить,
                есть.
Вам, женщины,
                                    рожденные под горностаевые
мантии,
            тело в лохмотья рядя,
падавшие замертво,
                                            за хлебом простаивая
в неисчислимых очередях.
Вам,
        легионы жидкокостых детей,
толпы искривленной голодом молодежи,
те, кто дожи́ли до чего-то,
                                                        и те,
кто ни до чего не до́жил.
Вам,
        звери,
                ребрами сквозя,
забывшие о съеденном людьми овсе,
работавшие, кого-то и что-то возя,
пока исхлестанные не падали совсем.
Вам,
        расстрелянные на баррикадах духа,
чтоб дни сегодняшние были пропеты,

будущее ловившие в ненасытное ухо,
маляры,
певцы,
поэты.
Вам, которые
сквозь дым и чад,
жизнью, едва державшейся на иотке,
ржавым железом, шестерней скрежеща,
работали все-таки,
делали все-таки.
Вам неумолкающих слав слова,
ежегодно расцветающие, вовеки не вянув,
за нас замученные — слава вам,
миллионы живых,
кирпичных
и прочих Иванов».

Парад мировой расходился ровно,—
ведь горе давнишнее душу не бесит.
Годами
печаль
в покой воркестрована
и песней брошена ввысь поднебесить.

Еще гудят голосов отголоски
про смерти чьи-то,
про память вечную.
А люди
уже
в многоуличном лоске
катили минуту, весельем расцвеченную.
Ну и катись средь песенного лада,
цвети, земля, в молотьбе и в сеятьбе.
Это тебе
революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!

1919—1920

ЛЮБЛЮ

ОБЫКНОВЕННО ТАК

Любовь любому рожденному дадена,—
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на́ день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело — рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот!—
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.

МАЛЬЧИШКОЙ

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трудами муштровано.

А я —
убёг на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатьём под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не заноет.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!
А тоже —
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стоверстым скалам?!»

ЮНОШЕЙ

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить

учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов нá море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазнáются.
«Чего — мол — стоят лученышки эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы — все на свете.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Французский знаете.
Дéлите.
Множите.
Склоняете чýдно.
Ну и склоняйте!
Скажите —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человечий,
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.
И вся она — с крохотный глобус.
А я
боками учил географию —
недаром же
наземь
ночевкой хлопаюсь!
Мутят Иловайских больные вопросы:

— Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!
Не копаюсь в пропыленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть),—
фамилья ж против,
скулит родовая.
Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбенками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.

ВЗРОСЛОЕ

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за́ сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.

Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстно́ю площадью лежа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только весен,
за 20 лет в распаленного ввалено!
Их груз нерастраченный — просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

ЧТО ВЫШЛО

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,

я же
ладно слажен —
и все же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться —
некуда, кажется — полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

ЗОВУ

Подня́л силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом,—
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго́ бы...»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

ТЫ

Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница.
Должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

НЕВОЗМОЖНО

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладем в несгораемый».

Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полно́чи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

ТАК И СО МНОЙ

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
— я же люблю! —
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь, —
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

ВЫВОД

Не смоют любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

1922

IV ИНТЕРНАЦИОНАЛ

I

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАЯКОВСКОГО ЦК РКП, ОБЪЯСНЯЮЩЕЕ НЕКОТОРЫЕ ЕГО, МАЯКОВСКОГО, ПОСТУПКИ [1]

Были белые булки.
Более
звезд.
Маленькие.
И то по фунту.
А вы
уходили в подполье,
готовясь к голодному бунту.
Жили, жря и ржа.
Мир
в небо отелями вылез,
лифт франтих винтил по этажам спокойным.
А вы
в подпольи таились,
готовясь к грядущим войнам.
В креслах времен
незыблем
капитализма зад.
Жизнь
стынет чаем на блюдце.

[1] Дальнейшие части показывают безотносительность моего Интернационала немецкому. Второй год делаю эту вещь. Выделывая дальнейшее, должно быть, буду не раз перерабатывать и «открытое». (*Прим. авт.*)

А вы —
уже! —
смотрели в глаза
атакующим дням революций.
Вывернувшись с изнанки,
выкрасив бороду,
гоняли изгнанники
от города к городу.

В колизеи душ,
в стадионы-го́ловы,
еле-еле взнеся их в парижский чердак,
собирали в цифры,
строили голь вы
так —
притекшие человечьей кашей
с плантаций,
с заводов —
обратно
шагали в марше
стройных рабочих взводов.
Фарами фирмы марксовой
авто диалектики врезалось в года́.
Будущее рассеивало мрак свой.

И когда
Октябрь
пришел и за́лил,
огневой галоп,
казалось,
не взнуздает даже дым,
вы
в свои
железоруки
взяли
революции огнедымые бразды.
Скакали и прямо,
и вбок,
и криво.
Кронштадтом конь.
На дыбы.
Над Невою.
Бедой Ярославля горит огнегривый.
Царицын сковал в кольцо огневое.

Гора.
Махнул через гору —
и к новой.
Бездна.
Взвился над бездной —
и к бездне.
До крови с-под ногтя
в загривок конёвый
вцепившийся
мчался и мчался наездник.

Восторжен до крика,
тревожен до боли,
я тоже
в бешеном темпе галопа
по меди слов языком колоколил,
ладонями рифм торжествующе хлопал.

Доскакиваем.
Огонь попритушен.
Чадит мещанство.
Дымится покамест.
Но крепко
на загнанной конской туше
сидим,
в колени зажата боками.

Сменили.
Битюг трудовой.
И не мешкая,
мимо развалин,
пожарищ мимо мы.
Головешку за головешкою
притушим,
иными развеясь дымами.

Во тьме
без пути
по развалинам лазая,
твой конь дрожит,
спотыкается тычась твой.
Но будет:
Шатурское
тысячеглазое
пути сияньем прозрит электричество.

Пойди,
битюгом Россию промеряй-ка!
Но будет миг,
верую,
скоро
у нас
паровозная встанет Америка.
Высверлит пулей поля и горы.
Въезжаем в Поволжье,
корежит вид его.
Костями устелен.
Выжжен.
Чахл.
Но будет час
жития сытого,
в булках,
в калачах.

И тут-то вот
над земною точкою
загнулся огромнейший знак вопроса.
В грядущее
тыкаюсь
пальцем-строчкой,
в грядущее
глазом образа вросся.
Коммуна!
Кто будет пить молоко из реки ея?
Кто берег-кисель расхлебает опоен?
Какие их мысли?
Любови какие?
Какое чувство?
Желанье какое?
Сейчас же,
вздымая культурнейший вой,
патент старье коммуне выдало:
«Что будет?
Будет спаньем,
едой
себя развлекать человечье быдло.
Что будет?
Асфальтом зальются улицы.
Совдепы вычинят в пару лет.

И в праздник
будут играть
пролеткультцы
в сквере
перед совдепом
в крокет.
Свистит любой афиши плеть:
— Капут Октябрю!
Октябрь не выгорел! —
Коммунисты
толпами
лезут млеть
в Онегине,
в Сильве,
в Игоре.
К гориллам идете!
К духовной дырке!
К животному возвращаетесь вспять!
От всей
вековой
изощренной лирики
одно останется:
— Мужчина, спать! —
В монархию,
В коммуну ль мещанина выселим мы.
И в городе-саде ваших дач
он будет
одинаково
работать мыслью
только над счетом кухаркиных сдач.
Уже настало.
Смотрите —
вот она!
На месте ваших вчерашних чаяний
в кафа́х,
нажравшись пироженью рвотной,
коммуну славя, расселись мещане.
Любовью
какой обеспечит Собес?!
Семашко ль поможет душ калекам?!»

Довольно!

Мы возьмемся,
если без
нас
об этом подумать некому.

Каждый омолаживайся!
Спеши
юн
душу седую из себя вытрясти.
Коммунары!
Готовьте новый бунт
в грядущей
коммунистической сытости.

Во имя этого
награждайте Академиком
или домом —
ни так
и ни даром —
я не стану
ни замом,
ни предом,
ни помом,
ни даже продкомиссаром.
Бегу.
Растет
за мной,
эмигрантом,
людей и мест изгонявших черта́.
Знаю:
придет,
взбарабаню,
и грянет там...
Нынче ж
своей голове
на чердак
загнанный,
грядущие бунты славлю.
В марксову диалектику
стосильные
поэтические моторы ставлю.
Смотрите —
ряды грядущих лет текут.

Взрывами мысли го́ловы содрогая,
артиллерией сердец ухая,
встает из времен
революция другая —
третья революция
духа.

Штык-язык остри и три!
Глаза на прицел!
На перевес уши!
Смотри!
Слушай!
Чтоб душу врасплох не смяли,
чтоб мозг не опрокинули твой —
эй-ка! —
Смирно!
Ряды вздвой,
мысль-красногвардейка.
Идите все
от Маркса до Ильича вы,
все,
от кого в века лучи.
Вами выученный,
миры величавые
вижу —
любой приходи и учись!

1922

ПЯТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

8 ЧАСТЕЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Приказ № 3

Прочесть по всем эскадрильям футуристов, крепостям классиков, удушливогазным командам символистов, обозам реалистов и кухонным командам имажинистов.

Где еще
— разве что в Туле? —
позволительно становиться на поэтические ходули?!
Провинциям это!..
«Ах, как поэтично...
как возвышенно...
Ах!»
Я двадцать лет не ходил в церковь.
И впредь бывать не буду ни в каких церквах.
Громили Василия Блаженного.
Я не стал теряться.
Радостный,
вышел на пушечный зов.
Мне ль
вычеканивать венчики аллитераций
богу поэзии с óбразами образóв.
Поэзия — это сиди и над розой ной...
Для меня
невыносима мысль,
что роза выдумана не мной.

Я 28 лет отращиваю мозг
не для обнюхивания,
а для изобретения роз.
Надсóны,
не в ревность
над вашим сонмом
эта
моя
словостройка взвеена.
Я стать хочу
в ряды Эдисонам,
Лениным в ряд,
в ряды Эйнштейнам.

Я обкармливал.
Я обкармливался деликатесами дóсыта.
Ныне —
мозг мой чист.
Язык мой гол.
Я говорю просто —
фразами учебника Марго.

Я
поэзии
одну разрешаю форму:
краткость,
точность математических формул.
К болтовне поэтической я слишком привык,—
я еще говорю стихом, а не напрямик.
Но если
я говорю:
«А!» —
это «а»
атакующему человечеству труба.
Если я говорю:
«Б!» —
это новая бомба в человеческой борьбе.

Я знаю точно — что такое поэзия. Здесь описываются мною интереснейшие события, раскрывшие мне глаза. Моя логика неоспорима. Моя математика непогрешима.

Внимание!
Начинаю.

Аксиома:
Все люди имеют шею.

Задача:
Как поэту пользоваться ею?

Решение:
Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом.
Фундамент есть.
Начало благополучно.
По сравнению с Гершензоном даже получается научно.
Я и начал!
С настойчивостью Леонардо да Винчевою,
закручу,
раскручу
и опять довинчиваю.
(Не думаю,
но возможно,
что это
немного
похоже даже на самоусовершенствование иога.)

Постепенно,
практикуясь и тужась,
я шею так завинтил,
что просто ужас.
В том, что я сказал,
причина коренится,
почему не нужна мне никакая заграница.
Ехать в духоте,
трястись,
не спать,
чтоб потом на Париж паршивый пялиться?!
Да я его и из Пушкина вижу,
как свои
пять пальцев.
Мой способ дешевый и простой:
руки в карманы заложил и стой.
Вставши,
мысленно себя вытягивай зá уши.
Так
через год

я
мог
шею свободно раскручивать на вершок.
Прохожие развозмущались.
Потом привыкли.
Наконец,
и смеяться перестали даже —
мало ли, мол, какие у футуристов бывают блажи.
А с течением времени
пользоваться даже стали —
при указании дороги.
«Идите прямо,—
тут еще стоят такие большие-большие ноги.
Ноги пройдете, и сворачивать пора —
направо станция,
налево Акулова гора».

Этой вот удивительной работой я был занят чрезвычайно долгое время.

Я дней не считал.
И считать на что вам!
Отмечу лишь:
сквозь еловую хвою,
года отшумевши с лесом мачтовым,
леса перерос и восстал головою.
Какой я к этому времени —
даже определить не берусь.
Человек не человек,
а так —
людогусь.
Как только голова поднялась над лесами,
обозреваю окрестность.
Такую окрестность и обозреть лестно.

Вы бывали в Пушкине (Ярославская ж. д.) так в 1925—30 году? Были болота. Пахалось невесть чем. Крыши — дыры. Народ крошечный. А теперь!

В красных,
в зеленых крышах сёла!
Тракторы!
Сухо!
Крестьянин веселый!
У станции десятки линий.

Как только не путаются —
не вмещает ум.
Станция помножилась на 10 — минимум.
«Серьезно» —
поздно
является.
Молодость — известное дело — забавляется.
Нагибаюсь.
Глядя на рельсовый путь,
в трубу паровозу б сверху подуть.
Дамы мимо.
Дым им!
Дамы от дыма.
За дамами дым.
Дамы в пыль!
Дамы по луже.
Бегут.
Расфыркались.
Насморк верблюжий.

Винти дальше!

Пушкино размельчилось.
Исчезло, канув.
Шея растягивается
— пожарная лестница —
голова
уже́,
разве что одному Ивану
Великому
ровесница.

Москва.

Это, я вам доложу,— зрелище. Дома́. Дома необыкновенных величин и красот.

Помните,
дом Нирензее
стоял,
над лачугами крышищу взвеивая?
Так вот:
теперь
под гигантами

грибочком
эта самая крыша Нирензеевая.

Улицы циркулем выведены. Электричество ожерельями выложило булыжник. Диадемищами горит в театральных лбах. Горящим адрес-календарем пропечатывают ночь рекламы и вывески. Из каждой трубы — домовьей, пароходной, фабричной — дым. Работа. Это Москва — 940—950 года во всем своем великолепии.

Винти!

Водопьяный переулок разыскиваю пока,
Москва стуманилась.
Ока змейнула.
Отзмеилась Ока.

Горизонт бровями лесными хмурится.
Еще винчусь.
Становища Муромца
из глаз вон.
К трем морям
простор
одуряющ и прям.
Волга,
посредине Дон,
а направо зигзагища Днепра.

До чего ж это замечательно!

Глобус — и то хорошо. Рельефная карта — еще лучше. А здесь живая география. Какой-нибудь Терек — жилкой трепещет в дарьяльском виске. Волга игрушечная переливается фольгой. То розовым, то голубым акварелит небо хрусталик Араратика.

Даже размечтался — не выдержал.

Воздух
голосом прошлого
ветрится ба́сов...
Кажется,
над сечью облачных гульб

в усах лучей
головища Тарасов
Бульб.

Еще развинчиваюсь,
и уже
бежит
глаз
за русские рубежи.

Мелькнули
валяющиеся от войны дробилки:
Латвии,
Литвы
и т. п. политические опилки.
Гущей тел искалеченных, по копям скрученным,
тяжко,
хмуро,
придавленная версальскими печатями сургучными,
Германия отрабатывается на дне Рура.
На большой Европейской дороге,
разбитую челюсть
Версальским договором перевязав,
зубами,
нож зажавшими, щерясь,
стоит француз-зуав.

Швейцария.
Закована в горный панцирь.
Италия...
Сапожком на втором планце...
И уже в тумане:
Испания...
Испанцы...
А потом океан — и никаких испанцев.

Заворачиваю шею в полоборотца.
За плечом,
ледниками ляская —
бронзовая Индия.
Встает бороться.
Лучи натачивает о горы Гималайские.

Поворачиваюсь круто.
Смотрю очумело.
На горизонте Япония,
Австралия,
Англия...
Ну, это уже пошла мелочь.

Я человек ужасно любознательный. С детства.

Пользуюсь случаем —
полюсы
полез осмотреть получше.
Наклоняюсь настолько низко,
что нос
мороз
выдергивает редиской.

В белом,
снегами светящемся мире
Куки,
Пири.
Отвоевывают за шажками шажок,—
в пуп земле
наугад
воткнуть флажок.
Смотрю презрительно,
чуть не носом тыкаясь в ледовитые пятна —
я вот
полюсы
дюжинами б мог
открывать и закрывать обратно.
Растираю льдышки обмороженных щек.
Разгибаюсь.
Завинчиваюсь еще.
Мира половина —
кругленькая такая —
подо мной,
океанами с полушария стекая.
Издали
совершенно вид апельсиний;
только тот желтый,
а этот синий.

Раза два повернул голову полным кругом. Кажется, все наиболее интересные вещи осмотрены.

Ну-с,
теперь перегнусь.
Пожалуйста!
Нате!
Соединенные
штат на штате.
Надо мной Вашингтоны,
Нью-Йорки.
В дыме.
В гаме.
Надо мной океан.
Лежит
и не может пролиться.
И сидят,
и ходят,
и все вверх ногами.
Вверх ногами даже самые высокопоставленные лица.

Наглядевшись американских диве́с,
как хороший подъемный мост,
снова выпрямляюсь во весь
рост.

Тут уже начинаются дела так называемые небесные.
Звезды огромнеют,
потому — ближе.
Туманна земля.
Только шумами дальними ухо лижет,
голоса в единое шумливо смеля.

Выше!

Тишь.
И лишь
просторы,
мирам открытые странствовать.
Подо мной,
надо мной
и насквозь светящее реянье.
Вот уж действительно
что называется — пространство!

Хоть руками щупай в 22 измерения.
Нет краев пространству,
времени конца нет.
Так рисуют футуристы едущее или идущее:
неизвестно,
чтó вещь,
чтó след,
сразу видишь вещь из прошедшего в грядущее.
Ничего не режут времени ножи.
Планеты сшибутся,
и видишь —
разом
разворачивается новая жизнь
грядущих планет туманом-газом.

Некоторое отступление.—

Выпустят из авиашколы летчика.
Долго ль по небу гоняет его?
И то
через год
у кареглазого молодчика
глаза
начинают просвечивать синевой.

Идем дальше.
Мое пребывание небом не считано,
и я
от зорь его,
от ветра,
от зноя
окрасился весь небесно-защитно —
тело лазоревосинесквозное.
Я так натянул мою материю,
что ветром
свободно
насквозь свистело,—
и я
титанисто
боролся с потерею
привычного
нашего
плотного тела.

Казалось:
миг —
и постройки масса
рухнет с ног
со всех двух.
Но я
оковался мыслей каркасом.
Выметаллизировал дух.

Нервная система?
Черта лешего!
Я так разгимнастировал ее,
что по субботам,
вымыв,
в просушку развешивал
на этой самой системе белье.
Мысль —
вещественней, чем ножка рояльная.
Вынешь мысль из-под черепа кровельки,
и мысль лежит на ладони,
абсолютно реальная,
конструкцией из светящейся проволоки.
Штопором развинчивается напрягшееся ухо.
Могу сверлить им
или
на бутыль нацелиться слухом
и ухом откупоривать бутыли.

Винти еще!

Тихо до жути.
Хоть ухо выколи.
Но уши слушали.
Уши привыкли.

Сперва не разбирал и разницу нот.
(Это всего-то отвинтившись версты нá три!)
Разве выделишь,
если кто кого ругнет
особенно громко по общеизвестной матери.
А теперь
не то что мухин полет различают уши —
слышу
биенье пульса на каждой лапке мушьей.

Да что муха,
пустяк муха.
Слышу
каким-то телескопическим ухом:
мажорно
мира жернов
басит.
Выворачивается из своей оси́.
Уже за час различаю —
небо в приливе.
Наворачивается облачный валун на валун им.
Это месяц, значит, звезды вывел
и сам
через час
пройдет новолунием.

Каждая небесная сила
по-своему голосила.
Раз!
Раз! —
это близко,
совсем близко
выворачивается Марс.
Пачками колец
Сатурн
расшуршался в балетной суете.
Вымахивает за туром тур он
свое мировое фуэтэ.
По эллипсисам,
по параболам,
по кругам
засвистывают на невероятные лады.
Солнце-дирижер,
прибрав их к рукам,
шипит —
шипенье обливаемой сковороды.

А по небесному стеклу,
будто с чудовищного пера,
скрип
пронизывает оркестр весь.
Это,
выворачивая чудовищнейшую спираль,
солнечная система свистит в Геркулес.

Настоящая какофония!
Но вот
на этом фоне я
жесткие,
как пуговки,
стал нащупывать какие-то буковки.
Воздух слышу,—
расходятся волны его,
груз фраз на спину взвалив.
Перекидываются словомолниево
Москва
и Гудзонов залив.

Москва.
«Всем! Всем! Всем!
Да здравствует коммунистическая партия!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Эй!»

Чикаго.
«Всем! Всем! Всем!
Джимми Долларс предлагает партию
откормленнейших свиней!»

Ловлю долетающее сюда извне.
В окружающее вросся.
Долетит —
и я начинаю звенеть и звенеть
антеннами гла́за,
глотки,
носа.

Сегодня я добился своего. Во вселенной совершилось наиневероятнейшее превращение.

Пространств мировых одоления ради,
охвата ради веков дистанций
я сделался вроде
огромнейшей радиостанции.

С течением времени с земли стали замечать мое сооружение. Земля ошеломилась. Пошли целить телескопы. Книга за книгой, за статьей статья. Политехнический музей

взрывался непрекращающимися диспутами. Я хватал на лету радио важнейших мнений. Сводка:

Те, кто не видят дальше аршина,
просто не верят:
«Какая такая машина??»
Поэты утверждают:
«Новый выпуск «истов»,
просто направление такое
новое —
унанимистов».
Мистики пишут:
«Логос.
Это всемогущество. От господа бога-с».
П. С. Коган:
«Ну, что вы, право,
это
просто символизируется посмертная слава».
Марксисты всесторонне обсудили диво.
Решили:
«Это
олицетворенная мощь коллектива».
А. В. Луначарский:
«Это он о космосе!»

Я не выдержал, наклонился и гаркнул на всю землю:

— Бросьте вы там, которые о космосе!
Что космос?
Космос далеко-с, мусью-с!
То, что я сделал,
это
и есть называемое «социалистическим поэтом».
Выше Эйфелей,
выше гор
— кепка, старое небо дырь!—
стою́,
будущих былин Святогор
богатырь.

Чтоб поэт перерос веков сроки,
чтоб поэт
человечеством полководить мог,

со всей вселенной впитывай соки
корнями вросших в землю ног.
Товарищи!
У кого лет сто свободных есть,
можете повторно мой опыт произвесть.
А захотелось на землю
вниз —
возьми и втянись.

Практическая польза моего изобретения:

при таких условиях
древние греки
свободно разгуливали б в тридцатом веке.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Простите, товарищ Маяковский. Вот вы всё время орете — «социалистическое искусство, социалистическое искусство». А в стихах — «я», «я» и «я». Я радио, я башня, я то, я другое. В чем дело?

Для малограмотных

Пролеткультцы не говорят
ни про «я»,
ни про личность.
«Я»
для пролеткультца
все равно что неприличность.
И чтоб психология
была
«коллективней», чем у футуриста,
вместо «я-с-то»
говорят
«мы-с-то».
А по-моему,
если говорить мелкие вещи,
сколько ни заменяй «Я»—«Мы»,
не вылезешь из лирической ямы.
А я говорю
«Я»,

и это «Я»
вот,
балагуря,
прыгая по словам легко,
с прошлых
многовековых высот,
озирает высоты грядущих веков.

Если мир
подо мной
муравейника менее,
то куда ж тут, товарищи, различать местоимения?!

Теперь сама поэма

Напомню факты. Раскрутив шею, я остановился на каких-то тысячных метрах.

Подо мной земля —
капля из-под микроскопа:
загогулина и палочка, палочка и загогулина...
Европа лежит грудой раскопок,
гулом пушек обложенная огульно.
Понятно,
видишь только самые общие пятна.
Вот
она,
Россия,
моя любимая страна.
Красная,
только что из революции горнила.
Рабочей
чудовищной силой
ворочало ее и гранило.
Только еле
остатки нэпа ржавчиной чернели.
А это Польша,
из лоскуточков ссучена.
Тут тебе сразу вся палитра.
Склей такую!
Потратила пилсудчина
слюны одной тысячу литров.
Чувствуешь —
зацепить бы за лоскуточек вам,

и это
всё
разлезется по швам.
Германия —
кратера огнедышащий зной.
Камня,
пепла словесное сеянье.
Лава —
то застынет соглашательской желтизной,
то, красная,
дрожит революции землетрясением.
Дальше.
Мрак.
Франция.
Сплошной мильерановский фрак.
Черный-черный.
Прямо синий.
Только сорочка блестит —
как блик на маслине.
Чем дальше — тем чернее.
Чем дальше — тем мрачнее.
Чем дальше — тем ночнее.
И на горизонте,
где Америка,
небо кро́я,
сплошная чернотища выметалась икрою.
Иногда лишь
черноты́ го́ры
взрывались звездой света —
то из Индии,
то из Ангоры,
то из Венгерской республики Советов.

Когда же
сворачивался лучей веер,
день мерк —
какой расфее́ривался фейерверк!
Куда ни нагнись ты —
огнисто.

Даже ночью, даже с неба узнаю РСФСР.

Мало-помалу,
еле-еле,

но вместе с тем неуклонно,
неодолимо вместе с тем
подо мной
развертываются
огней параллели —
это Россия железнодоро́жит темь.

А там вон
в линиях огни поредели,
в кучи сбились,
горят танго́во.
Это значит —
Париж открывает бордели
или еще какая из животоварных торговок.

Собрать бы молнии
да отсюда
в золотооконный
в этот самый
в Мулен
в Руж...
Да разве попрешь?
Исторические законы!
Я марксист,
разумеется, не попру ж!

Если б вы знали,
с какой болью
ограничиваюсь свидетельской ролью.

Потушить антенны глаз. Настроить на 400 000 верст антенны слуха!

Сначала
— молодое рвение —
радостно принимал малейшее веянье.
Ловлю перелеты букв-пуль.
Складываю.
Расшифровываю,
волнуясь и дрожа.
И вдруг:
«Ллойд-Джордж зовет в Ливерпуль.
На конференцию.
Пажа́-пажа́!!»

Следующая.
Благой мат.
Не радио,
а Третьяков в своем «Рыде»:
«Чего не едете?
Эй, вы,
дипломат!
Послезавтра.
Обязательно!
В Мадриде!»

До чего мне этот старик осточертел!

Тысячное радио.
Несколько слов:
«Ллойд-Джордж.
Болезнь.
Надуло лоб.
Отставка.
Вызвал послов.
Конференция!»
Конотоп!

Черпнешь из другой воздушной волны.
Во́лны
другой чепухой полны́.
«Берлину
Париж:
Гони монету!»
«Парижу
Берлин:
Монет нету!»
«Берлину.
У аппарата Фош.
Платите! —
а то зазвените».
«Парижу.
Что ж,
заплатим,
извините».
И это в конце каждого месяца.
От этого
даже Аполлон Бельведерский взбесится.
А так как
я

человек, а не мрамор,
то это
меня
извело прямо.
Я вам не в курзале под вечер летний,
чтоб слушать
эти
радиосплетни.

Завинчусь.
Не будет нового покамест —
затянусь облаками-с.

Очень оригинальное ощущение. Головой провинтил облака и тучи. Земли не видно. Не видишь даже собственные плечи. Только небо. Только облака. Да в облаках моя головища.

Мореет тучами.
Облаком за́стит.
И я
на этом самом
на мо́ре
горой-головой плыву головастить —
второй какой-то брат черноморий.
Эскадры
верблюдокорабледраконьи.
Плывут.
Иззолочены солнечным Крезом.
И встретясь с фантазией ультра-Маркони,
об лоб разбиваемы облакорезом.
Громище.
Закатится
с тучи
по скату,
над ухом
грохотом расчересчурясь.
Втыкаю в уши облака вату,
стою в тишине, на молнии щурясь.
И дальше
летит
эта самая Лета;
не злобствуя дни текут и не больствуя,

а это
для человека
большое удовольствие.

Стою спокойный. Без единой думы. Тысячесилием воли сдерживаю антенны. Не гудеть!

Лишь на извивах подсознательных,
проселков окольней,
полумысль о культуре проходящих поколений:
раньше
аэро
шуршали о го́лени,
а теперь
уже шуршат о колени.

Так
дни
текли и текли в покое.
Дни дотекли.
И однажды
распeрегрянуло такое,
что я
затрясся антенной каждой.

Колонны ног,
не колонны — стебли.
Так эти самые ноги колеблет.

В небо,
в эту облакову няньку,
сквозь земной
непрекращающийся зуд,
все законы природы вывернув наизнанку,
в небо
с земли разразили грозу.
Уши —
просто рушит.
Радиосмерч.

«Париж...
Согласно Версальскому
Пуанкаре да Ллойд...»
«Вена.
Долой!»

«Париж.
Фош.
Врешь, бош.
Берегись, унтер...»
«Berlin.
Runter!»[1]
«Вашингтон.
Закрыть Европе кредит.
Предлагаем должникам торопиться со взносом».
«Москва.
А ну!
Иди!
Сунься носом».
За радио радио в воздухе пляшет.
Воздух
в сплошном
и грозобуквом ералаше.

Что это! Скорее! Скорее! Увидеть. Раскидываю тучи. Ладонь ко лбу. Глаза укрепил над самой землей. Вчера еще закандаленная границами, лежала здесь Россия одиноким красным оазисом. Пол-Европы горит сегодня. Прорывает огонь границы географии России. А с запада на приветствия огненных рук огнеплещет германский пожар. От красного тела России, от красного тела Германии огненными руками отделились колонны пролетариата. И у Данцига —

пальцами армий,
пальцами танков,
пальцами Фоккеров
одна другой руку жала.
И под пальцами
было чуть-чуть мóкро
там,
где пилсудчина коридорами лежала.—

Влились. Сплошное огневище подо мной. Сжалось. Напряглось. Разорвалось звездой.

Надрывающиеся вопли:
«Караул!
Стой!»

---

[1] «Берлин. Долой!» *(нем.)*.

А это
разливается пятиконечной звездой
в пять частей оторопевшего света.
Вот
один звездозуб,
острый,
узкий,
врезывается в край земли французской.
Чернота старается.
Потушить бы,
поймать.
А у самих
в тылу
разгорается кайма.
Никогда эффектнее не видал ничего я!
Кайму протягивает острие лучевое.
Не поможет!
Бросьте назад дуть.
Красное и красное — слилось как ртуть.
Сквозь Францию
дальше,
безудержный,
грозный,
вгрызывается зубец краснозвездный.
Ору, восторженный:
— Не тщитесь!
Ныне
революции не залить.
Склонись перед нею!—
А луч
взбирается на скат Апенниньий.
А луч
рассвечивается по Пиренею.

Сметая норвежских границ следы,
по северу
рвется красная буря.
Здесь
луч второй прожигает льды,
до полюса снега́ опурпуря.
По́езда чище
лился Сибирью третий лучище.
Красный поток его
уже почти докатился до Токио.

Четвертого лучища жар
вонзил в юго-восток зубец свой длинный,
и уже
какой-то
поджаренный раджа
лучом
с Гималаев
сбит в долины.
Будто проверяя
— хорошо остра ли я,—
в Австралию звезда.
Загорелась Австралия.
Правее — пятый.
Атакует такой же.
Играет красным у негров по коже.
Прошел по Сахаре,
по желтому клину,
сиянье
до южного полюса кинул.

Размахивая громадными руками, то зажигая, то туша глаза, сетью уха вылавливая каждое слово, я весь изработался в неодолимой воле — победить. Я облаками маскировал наши колонны. Маяками глаз указывал места легчайшего штурма. Путаю вражьи радио. Все ливни, все лавы, все молнии мира — охапкою собираю, обрушиваю на черные головы врагов. Мы победим. Мы не хотим, мы не можем не победить. Только Америка осталась. Перегибаюсь. Сею тревогу.

Дрожит Америка:
революции демон
вступает в Атлантическое лоно...
Впрочем,
сейчас это не моя тема,
это уже описано
в интереснейшей поэме «Сто пятьдесят миллионов».

Кто прочтет ее, узнает, как победили мы. Отсылаю интересующихся к этой истории. А сам

замер:
смотрю,

любуюсь,
и я
вижу:
вся земная масса,
сплошь подмятая под краснозвездные острия,
красная,
сияет вторым Марсом.
Видением лет пролетевших взволнован,
устав
восторгаться в победном раже,
я
голову
в небо заправил снова
и снова
стал
у веков на страже.
Я видел революции,
видел войны.
Мне
и голодный надоел человек.
Хоть раз бы увидеть,
что вот,
спокойный,
живет человек меж веселий и нег.
Радуюсь просторам,
радуюсь тишине,
радуюсь облачным нивам.
Рот
простор разжиженный пьет.
И только
иногда
вычесываю лениво
в волоса запутавшееся
звездное репьё.
Словно
стекло
время,—
текло, не текло оно,
не знаю,—
вероятно, текло.
И, наконец, через какое-то время —
тучи в клóчики,
в клочочки-клочишки.

Исчезло все
до последнего
бледного
облачишка.

Смотрю на землю, восторженно поулыбливаясь.

На всём
вокруг
ни черного очень,
ни красного,
но и ни белого не было.
Земшар
сияньем сплошным раззолочен,
и небо
над шаром
раззолотоне́бело.
Где раньше
река
водищу гоняла,
лила наводнения,
буйна,
гола́,—
теперь
геометрия строгих каналов
мрамору в русла спокойно легла.
Где пыль
вздымалась,
ветрами ду́ема,
Сахары охрились, жаром леня́,—
росли
из земного
из каждого дюйма,
строения и зеленя́.
Глаз —
восторженный над феерией рей!
Реальнейшая
подо мною
вон она —
жизнь,
мечтаемая от дней Фурье,
Роберта Оуэна и Сен-Симона.

Маяковский!
Опять человеком будь!

Силой мысли,
нервов,
жил
я,
как стоверстную подзорную трубу,
тихо шеищу сложил.

Небылицей покажется кое-кому.
А я,
в середине XXI века,
на Земле,
среди Федерации Коммун —
гражданин ЗЕФЕКА.

Самое интересное, конечно, начинается отсюда. Едва ли кто-нибудь из вас точно знает события конца XXI века. А я знаю. Именно это и описывается в моей третьей части.

1922

ПРО ЭТО

ПРО ЧТО — ПРО ЭТО?

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
прикажет:
— Скреби! —
И калека
с бумаги
срывается в клекоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
позвони́тся с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба,

и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —
Эта тема придет,
велит:
— Красота! —
И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
— *А* —
недоступней Казбека.
Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
вовек не износится,
только скажет:
— Отныне гляди на меня! —
И глядишь на нее,
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знаменя.
Это хитрая тема!
Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь
— посмели забыть ее! —
затрясет;
посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявилась гневная,
приказала:
— Подать
дней удила! —
Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.
Эта тема пришла,
остальные оттерла
и одна
безраздельно стала близка.

Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!
                От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись — велела — строчками лбов.
Имя
      этой
            теме:
. . . . . . !

I

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Стоял — вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невою.

Маяковский, «Человек».
(13 лет работы, т. 2, стр. 77)

О балладе и о балладах

Немолод очень лад баллад,
но если слова болят
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад.
Лубянский проезд.
                Водопьяный.
                                Вид
вот.
      Вот
            фон.
В постели она.
                Она лежит.
Он.
      На столе телефон.
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то,
                что «он» — это я,
и то, что «она» —
                моя.

При чем тюрьма?
Рождество.
Кутерьма.
Без решеток окошки домика!
Это вас не касается.
Говорю — тюрьма.
Стол.
На столе соломинка.

По кабелю пущен номер

Тронул еле — волдырь на теле.
Трубку из рук вон.
Из фабричной марки —
две стрелки яркие
омолниили телефон.
Соседняя комната.
Из соседней
сонно:
— Когда это?
Откуда это живой поросенок? —
Звонок от ожогов уже визжит,
добела раскален аппарат.
Больна она!
Она лежит!
Беги!
Скорей!
Пора!
Мясом дымясь, сжимаю жжение.
Моментально молния телом забегала.
Стиснул миллион вольт напряжения.
Ткнулся губой в телефонное пекло.
Дыры
сверля
в доме,
взмыв
Мясницкую
пашней,
рвя
кабель,
номер
пулей
летел
барышне.
Смотрел осовело барышнин глаз —
под праздник работай за двух.

Красная лампа опять зажглась.
Позвонила!
Огонь потух.
И вдруг
как по лампам пошло́ куролесить,
вся сеть телефонная рвется на нити.
— 67—10!
Соедините! —
В проулок!
Скорей!
Водопьяному в тишь!
Ух!
А то с электричеством станется —
под рождество
на воздух взлетишь
со всей
со своей
телефонной
станцией.
Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил —
про это лишь —
сто лет! —
говаривал детям дед.
— Было — суббота...
под воскресенье...
Окорочок...
Хочу, чтоб дешево...
Как вдарит кто-то!..
Землетрясенье...
Ноге горячо...
Ходун — подошва!.. —
Не верилось детям,
чтоб так-то
да там-то.
Землетрясенье?
Зимой?
У почтамта?!

Телефон бросается на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький
шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков громя тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.

Это визжащее,
звенящее это
пальнуло в стены,
старалось взорвать их.
Звоночинки
тыщей
от стен
рикошетом
под стулья закатывались
и под кровати.
Об пол с потолка звонóчище хлопал.
И снова,
звенящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись óб пол,
и сыпало вниз дребезгою звоночной.
Стекло за стеклом,
вьюшку за вьюшкой
тянуло
звенеть телефонному в тон.
Тряся
ручоночкой
дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.

Секундантша

От сна
чуть видно —
точка глаз
иголит щеки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идет,
кряхтя и харкая.
Моченым яблоком она.
Морщинят мысли лоб ее.
— Кого?
Владим Владимыч?!
А! —
Пошла, туфлёю шлепая.
Идет.
Отмеряет шаги секундантом.
Шаги отдаляются...
Слышатся еле...
Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Просветление мира

Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.
Как были,
рот разинув,
сюда они
смотрят на рождество из рождеств.
Им видима жизнь
от дрязг и до дрязг.
Дом их —
единая будняя тина.
Будто в себя,
в меня смотрясь,
ждали
смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колес и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —
за Москвой поля примолкли.
Моря —
за морями горы стройны.
Вселенная
вся
как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрямился
ровно-ровно.
Тесьма.
Натянут бечевкой тугой.
Край один —
я в моей комнате,
ты в своей комнате — край другой.
А между —
такая,
какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,
через вселенную
легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
Прозрачнейшей ясностью пытка.

В Мясницкой
деталью искуснейшей выточки
кабель
тонюсенький —
ну, просто нитка!
И всё
вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль

Раз!
Трубку наводят.
Надежду
брось.
Два!
Как раз
остановилась,
не дрогнув,
между
моих
мольбой обволокнутых глаз.
Хочется крикнуть медлительной бабе:
— Чего задаетесь?
Стоите Дантесом.
Скорей,
скорей просверлите сквозь кабель
пулей
любого яда и веса.—
Страшнее пуль —
оттуда
сюда вот,
кухаркой оброненное между зевот,
проглоченным кроликом в брюхе удава
по кабелю,
вижу,
слово ползет.
Страшнее слов —
из древнейшей древности,
где самку клыком добывали люди еще,
ползло
из шнура —
скребущейся ревности
времен троглодитских тогдашнее чудище.
А может быть...
Наверное, может!
Никто в телефон не лез и не лезет,
нет никакой троглодичьей рожи.

Сам в телефоне.
Зеркалюсь в железе.
Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!
Пойди — эту правильность с Эрфуртской
сверь!
Сквозь первое горе
бессмысленный,
ярый,
мозг поборов,
проскребается зверь.

Что может сделаться с человеком!

Красивый вид.
Товарищи!
Взвесьте!
В Париж гастролировать едущий летом,
поэт,
почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтём из штиблета.
Вчера человек —
единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
Шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж!?
В телефоны бабахать!?
К своим пошел!
В моря ледовитые!

Размедвеженье

Медведем,
когда он смертельно сердится,
на телефон
грудь
на врага тяну.
А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет.
Ручьища красной меди.
Рычанье и кровь.
Лакай, темнота!
Не знаю,
плачут ли,
нет медведи,
но если плачут,
то именно так.

То именно так:
без сочувственной фальши
скулят,
заливаясь ущельной длиной.
И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,
задравши морду,
как те,
повыть,
извыться
и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.
Обвал.
Беспокоит.
Винтовки-шишки
не грохнули б враз.
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.

Протекающая комната

Кровать.
Железки.
Барахло одеяло.
Лежит в железках.
Тихо.
Вяло.
Трепет пришел.
Пошел по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.
Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?
Почему много?
Сам наплакал.
Плакса.
Слякоть.
Неправда —
столько нельзя наплакать.
Чертова ванна!
Вода за диваном.
Под столом,
за шкафом вода.

С дивана,
сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.
Камин...
Окурок...
Сам кинул.
Пойти потушить.
Петушится.
Страх.
Куда?
К какому такому камину?
Верста.
За верстою берег в кострах.
Размыло все,
даже запах капустный
с кухни
всегдашний,
приторно сладкий.
Река.
Вдали берега.
Как пусто!
Как ветер воет вдогонку с Ладоги!
Река.
Большая река.
Холодина.
Рябит река.
Я в середине.
Белым медведем
взлез на льдину,
плыву на своей подушке-льдине.
Бегут берега,
за видом вид.
Подо мной подушки лед.
С Ладоги дует.
Вода бежит.
Летит подушка-плот.
Плыву.
Лихорадюсь на льдине-подушке.
Одно ощущенье водой не вымыто:
я должен
не то под кроватные дужки,
не то
под мостом проплыть под каким-то.

Были вот так же:
ветер да я.
Эта река!..
Не эта.
Иная.
Нет, не иная!
Было —
стоял.
Было — блестело.
Теперь вспоминаю.
Мысль растет.
Не справлюсь я с нею.
Назад!
Вода не выпустит плот.
Видней и видней...
Ясней и яснее...
Теперь неизбежно...
Он будет!
Он вот!!!

Человек из-за 7-ми лет

Волны устои стальные моют.
Недвижный,
страшный,
упершись в бока
столицы,
в отчаянье созданной мною,
стоит
на своих стоэтажных быках.
Небо воздушными скрепами вышил.
Из вод феерией стали восстал.
Глаза подымаю выше,
выше...
Вон!
Вон —
опершись о перила мостá...
Прости, Нева!
Не прощает,
гонит.
Сжалься!
Не сжалился бешеный бег.
Он!
Он —
у небес в воспаленном фоне,
прикрученный мною, стоит человек.

Стоит.
Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
Напрасные мнешь!
Я слышу
мой,
мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос —
он молит,
он просится:
— Владимир!
Остановись!
Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
броситься?
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко?
Сам
в ихний быт,
в их семейное счастье
намéреваешься пролезть петушком?!
Не думай! —
Рука наклоняется вниз его.
Грозится
сухой
в подмостную кручу.
— Не думай бежать!
Это я
вызвал.
Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!

Там,
в городе,
праздник.
Я слышу гром его.
Так что ж!
Скажи, чтоб явились они.
Постановленье неси исполкомово.
Му́ку мою конфискуй,
отмени.
Пока
по этой
по Невской
по глуби
спаситель-любовь
не придет ко мне,
скитайся ж и ты,
и тебя не полюбят.
Греби!
Тони меж домовьих камней! —

Спасите!

Стой, подушка!
Напрасное тщенье.
Лапой гребу —
плохое весло.
Мост сжимается.
Невским течением
меня несло,
несло и несло.
Уже я далёко.
Я, может быть, за́ день.
За де́нь
от тени моей с моста.
Но гром его голоса гонится сзади.
В погоне угроз паруса распластал.
— Забыть задумал невский блеск?!
Ее заменишь?!
Некем!
По гроб запомни переплеск,
плескавший в «Человеке».—
Начал кричать.
Разве это осилите?!
Буря басит —
не осилить вовек.
Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!

Там
на мосту
на Неве
человек!

II

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Фантастическая реальность

Бегут берега —
за видом вид.
Подо мной —
подушка-лед.
Ветром ладожским гребень завит.
Летит
льдышка-плот.
Спасите! — сигналю ракетой слов.
Падаю, качкой добитый.
Речка кончилась —
море росло.
Океан —
большой до обиды.
Спасите!
Спасите!..
Сто раз подряд
реву батареей пушечной.
Внизу
подо мной
растет квадрат,
остров растет подушечный.
Замирает, замирает,
замирает гул.
Глуше, глуше, глуше...
Никаких морей.
Я —
на снегу.
Кругом —
вёрсты суши.
Суша — слово.
Снегами мокра.
Подкинут метельной банде я.
Что за земля?
Какой это край?
Грен-
лап-
люб-ландия?

Воль были

Из облака вызрела лунная дынка,
стену́ постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.
Бегу.
Ходынка
за мной.
Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
К Садовой аж выкинул «у»!
Оглоблей
или машиной,
но только
мордой
аршин в снегу.
Пулей слова матершины.
«От нэпа ослеп?!
Для чего глаза впря́жены?!
Эй, ты!
Мать твою разнэп!
Ряженый!»
Ах!
Да ведь
я медведь.
Недоразуменье!
Надо —
прохожим,
что я не медведь,
только вышел похожим.

Спаситель

Вон
от заставы
идет человечек.
За шагом шаг вырастает короткий.
Луна
голову вправила в венчик.
Я уговорю,
чтоб сейчас же,
чтоб в лодке.
Это — спаситель!
Вид Иисуса.
Спокойный и добрый,
венчанный в луне.

Он ближе.
Лицо молодое безусо.
Совсем не Исус.
Нежней.
Юней.
Он ближе стал,
он стал комсомольцем.
Без шапки и шубы.
Обмотки и френч.
То сложит руки,
будто молится.
То машет,
будто на митинге речь.
Вата снег.
Мальчишка шел по вате.
Вата в золоте —
чего уж пошловатей?!
Но такая грусть,
что стой
и грустью ранься!
Расплывайся в процыганенном романсе.

Романс

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел в Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя, разламывал суставы.
Для чего?
Зачем?
Кому?
Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
— Прощайте...
Кончаю...
Прошу не винить...

Ничего не поделаешь

До чего ж
на меня похож!
Ужас.
Но надо ж!
Дернулся к луже.
Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!
Тому еще хуже —
семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напялил еле —
другого калибра.
Никак не намылишься —
зубы стучат.
Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину...
бритвой луча...
Почти,
почти такой же самый.
Бегу.
Мозги шевелят адресами.
Во-первых,
на Пресню,
туда,
по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.
За мной
всероссийские,
теряясь точкой,
сын за сыном,
дочка за дочкой.

Всехные родители

— Володя!
На рождество!
Вот радость!
Радость-то во!.. —
Прихожая тьма.
Электричество комната.
Сразу —
наискось лица родни.
— Володя!
Господи!
Что это?
В чем это?
Ты в красном весь.
Покажи воротник!

— Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье —
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тетя!
Сестры!
Мама!
Тушите елку!
Заприте дом!
Я вас поведу...
вы пойдете...
Мы прямо...
сейчас же...
все
возьмем и пойдем.
Не бойтесь —
это совсем недалёко —
600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.
Мы вылезем прямо на мост.
— Володя,
родной,
успокойся! —
Но я им
на этот семейственный писк голосков:
— Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?

Путешествие с мамой

Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьею засеяна.
Смотрите,
мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.

Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас,
мама,
несемся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж,
Америка,
Бруклинский мост,
Сахара,
и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.
Сомнете периной
и волю
и камень.
Коммуна —
и то завернется комом.
Столетия
жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.
Вы
под его огнепёрым крылом
расставились,
разложили посудины.
Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступеней последок.
— Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!

Пресненские миражи

Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.

Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила ска́лы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и го́ло.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроясь.
По стеклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждет —
помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.
Стрезвел и дернул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
— Медведь,
медведь,
медведь,
медв-е-е-е-е... —

Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми

Потом,
извертясь вопросительным знаком,
хозяин полглаза просунул:
— Однако!
Маяковский!
Хорош медведь! —
Пошел хозяин любезностями медоветь:
— Пожалуйста!
Прошу-с.
Ничего —
я боком.
Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.

Жена — Фекла Двидна.
Дочка,
точь-в-точь
в меня, видно —
семнадцать с половиной годочков.
А это...
Вы, кажется, знакомы?! —
Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнеры.
Усища —
к стеклам ламповым пыльники —
из-под столов пошли собутыльники.
Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли?
Идут и идут процессией мирной.
Блестят из бород паутиной квартирной.
Все так и стоит столетья,
как было.
Не бьют —
и не тронулась быта кобыла.
Лишь вместо хранителей ду́хов и фей
ангел-хранитель —
жилец в галифе.
Но самое страшное:
по росту,
по коже
одеждой,
сама походка моя! —
в одном
узнал —
близнецами похожи —
себя самого —
сам
я.
С матрацев,
вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух
веночки
с обоев
венчают голову сами собою.

Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,
приподняв
венок тернистый,
любезно кланяется.
Маркс,
впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были
сидя сняты
на корточках,
радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,
осклабились враз;
кто басом фразу,
кто в дискант
дьячком.
— С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праз-
нич-
ком! —
Хозяин
то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.
— Да я не знал!..
Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
Дом...
Со своими...

Бессмысленные просьбы

Мои свои?!
Д-а-а-а —
это особы.
Их ведьма разве сыщет на венике!
Мои свои
с Енисея
да с Оби

идут сейчас,
                    следят четвереньки.
Какой мой дом?!
Сейчас с него.
Подушкой-льдом
плыл Невой —
мой дом
меж дамб
стал льдом,
и там...
Я брал слова
                    то самые вкрадчивые,
то страшно рыча,
                    то вызвоня лирово.
От выгод —
                    на вечную славу сворачивал,
молил,
          грозил,
                    просил,
                              агитировал.
— Ведь это для всех...
                              для самих...
                                        для вас же...
Ну, скажем, «Мистерия» —
                                        ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
                              Ведь каждому важен...
Не только себе ж —
                              ведь не личная блажь...
Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...
Но можно стихи...
                              Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь —
                                        и шуба!..
Потом у камина...
                              там кофе...
                                        курят...
Дело пустяшно:
                         ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
                              пока не поздно...
Похлопать может...
                              Сказать —
                                        надейся!..

Но чтоб теперь же...
чтоб это серьезно...—
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по́ столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
— Поооостой...
поооостой...
Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...
Я знаю...
Это на углу Кузнецкого мо́ста.
Пустите!
Ну-кося! —
По углам —
зуд:
— Наззз-ю-зззюкался!
Будет ныть!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за 66!
Теорию к лешему!
Нэп —
практика.
Налей,
нарежь ему.
Футурист,
налягте-ка!—
Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.
Шли
из артезианских прорв
меж рюмкой
слова поэтических споров.
В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.
На вещи насела столетняя пыль.

А тот стоит —
в перила вбит.
Он ждет,
он верит:
скоро!
Я снова лбом,
я снова в быт
вбиваюсь слов напором.
Опять
атакую и вкривь и вкось.
Но странно:
слова проходят насквозь.

Необычайное

Стихает бас в комариные трельки.
Подбитые воздухом, стихли тарелки.
Обои,
стены
блёкли...
блёкли...
Тонули в серых тонах офортовых.
Со стенки
на город разросшийся
Бёклин
Москвой расставил «Остров мертвых».
Давным-давно.
Подавно —
теперь.
И нету проще!
Вон
в лодке,
скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
не то поля —
их шорох тишью стерт весь.
А за морями —
тополя
возносят в небо мертвость.
Что ж —
ступлю!
И сразу
тополи

сорвались с мест,
пошли,
затопали.
Тополи стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
милиционерами.
Расчетверившись,
белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.

Деваться некуда

Так с топором влезают в сон,
обметят спящелобых —
и сразу
исчезает все,
и видишь только обух.
Так барабаны улиц
в сон
войдут,
и сразу вспомнится,
что вот тоска
и угол вон,
за ним
она —
виновница.
Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
на карты окон легла.
Очко стекла —
и я проиграю.
Арап —
миражей шулер —
по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше —
вырасти б,
стихом в окно влететь.
Нет,
никни к стéнной сырости.
И стих
и дни не те.

Морозят камни.
Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
убив,
Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостьё идет по лестнице...
Ступеньки бросил —
стенкою.
Стараюсь в стенку вплесниться
и слышу —
струны тенькают.
Быть может, села
вот так
невзначай она.
Лишь для гостей,
для широких масс.
А пальцы
сами
в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.

Друзья

А вóроны гости?!
Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орлó
ко мне доплеталось пьяное дóпьяна.
Полоса
щели.
Голосá
еле:
«Аннушка —
ну и румянушка!»
Пироги...
Печка...
Шубу...
Помогает...
С плечика...

Сглушило слова уанстепным темпом,
и снова слова сквозь темп уанстепа:
«Что это вы так развеселились?
Разве?!»
                Сли́лись...
Опять полоса осветила фразу.
Слова непонятны —
                                особенно сразу.
Слова так
                (не то чтоб со зла):

«Один тут сломал ногу,
так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу».
Да,
    их голоса́.
                Знакомые выкрики.
Застыл в узнаванье,
                                расплющился, нем,
фразы крою́ по выкриков выкройке.
Да —
    это они —
                они обо мне.
Шелест.
                Листают, наверное, ноты.
«Ногу, говорите?
                Вот смешно-то!»
И снова
                в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щек они.
И снова
                пьяное:
                                «Ну и интересно!
Так, говорите, пополам и треснул?»
«Должен огорчить вас, как ни грустно,
не треснул, говорят,
                                а только хрустнул».
И снова
                хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.
И снова
                стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б не ты

Стою у стенки.
Я не я.
Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!
Я день,
я год обыденщине пре́дал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
решись
с этажей
в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.
Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
лишь шагами ночными —
строчишь,
и становятся души строчными,
и любишь стихом,
а в прозе немею.
Ну вот, не могу сказать,
не умею.
Но где, любимая,
где, моя милая,
где
— в песне! —
любви моей изменил я?
Здесь
каждый звук,
чтоб признаться,
чтоб кликнуть.
А только из песни — ни слова не выкинуть.
Вбегу на трель,
на гаммы.
В упор глазами
в цель!
Гордясь двумя ногами,
Ни с места! — крикну.—
Цел! —

Скажу:
— Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами громя обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.
Приди,
разотзовись на стих.
Я, всех оббегав,— тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!
Бежим к мосту! —
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сборю себя,
пойду туда.
Секунда —
и шагну.

Шагание стиха

Последняя самая эта секунда,
секунда эта
стала началом,
началом
невероятного гуда.
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанью
догадываюсь —
оно над Любанью.
По холоду,
по хлопанью дверью
догадываюсь —
оно над Тверью.
По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское зáлил.
На Николаевском теперь
на вокзале.

Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздымаясь в невской пене.
Ужас дошел.
В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,
разгуживаясь все и разгуживаясь,
взорвался,
пригвоздил:
— Стой!
Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:
Нет!
Пришел повелеть:
Оставь!
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку —
тебе
одному
удалось бы?!
Жду,
чтоб землей обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на смéх,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачýсь,
за всех расплáчусь.

Ротонда Стены в тустепе ломались
на́ три,
на четверть тона ломались,
на сто́...
Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу —
стотысячный случай —
на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
всё, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
— Русский! —
Женщины —
мяса и тряпок вяза́нки —
смеются,
стащить стараются
за́ ноги:
«Не пойдем.
Дудки!
Мы — проститутки».
Быть Сены полосе б Невой!
Грядущих лет брызго́й
хожу по мгле по Се́новой
всей нынчести изгой.
Саже́нный,
обсмеянный,
са́женный,
битый,
в бульварах
ору через каски военщины:
— Под красное знамя!
Шагайте!
По быту!

Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце женщины! —
Сегодня
гнали
в особенном раже.
Ну и жара же!

Полу-смерть

Надо
немного обветрить лоб.
Пойду,
пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело
с панели
уносят метельщики.
Рассвет.
Подымаюсь сенскою сенью,
синематографской серой тенью.
Вот —
гимназистом смотрел их
с парты —
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
к странам Востока.

Случайная станция

С разлету рванулся —
и стал,
и на́ мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.
Ощупал —
скользко,
луковка точно.
Большое очень.
Испозолочено.
Под луковкой
колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
видятся еле.

Весело.
Елками зарождествели.
В ущелья кремлёвы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,
бросала Тереком
праздник
Москва.
Вздымается волос.
Лягушкою тужусь.
Боюсь —
оступлюсь на одну только пядь,
и этот
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.

Повторение пройденного

Руки крестом,
крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.
Подо мною
льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —
руками картонными.
Заметят.
Отсюда виден весь я.
Смотрите —
Кавказ кишит Пинкертонами.
Заметили.
Всем сообщили сигналом.
Любимых,
друзей
человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.

Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетинясь,
щерясь
еще и еще там...
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,
руками,
ветром,
нещадно,
без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.
Пассажи —
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развевая паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеща!
И так я калека в любовном боленье.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.
А снизу:
— Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не празднуй труса́! —

Последняя смерть

Хлеще ливня,
громa бодрей,
бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевесть дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

То, что осталось

Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы клочья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
по-прежнему
лирикой звéздится.
Глядит
в удивленье небесная звездь —
затрубадурúла Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!
С борта
звездолетом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум.

Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальней!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ......

Прошу вас, товарищ химик,
заполните сами!

Пристает ковчег.
Сюда лучами!
Пристань.
Эй!
Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса — гора Килиманджаро.
Только с карты африканской — Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.
Мир
хотел бы
в этой груде го́ря
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.

Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми пóрами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
все.
Все,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
все,
что мелочи́нным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
из-за угла
ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.

Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный,
до гроба добраться чтоб.
Где б ни умер,
умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю —
достоин лежать я
с легшими под красным флагом.
Но за что ни лечь —
смерть есть смерть.
Страшно — не любить,
ужас — не сметь.
За всех — пуля,
за всех — нож.
А мне когда?
А мне-то что ж?
В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.
А то, что другим?!
Для меня б этого!
Этого нет.
Видите —
нет его!
Верить бы в загробь!
Легко прогулку пробную.
Стоит
только руку протянуть —
пуля
мигом
в жизнь загробную
начертит гремящий путь.
Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.

Вера Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется —
вот только с этой рифмой
развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь.
Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
«Вся земля»,—
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?
— Маяковский вот...
Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив.—
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
— Не листай страницы!
Воскреси!

Надежда Сердце мне вложи!
Кровищу —
до последних жил.
В череп мысль вдолби!

Я свое, земное, не дожи́л,
на земле
свое не долюбил.
Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите, буду делать даром —
чистить,
мыть,
стеречь,
мотаться,
месть.
Я могу служить у вас
хотя б швейцаром.
Швейцары у вас есть?
Был я весел —
толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
обнажают зубы если,
только чтоб хватить,
чтоб
лязгнуть.
Мало ль что бывает —
тяжесть
или горе...
Позовите!
Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,
аллегорий
буду развлекать,
стихами балагуря.
Я любил...
Не стоит в старом рыться.
Больно?
Пусть...
Живешь и болью дорожась.
Я зверье еще люблю —
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.

Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь,—
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!

Любовь

Может,
может быть,
когда-нибудь,
дорожкой зоологических аллей
и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.

Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец,
по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере,— мать.

1923

РАБОЧИМ КУРСКА, ДОБЫВШИМ ПЕРВУЮ РУДУ,

ВРЕМЕННЫЙ ПАМЯТНИК РАБОТЫ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Было:
социализм —
восторженное слово!
С флагом,
с песней
становились слева,
и сама
на головы
спускалась слава.
Сквозь огонь прошли,
сквозь пушечные дула.
Вместо гор восторга —
горе дола.
Стало:
коммунизм —
обычнейшее дело.
Нынче
словом
не пофанфароните —
шею крючь
да спину гни.
На вершочном
незаметном фронте
завоевываются дни.
Я о тех,
кто не слыхал
про греков
в драках,

кто
не читал
про Муциев Сцевóл,
кто не знает,
чем замечательны Гракхи,—
кто просто работает —
грядущего вол.

Было. Мы митинговали.
Словопадов струи,
пузыри идеи —
мир сразить во сколько.
А на деле —
обломались
ручки у кастрюли,
бреемся
стеклом-осколком.
А на деле —
у подметок дырки,—
без гвоздя
слюной
клейть — впустую!
Дырку
не посáдите в Бутырки,
а однако
дырки
протестуют.
«Кто был ничем, тот станет всем!»
Станет.
А на деле —
как феллахи —
неизвестно чем
распахиваем земь.
Шторы
пиджаками
нá плечи надели.
Жабой
сжало грудь
блокады иго.
Изнутри
разрух стоградусовый жар.
Машиньё
сдыхало,
рычажком подрыгав.

В склепах-фабриках
железо
жрала ржа.
Непроезженные
выли степи,
и Урал
орал
непроходимолесый.
Без железа
коммунизм
не стерпим.
Где железо?
Рельсы где?
Давайте рельсы!
Дым
не выдоит
трубищ фабричных вымя.
Отповедь
гудковая
крута:
«Зря
чего
ворочать маховыми?
Где железо,
отвечайте!
Где руда?»
Электризовало
массы волю.
Массы мозг
изобретательством мотало.
Тело масс
слоняло
по горе,
по полю
голодом
и жаждою металла.
Крик,
вгоняющий
в дрожание
и в ёжь,

уши
землянью
резал:
«Даешь
железо!»
Возникал
и глох призыв повторный —
только шепот
шел
профессоров-служак:
де под Курском
стрелки
лезут в стороны,
как Чужак.
Мне
фабрика слов
в управленье дана.
Я
не геолог,
но я утверждаю,
что до нас
было
под Курском
гóло.
Обыкновеннейшие
почва и подпочва.
Шар земной,
а в нем —
вода
и всяческий пустяк.
Только лавы
изредка
сверлили ночь его.
Времена спустя
на восстанье наше,
на желанье,
на призыв
двинулись
земли низы.
От времен,
когда
лавины
рыже разжижéли —

затухавших газов перегар,—
от времен,
когда вода
входила еле
в первые
базальтовые берега,—
от времен,
когда
прабабки носорожьи,
ящерьи прапрадеды
и крокодильи,
ни на что воображаемое не похожие,
льдами-броненосцами катили,—
от времен,
которые
слоили папоротник,
углем
каменным
застыв,
о которых
рапорта
не дал
и первый таборник,—
залегли
железные пласты.
Будущих времен
машинный гул
в каменном
мешке
лежит —
и ни гугу.

Даешь!
До мешков,
до запрятанных в сонные,
до сердца
земного
лозунг долез.
Даешь!
Грозою воль потрясенные,
трещат
казематы
над жилой желез.

Свернув
горы навалившийся груз,
ступни пустынь,
наступивших на жилы,
железо
бежало
в извилины русл,
железо
текло
в океанские илы.
Бороло
каких-то течений сливания,
какие-то горы брало в разбеге,
под Крымом
ползло,
разогнав с Пенсильвании,
на Мурман
взбиралось,
сорвавшись с Норвегии.
Бежало от немцев,
боялось французов,
глаза
косивших
на лакомый кус,
пока доплелось,
задыхаясь от груза,
запряталось
в сердце России
под Курск.
Голоса
подземные
выкачивала ветра помпа.
Слушай, человек,
рулетка,
компас:
не для мопсов-гаубиц —
для мира
разыщи,
узнай,
найди и вырой!
Отойди
еще
на пяди малые,—

отойди
и голову нагни.
Глаз искателей
тянуло аномалией,
стрелки компасов
крутил магнит.

Есть. Вы,
оравшие:
«В лоск залускали,
рассорил
Россию
подсолнух!» —
посмотрите
в работе мускулы
полуголых,
голодных,
сонных.
В пустырях
ветров и снега бред,
под ногою
грязь и лужи вместе,
непроходимые,
как Альфред
из «Известий».
Прославлял
романтик
Дон-Кихота,—
с ветром воевал
и с ду́хами иными.
Просто
мельников хвалить
кому охота —
с настоящей борются,
не с ветряными.
Слушайте,
пролетарские дочки:
пришедший
в землю врыться,
в чертежах
размечавший точки,
он —
сегодняшний рыцарь!

Он так же мечтает,
он так же любит.
Руда
залегла, томясь.
Красавцем
в кудрявом
дымном клубе —
за ней
сквозь камень масс!
Стальной бурав
о землю ломался.
Сиди,
оттачивай,
правь —
и снова
земли атакуется масса,
и снова
иззубрен бурав.
И снова —
ухнем!
И снова —
ура! —
в расселинах каменных масс.
Стальной
сменял
алмазный бурав,
и снова
ломался алмаз.
И когда
казалось —
правь надеждам тризну,
из-под Курска
прямо в нас
настоящею
земной любовью брызнул
будущего
приоткрытый глаз.
Пусть
разводят
скептики
унынье сычье:
нынче, мол, не взять
и далеко лежит.

Если б
коммунизму
жить
осталось
только нынче,
мы
вообще бы
перестали жить.

Бужек. Лучше всяких «Лефов»
насмерть ранив
русского
ленивый вкус,
музыкой
в мильон подъемных кранов
цокает,
защелкивает Курск.
И не тщась
взлететь
на буровые вышки,
в иллюстрацию
зоо́логовых слов,
приготовишкам
соловьишки
демонстрируют
свое
унылейшее ремесло.
Где бульвар
вздыхал
весною томной,
не таких
любовей
лития,—
огнегубые
вздыхают топкой домны,
рассыпаясь
звездами литья.
Речка,
где и уткам
было узко,
где и по колено
не было ногам бы,

шла
плотвою флотов
речка Ту́скарь:
курс на Курск —
эСэСэСэРский Гамбург.
Всякого Нью-Йорка ньюйоркистей,
раздинамливая
электрический раскат,
маяки
просверливающей зоркости
в девяти морях
слепят
глаза эскадр.
И при каждой топке,
каждом кране,
наступивши
молниям на хвост,
выверенные куряне
направляли
весь
с цепей сорвавшийся хао́с.
Четкие, как выстрел,
у машин
эльвисты.
В небесах,
где месяц,
раб писателин,
искры труб
черпал совком,
с башенных волчков
— куда тут Татлин!—
отдавал
сиренами
приказ
завком.
«Слушай!
д 2!
3 и!
Пятый ряд тяжелой индустрии!
7 ф!
Доки лодок
и шестая верфь!»
Заревет сирена
и замрет, тонка,

и опять
засвистывает
электричество и пар.
«Слушай!
19-й ангар!»
Раззевают
слуховые окна
крыши-норы.
Сразу
в сто
товарно-пассажирских линий
отправляются
с иголочки
планёры,
рассияв
по солнцу
алюминий.
Раззевают
главный вход
заводы.
Лентами
авто и паровозы —
в главный.
С верфей
с верстовых
соскальзывают в воды
корабли
надводных
и подводных плаваний.
И уже
по тундрам,
обгоняя ветер резкий,
параллельными путями
на пари
два локомотива —
скорый
и курьерский —
в свитрах,
в кепках
запускают лопари.
В деревнях,
с аэропланов
озирая тыщеполье,

стадом
в 1000 —
не много и не мало —
пастушонок
лет семи,
не более,
управляет
световым сигналом.
Что перо? —
гусиные обноски! —
только зря
бумагу рвут, —
сто статей
напишет
обо мне
Сосновский,
каждый день
меняя
«Ундервуд».
Я считаю,
обходя
бульварные аллеи,
скольких
наследили
юбилеи?
Пушкин,
Достоевский,
Гоголь,
Алексей Толстой
в бороде у Льва.
Не завидую —
у нас
бульваров много,
каждому
найдется
бульвар.
Может,
будет
Лазарев
у липы в лепете.
Обозначат
в бронзе
чином чин.

Ну, а остальные?
Как их сле́пите?
Тысяч тридцать
курских
женщин и мужчин.

Вам
не скрестишь ручки,
не напялишь тогу,
не поставишь
нянькам на затор...
Ну и слава богу!
Но зато —
на бо́роды дымов,
на тело гулов
не покусится
никакой Меркулов.
Трем Андреевым,
всему академическому скопу,
копошащемуся
у писателей в усах,
никогда
не вылепить
ваш красный корпус,
заводские корпуса.
Вас
не будут звать:
«Железо бросьте,
выверните
на спину
глаза,
возвращайтесь
вспять
к слоновой кости,
к мамонту,
к Островскому
назад».
В ваш
столетний юбилей
не прольют
Сакулины
речей елей.
Ты работал,
ты уснул
и спи —

только город ты,
а не Шекспир.
Собинов,
перезвените званьем Южина.
Лезьте
корпусом
из монографий и садов.
Курскам
ваших мраморов
не нужно.
Но зато —
на бегущий памятник
курьерский
рукотворный
не присядут
гадить
во́роны.
Вас
у опер
и у оперетт в антракте,
в юбилее
не расхвалит
языкастый лектор.
Речь
об вас
разгромыхает трактор —
самый убедительный электролектор.
Гиз
не тиснет
монографии о вас.
Но зато —
растает дыма клуб,
и опять
фамилий ваших вязь
вписывают
миллионы труб.
Двери в славу —
двери узкие,
но как бы ни были они узки́,
навсегда войдете
вы,
кто в Курске
добывал
железные куски.

1923

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Российской
коммунистической партии
посвящаю

Время —
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною
осознанною болью.
Время,
снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слезной лужею,—
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье —
сила
и оружие.
Люди — лодки.
Хотя и на суше.
Проживешь
свое
пока,

много всяких
грязных раку́шек
налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозленную,
сядешь,
чтобы солнца близ,
и счищаешь
водорослей
бороду зеленую
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассиянят головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.

Голосует сердце —
я писать обязан
по мандату долга.

Вся Москва.
Промерзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами
обмороженные с ночи.
Что он сделал?
Кто он
и откуда?
Почему
ему
такая почесть?
Слово за́ словом
из памяти таская,
не скажу
ни одному —
на место сядь.
Как бедна
у мира
сло́ва мастерская!
Подходящее
откуда взять?
У нас
семь дней,
у нас
часов — двенадцать.
Не прожить
себя длинней.
Смерть
не умеет извиняться.
Если ж
с часами плохо,
мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».
Мы
спим
ночь.

Днем
совершаем поступки.
Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.
А если
за всех смог
направлять
потоки явлений,
мы говорим —
«пророк»,
мы говорим —
«гений».
У нас
претензий нет,—
не зовут —
мы и не лезем;
нравимся
своей жене,
и то
довольны доне́льзя.
Если ж,
телом и духом слит,
прет
на нас непохожий,
шпилим —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».
Скажут так,—
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как ды́мы.
Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.
Ни рукам,
ни голове не ощутимы.
Как же
Ленина
таким аршином мерить!

Ведь глазами
видел
каждый всяк —
«эра» эта
проходила в двери,
даже
головой
не задевая о косяк.
Неужели
про Ленина тоже:
«вождь
милостью божьей»?
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.
Я б
нашел
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами
метал:
долой!
Но тверды
шаги Дзержинского
у гроба.
Нынче бы
могла
с постов сойти Чека.

Сквозь мильоны глаз,
и у меня
сквозь оба,
лишь сосульки слез,
примерзшие
к щекам.
Богу
почести казенные
не новость.
Нет!
Сегодня
настоящей болью
сердце холодей.
Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей.
Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в свое корыто.
Землю
всю
охватывая разом,
видел
то,
что временем закрыто.
Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинят кожей,
да насмешливей
и тверже губы,
чем у нас.
Не сатрапья твердость,
триумфаторской коляской

мнущая
тебя,
подергивая вожжи.
Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа тверже.
Знал он
слабости,
знакомые у нас,
как и мы,
перемогал болезни.
Скажем,
мне бильярд —
отращиваю глаз,
шахматы ему —
они вождям
полезней.
И от шахмат
перейдя
к врагу натурой,
в люди
выведя
вчерашних пешек строй,
становил
рабочей — человечьей диктатурой
над тюремной
капиталовой турой.
И ему
и нам
одно и то же дорого.
Отчего ж,
стоящий
от него поодаль,
я бы
жизнь свою,
глупея от восторга,
за одно б
его дыханье
о́тдал?!

Да не я один!
Да что я
лучше, что ли?!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас
из сел,
из кожи вон,
из штолен
не шагнет вперед?!
В качке —
будто бы хватил
вина и горя лишку —
инстинктивно
хоронюсь
трамвайной сети.
Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре
вот этой
безграничной смерти!
Со знаменами идут,
и так.
Похоже —
стала
вновь
Россия кочевой.
И Колонный зал
дрожит,
насквозь прохожен.
Почему?
Зачем
и отчего?
Телеграф
охрип
от траурного гуда.
Слезы снега
с флажьих
покрасневших век.
Что он сделал,
кто он
и откуда —

этот
самый человечный человек?

Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.
Слышите —
железный
и луженый,
прорезая
древние века,—
голос
прадеда
Бромлея и Гужона —
первого паровика?
Капитал
его величество,
некоронованный,
венчанный
объявляет
покоренной
силу деревенщины.
Город грабил,
греб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвивая трубы зá небо:

— Нами
к золоту
пути мостите.
Мы родим,
пошлем,
придет когда-нибудь
человек,
борец,
каратель,
мститель! —
И уже
смешались
облака и ды́мы,
будто
рядовые
одного полка.
Небеса
становятся двойными,
дымы
забивают облака.
Товары
растут,
меж нищими высясь.
Директор,
лысый черт,
пощелкал счетами,
буркнул:
«кризис!»
и вывесил слово
«расчет».
Кра́пило
сласти
мушиное се́ево,
хлеба́
зерном
в элеваторах портятся,
а под витринами
всех Елисеевых,
живот подведя,
плелась безработица.
И бурчало
у трущоб в утробе,
покрывая
детворины плачик:

— Под работу,
под винтовку ль,
на́ —
ладони обе!
Приходи,
заступник
и расплатчик! —
Эй,
верблюд,
открыватель колоний!
Эй,
колонны стальных кораблей!
Марш
в пустыни
огня раскаленней!
Пеньте пену
бумаги белей!
Начинают
черным лата́ться
оазисы
пальмовых нег.
Вон
среди
золотистых плантаций
засеченный
вымычал негр:
— У-у-у-у-у,
у-у-у!
Нил мой, Нил!
Приплещи
и выплещи
черные дни!
Чтоб чернее были,
чем я во сне,
и пожар чтоб
крови вот этой красней.
Чтоб во всем этом кофе,
враз вскипелом,
вариться пузатым —
черным и белым.
Каждый
добытый
слоновий клык —

тык его в мясо,
в сердце тык.
Хоть для правнуков,
не зря чтоб
кровью литься,
выплыви,
заступник солнцелицый.
Я кончаюсь,—
бог смертей
пришел и поманил.
Помни
это заклинанье,
Нил,
мой Нил! —
В снегах России,
в бреду Патагонии
расставило
время
станки потогонные.
У Ива́нова уже
у Вознесенска
каменные туши
будоражат
выкрики частушек:
«Эх, завод ты мой, завод,
желтоглазина.
Время нового зовет
Стеньку Разина».
Внуки
спросят:
— Что такое капиталист? —
Как дети
теперь:
— Что это
г-о-р-о-д-о-в-о-й?..—
Для внуков
пишу
в один лист
капитализма
портрет родовой.
Капитализм
в молодые года
был ничего,
деловой парнишка:

первый работал —
не боялся тогда,
что у него
от работ
засалится манишка.
Трико феодальное
ему тесно́!
Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвел
и даже
подпевал «Марсельезу».
Машину
он
задумал и выдумал.
Люди
и те — ей!
Он
по вселенной
видимо-невидимо
рабочих расплодил
детей.
Он враз
и царства
и графства сжевал
с коронами их
и с орлами.
Встучнел,
как библейская корова
или вол,
облизывается.
Язык — парламент.
С годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух,
такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.

Дворец возвел —
не увидишь такого!
Художник
— не один! —
по стенам поерзал.
Пол ампиристый,
потолок рококóвый,
стенки —
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей,
задолицая
полиция.
И краске
и песне
душа глуха,
как корове
цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прочая чепуха —
просто —
его
женская прислуга.
Его
и рай
и преисподняя —
распродает
старухам
дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он
перерос себя,

за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб
и лег
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход —
взорвать!
Знаю,
лирик
скривится горько,
критик
ринется
хлыстиком выстегать:
— А где ж душа?!
Да это ж —
риторика!
Поэзия где ж?
Одна публицистика!! —
Капитализм —
неизящное слово,
куда изящней звучит —
«соловей»,
но я
возвращусь к нему
снова и снова.
Строку
агитаторским лозунгом взвей.
Я буду писать
и про то
и про это,
но нынче
не время
любовных ляс.

Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.
Пролетариат —
неуклюже и узко
тому,
кому
коммунизм — западня.
Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мертвых
сражаться поднять.
Этажи
уже
заёжились, дрожа,
клич подвалов
подымается по этажам:
— Мы прорвемся
небесам
в распахнутую синь.
Мы пройдем
сквозь каменный колодец.
Будет.
С этих нар
рабочий сын —
пролетариатоводец.—
Им
уже
земного шара мало.
И рукой,
отяжелевшей
от колец,
тянется
упитанная
туша капитала
ухватить
чужой горле́ц.
Идут,
железом
клацая и лацкая.

— Убивайте!
Двум буржуям тесно! —
Каждое село —
могила братская,
города́ —
завод протезный.
Кончилось —
столы
накрыли чайные.
Пирогом
победа на столе.
— Слушайте
могил чревовещание,
кастаньеты костылей!
Снова
нас
увидите
в военной яви.
Эту
время
не простит вину.
Он расплатится,
придет он
и объявит
вам
и вашинской войне
войну! —
Вырастают
на земле
слезы́ озёра,
слишком
непролазны
крови топи.
И клонились
одиночки-фантазеры
над решением
немыслимых утопий.
Голову
об жизнь
разбили филантропы.
Разве
путь миллионам —
филантропов тропы?

И уже
бессилен
сам капиталист,
так
его
машина размахалась,—
строй его
несет,
как пожелтелый лист,
кризисов
и забастовок ха́ос.
— В чей карман
стекаем
золотою лавой?
С кем идти
и на кого пенять? —
Класс миллионоглавый
напрягает глаз —
себя понять.
Время
часы
капитала
кра́ло,
побивая
прожекторов яркость.
Время
родило
брата Карла —
старший
ленинский брат
Маркс.
Маркс!
Встает глазам
седин портретных рама.
Как же
жизнь его
от представлений далека!
Люди
видят
замурованного в мрамор,
гипсом
холодеющего старика.
Но когда
революционной тропкой

первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс
и мысль свою зажег!
Будто сам
в заводе каждом
стоя стоймя,
будто
каждый труд
размозоливая лично,
грабящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,
Маркс
повел
разить
войною классовой
золотого
до быка
доросшего тельца́.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны
только
волны случая
закинут
нас
юля́.
Маркс
раскрыл
истории законы,
пролетариат
поставил у руля.
Книги Маркса
не набора гранки,

не сухие
цифр столбцы —
Маркс
рабочего
поставил нá ноги
и повел
колоннами
стройнее цифр.
Вел
и говорил: —
сражаясь лягте,
дело —
корректура
выкладкам ума.
Он придет,
придет
великий практик,
поведет
полями битв,
а не бумаг! —
Жерновами дум
последнее меля́
и рукой
дописывая
восковой,
знаю,
Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны
флаг
над красною Москвой.
Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.

У каких-нибудь
годов
на расстоянии
сколько гроз
гудит
от нарастаний.
Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
за вспышками восстаний.
Крут
буржуев
озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
воя и стеная,
тени прадедов,
парижских коммунаров,
и сейчас
вопят
парижскою стеною:
— Слушайте, товарищи!
Смотрите, братья!
Горе одиночкам —
выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
Бейте партией!
Кулаком
одним
собрав
рабочий класс.—
Скажут:
«Мы вожди»,
а сами —
шаркунами?
За речами
шкуру
распознать умей!
Будет вождь
такой,
что мелочами с нами —
хлеба проще,
рельс прямей.

Смесью классов,
вер,
сословий
и наречий
на рублях колес
землища двигалась.
Капитал
ежом противоречий
рос вовсю
и креп,
штыками иглясь.
Коммунизма
призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи...
По всему по этому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.

Я знал рабочего.
Он был безграмотный.
Не разжевал
даже азбуки соль.
Но он слышал,
как говорил Ленин,
и он
знал — всё.
Я слышал
рассказ
крестьянина-сибирца.
Отобрали,
отстояли винтовками
и раем
разделали селеньице.
Они не читали
и не слышали Ленина,
но это
были ленинцы.

Я видел горы —
на них
и куст не рос.
Только
тучи
на скалы
упали ничком.
И на сто верст
у единственного горца
лохмотья
сияли
ленинским значком.
Скажут —
это
о булавках áхи.
Барышни их
вкалывают
из кокетливых причуд.
Не булавка вколота —
значком
прожгло рубахи
сердце,
полное
любовью к Ильичу.
Этого
не объяснишь
церковными славянскими крюками,
и не бог
ему
велел —
избранник будь!
Шагом человеческим,
рабочими руками,
собственною головой
прошел он
этот путь.
Сверху
взгляд
на Россию брось —
рассинелась речками,
словно

разгулялась
тысяча розг,
словно
плетью исполосована.
Но синей,
чем вода весной,
синяки
Руси крепостной.
Ты
с боков
на Россию глянь —
и куда
глаза ни кинь,
упираются
небу в склянь
горы,
каторги
и рудники.
Но и каторг
больнее была
у фабричных станков
кабала.
Были страны
богатые более,
красивее видал
и умней.
Но земли
с еще большей болью
не довиделось
видеть
мне.
Да, не каждый
удар
сотрешь со щеки.
Крик крепчал:
— Подымайтесь
за землю и волю вы! —
И берутся
бунтовщики-
одиночки
за бомбу
и за рево́львер.

Хорошо
в царя
вогнать обойму!
Ну, а если
только пыль
взметнешь у колеса?!
Подготовщиком
цареубийства
пойман
брат Ульянова,
народоволец
Александр.
Одного убьешь —
другой
во весь свой пыл
пытками
ушедших
переплюнуть тужится.
И Ульянов
Александр
повешен был
тысячным из шлиссельбуржцев.
И тогда
сказал
Ильич семнадцатигодовый —
это слово
крепче клятв
солдатом поднятой руки:
— Брат,
мы здесь
тебя сменить готовы,
победим,
но мы
пойдем путем другим! —
Оглядите памятники —
видите
героев род вы?
Станет Гоголем,
а ты
венком его величь.

Не такой —
чернорабочий,
ежедневный подвиг
на́ плечи себе
взвалил Ильич.
Он вместе,
учит в кузничной пасти,
как быть,
чтоб зарплата
взросла пятаком.
Что делать,
если
дерется мастер.
Как быть,
чтоб хозяин
поил кипятком.
Но не мелочь
целью в конце:
победив,
не стой так
над одной
сметённой лужею.
Социализм — цель.
Капитализм — враг.
Не веник —
винтовка оружие.
Тысячи раз
одно и то же
он вбивает
в тугой слух,
а назавтра
друг в друга вложит
руки
понявших двух.
Вчера — четыре,
сегодня — четыреста.
Таимся,
а завтра
в открытую встанем,
и эти
четыреста
в тысячи вырастут.

Трудящихся мира
подымем восстанием.
Мы уже
не тише вод,
травинок ниже —
гнев трудящихся
густится в туче.
Режет
молниями
Ильичевых книжек.
Сыпет
градом
прокламаций и летучек.
Бился
об Ленина
темный класс,
тёк
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,
с классом
рос
Ленин.
И уже
превращается в быль
то,
в чем юношей
Ленин кля́лся:
— Мы
не одиночки,
мы —
союз борьбы
за освобождение
рабочего класса.—
Ленинизм идет
все далее
и более
вширь
учениками
Ильичевой выверки.

Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной Володимирки.
Нынче
нами
шар земной заверчен.
Даже
мы,
в кремлевских креслах если,—
скольким
вдруг
из-за декретов Нерчинск
кандалами
раззвенится в кресле!
Вам
опять
напомню птичий путь я.
За волчком —
трамваев
электрическая рысь.
Кто
из вас
решетчатые прутья
не царапал
и не грыз?!
Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».
Полюбилась Ленину
в какой из ссылок
этой песни
траурная сила?

Говорили —
мужичок
своей пойдет дорогой,
заведет
социализм
бесхитростен и прост.
Нет,
и Русь
от труб
становится сторóгой.
Город
дымной бородой оброс.
Не попросят в рай —
пожалуйста,
войдите —
через труп буржуазии
коммунизма шаг.
Ста крестьянским миллионам
пролетариат водитель.
Ленин —
пролетариев вожак.
Понаобещает либерал
или эсерик прыткий,
сам охочий до рабочих шей,—
Ленин
фразочки
с него
пооборвет до нитки,
чтоб из книг
сиял
в дворянском нагише.
И нам
уже
не разговорцы досужие,
что-де свобода,
что люди братья,—
мы
в Марксовом всеоружии
одна
на мир,
большевистская партия.

Америку
пересекаешь
в экспрессном купе,
идешь Чухломой —
тебе
в глаза
вонзается теперь
РКП
и в скобках
маленькое «б».
Теперь
на Марсов
охотится Пулково,
перебирая
небесный ларчик.
Но миру
эта
строчная буква
в сто крат красней,
грандиозней
и ярче.
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».
Единица!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто ее услышит? —
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия —
это
единый ураган,

из голосов спрессованный
тихих и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин —
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.
А если
в партию
сгрýдились малые —
сдайся, враг,
замри
и ляг!
Партия —
рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.
Единица — вздор,
единица — ноль,
один —
даже если
очень важный —
не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.
Партия —
это
миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.

Партией
стройки
в небо взмечем,
держа
и вздымая друг друга.
Партия —
спинной хребет рабочего класса.
Партия —
бессмертие нашего дела.
Партия — единственное,
что мне не изменит.
Сегодня приказчик,
а завтра
царства стираю в карте я.
Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса —
вот что такое партия.
Партия и Ленин —
близнецы-братья —
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим — Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим —
партия,
подразумеваем —
Ленин.
Еще
горой
коронованные главы,
и буржуи
чернеют,
как вороны в зиме,
но уже
горение
рабочей лавы
по кратеру партии
рвется из-под земель.

Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним!
Сами
с оружием
встали пресненцы.
Казалось —
сейчас
покончим с троном,
за ним
и буржуево
кресло треснется.
Ильич уже здесь.
Он изо дня нá день
проводит
с рабочими
пятый год.
Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведет
всего восстания ход.
Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».
Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестиком.
А после
«свободной»
медовой недели

речи,
банты
и пения плавные
пушечный рев
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание
царев адмирал,
каратель Дубасов.
Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чека́!
Смотрите,
как здесь,
связавши за́ локти,
рабочих на́смерть
секли по щекам.
Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и всё изгадили.
Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.
Сам заскулил
товарищ Плеханов:
— Ваша вина,
запутали, братцы!
Вот и пустили
крови лохани!
Нечего
зря
за оружье браться.—
Ленин
в этот скулеж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:
— Нет,
за оружие
браться нужно,

только более
решительно и энергично.
Новых восстаний вижу день я.
Снова подымется
рабочий класс.
Не защита —
нападение
стать должно
лозунгом масс.—
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане
покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.
И Ленин
снова
в своем изгнании
готовит
нас
перед новой битвой.
Он учит
и сам вбирает знание,
он партию
вновь
собирает разбитую.
Смотри —
забастовки
вздымают год,
еще —
и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.
Но вот
из лет
подымается
страшный четырнадцатый.
Так пишут —
солдат-де
раскурит трубку,

балакать пойдет
о походах древних,
но эту
всемирнейшую мясорубку
к какой приравнять
к Полтаве,
к Плевне?!
Империализм
во всем оголении —
живот наружу,
с вставными зубами,
и море крови
ему по колени —
сжирает страны,
вздымая штыками.
Вокруг него
его подхалимы —
патриоты —
приспособились Вовы —
пишут,
руки предавшие вымыв:
— Рабочий,
дерись
до последней крови! —
Земля —
горой
железного лома,
а в ней
человечья
рвань и рвалъ.
Среди
всего сумасшедшего дома
трезвый
встал
один Циммервальд.
Отсюда
Ленин
с горсточкой товарищей
встал над миром
и поднял над
мысли
ярче
всякого пожарища,

голос
громче
всех канонад.
Оттуда —
миллионы
канонадою в уши,
стотысячесабельной
конницы бег,
отсюда,
против
и сабель и пушек,—
скуластый
и лысый
один человек.
— Солдаты!
Буржуи,
предав и про́дав,
к туркам шлют,
за Верден,
на Двину.
Довольно!
Превратим
войну народов
в гражданскую войну!
Довольно
разгромов,
смертей и ран,
у наций
нет
никакой вины.
Против
буржуазии всех стран
подымем
знамя
гражданской войны! —
Думалось:
сразу
пушка-печка
чихнет огнем
и сдунет гнилью,
потом поди,
ищи человечка,

поди,
вспоминай его фамилию.
Глоткой орудий,
шипевших и вывших,
друг другу
страны
орут —
на колени!
Додрались,
и вот
никаких победивших —
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истощили
терпенье ангельское.
Ты
восставшею
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.
Империя —
это тебе не ку́ра!
Клювастый орел
с двухглавою властью.
А мы,
как докуренный окурок,
просто
сплюнули
их династью.
Огромный,
покрытый кровавою ржою,
народ,
голодный и голоштанный,
к Советам пойдет
или будет
буржую
таскать,
как и встарь,
из огня каштаны?

— Народ
разорвал
оковы царьи,
Россия в буре,
Россия в грозе,—
читал
Владимир Ильич
в Швейцарии,
дрожа,
волнуясь
над кипой газет.
Но что
по газетным узнаешь клочьям?
На аэроплане
прорваться б ввысь,
туда,
на помощь
к восставшим рабочим,—
одно желанье,
единая мысль.
Поехал,
покорный партийной воле,
в немецком вагоне,
немецкая пломба.
О, если бы
знал
тогда Гогенцоллерн,
что Ленин
и в их монархию бомба!
Питерцы
всё еще
всем на радость
лобзались,
скакали детишками малыми,
но в красной ленточке,
слегка припарадясь,
Невский
уже
кишел генералами.
За шагом шаг —
и дойдут до точки,
дойдут
и до полицейского свиста.

Уже
начинают
казать коготочки
буржуи
из лапок своих пушистых.
Сначала мелочь —
вроде малько́в.
Потом повзрослее —
от шпротов до килечек.
Потом Дарданельский,
в девичестве Милюков,
за ним
с коронацией
прет Михаильчик.
Премьер —
не власть —
вышивание гладью!
Это
тебе
не грубый нарком.
Прямо девушка —
иди и гладь ее!
Истерики закатывает,
поет тенорком.
Еще
не попало
нам
и росинки
от этих самых
февральских свобод,
а у оборонцев —
уже хворостинки —
«марш, марш на фронт,
рабочий народ».
И в довершение
пейзажа славненького,
нас предававшие
и до
и пото́м,
вокруг
сторожами
эсеры да Савинковы,
меньшевики —
ученым котом.

И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик.
И снова
ветер
свежий, крепкий
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»
— Товарищи! —
и над головами
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.
— Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья.
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!
Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая коммунизм,
да здравствует
восстание
за власть Советов! —
Впервые
перед толпой обалделой

здесь же,
перед тобою,
близ,
встало,
как простое
делаемое дело,
недосягаемое слово —
«социализм».
Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ.
На толщь
окрутивших
соглашательских веревок
слова Ильича
ударами топора.
И речь
прерывало
обвалами рева:
«Правильно, Ленин!
Верно!
Пора!»
Дом
Кшесинской,
за дрыгоножество
подаренный,
нынче —
рабочая блузница.
Сюда течет
фабричное множество,
здесь
закаляется
в ленинской кузнице.
«Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй».

Уж лезет
к сидящим
в хозяйском стуле —
как живете
да что жуете?
Примериваясь,
в июле
за горло потрогали
и за животик.
Буржуевы зубья
ощерились разом.
— Раб взбунтовался!
Плетями,
да в кровь его! —
И ручку
Керенского
водят приказом —
на мушку Ленина!
В Кресты Зиновьева!
И партия
снова
ушла в подполье.
Ильич на Разливе,
Ильич в Финляндии.
Но ни чердак,
ни шалаш,
ни поле
вождя
не дадут
озверелой банде их.
Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,
видна
направляющая
ленинская мысль,
видна
ведущая
ленинская рука.
Словам Ильичевым —
лучшая почва:
падают,
сейчас же
дело растя,

и рядом
уже
с плечом рабочего —
плечи
миллионов крестьян.
И когда
осталось
на баррикады выйти,
день
наметив
в ряду недель,
Ленин
сам
явился в Питер:
— Товарищи,
довольно тянуть канитель!
Гнет капитала,
голод-уродина,
войн бандитизм,
интервенция вóрья —
будет! —
покажутся
белее родинок
на теле бабушки,
древней истории.—
И оттуда,
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.
Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет летá,
и счастье
сластью
огромных ягод

дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулеметчики.
— Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там.
— Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?

В броневики
и на почтамт!
— По приказу
товарища Троцкого!
— Есть! —
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лампой
блеснуло —
«Аврора».
Кто мчит с приказом,
кто в куче спорящих,
кто щелкал
затвором
на левом колене.
Сюда
с того конца коридорища
бочком
пошел
незаметный Ленин.
Уже
Ильичем
поведенные в битвы,
еще
не зная
его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре
Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощуря,
вонзал,
заложивши
руки зá спину.

В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
уставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.
И знал я,
что всё
раскрыто и понято
и этим
глазом
наверное выловится —
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля путиловца.
Он
в черепе
сотней губерний ворочал,
людей
носил
до миллиардов полутора.
Он
взвешивал
мир
в течение ночи,
а утром:
— Всем!
Всем!
Всем это —
фронтам,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,
в рабство
богатым отданным.—
Власть Советам!

Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным! —
Буржуи
прочли
— погодите,
выловим,—
животики пятят
доводом веским —
ужо им покажут
Духонин с Корниловым,
покажут ужо им
Гучков с Керéнским.
Но фронт
без боя
слова эти взяли —
деревня
и город
декретами зáлит,
и даже
безграмотным
сердце прожег.
Мы знаем,
не нам,
а им показали,
какое такое бывает
«ужо».
Переходило
от близких к ближним,
от ближних
дальним взрывало сердца:
«Мир хижинам,
война,
война,
война дворцам!»
Дрались
в любом заводе и цехе,
горохом
из городов вытряхивали,
а сзади
шаганье октябрьское
метило вехи
пылающих
дворянских усадеб.

Земля —
подстилка под ихними порками,
и вдруг
ее,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями ее
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.
В очках
манжетщики,
злобой похаркав,
ползли туда,
где царство да графство.
Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!
Мы жили
пока
производством ротаций.
С окопов
летело
в немецкие уши:
— Пора кончать!
Выходите брататься! —
И фронт
расползался
в улитки теплушек.
Такую ли
течь
загородите горстью?
Казалось —
наша лодчонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористей,
сотрет
Советской страны границы.
Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
ловили бегущих
в свое словоблудьище,

тащили
по-рыцарски
глупой шпажонкой
красиво
сразить
броневые чудища!
Ильич
петушившимся
крикнул:
— Ни с места!
Пусть партия
взвалит
и это бремя.
Возьмем
передышку похабного Бреста.
Потеря — пространство,
выигрыш — время.—
Чтоб не передо́хнуть
нам
в передышку,
чтоб знал —
запомнят уда́ры мои,
себя
не муштровкой —
сознанием вышколи,
стройся
рядами
Красной Армии.
Историки
с гидрой плакаты выдерут
— чи эта гидра была,
чи нет? —
а мы
знавали
вот эту гидру
в ее
натуральной величине.
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов
и как один умрем
в борьбе за это!»
Деникин идет.
Деникина выкинут,

обрушенный пушкой
подымут очаг.
Тут Врангель вам —
на смену Деникину.
Барона уронят —
уже Колчак.
Мы жрали кору,
ночевка — болотце,
но шли
миллионами красных звезд,
и в каждом — Ильич,
и о каждом заботится
на фронте
в одиннадцать тысяч верст.
Одиннадцать тысяч верст
окружность,
а сколько
вдоль да поперек!
Ведь каждый дом
атаковывать нужно,
каждый
врага
в подворотнях берег.
Эсер с монархистом
шпионят бессонно —
где жалят змеей,
где рубят сплеча.
Ты знаешь
путь
на завод Михельсона?
Найдешь
по крови
из ран Ильича.
Эсеры
целят
не очень верно —
другим концом
да себя же
в бровь.
Но бомб страшнее
и пуль револьве́рных
осада голода,
осада тифо́в.

Смотрите —
кружат
над крошками мушки,
сытней им,
чем нам
в осьмнадцатом году,—
простаивали
из-за осьмушки
сутки
в улице
на холоду.
Хотите сажайте,
хотите травите —
завод за картошку —
кому он не жалок!
И десятикорпусный
судостроитель
пыхтел
и визжал
из-за зажигалок.
А у кулаков
и масло и пышки.
Расчет кулаков
простой и верненький —
запрячь хлеба́
да зарой в кубышки
николаевки
да ке́ренки.
Мы знаем —
голод
сметает начисто,
тут нужен зажим,
а не ласковость воска,
и Ленин
встает
сражаться с кулачеством
и продотрядами
и продразверсткой.
Разве
в этакое время
слово «демократ»
набредет
какой головке дурьей?!

Если бить,
так чтоб под ним
панель была мокра:
ключ побед —
в железной диктатуре.

Мы победили,
но мы
в пробоинах:
машина стала,
обшивка —
лохмотья.
Валы обломков!
Лохмотьев обойных!
Идите залейте!
Возьмите и смойте!
Где порт?
Маяки
поломались в порту,
кренимся,
мачтами
волны крестя!
Нас опрокинет —
на правом борту
в сто миллионов
груз крестьян.
В восторге враги
заливаются воя,
но так
лишь Ильич умел и мог —
он вдруг
повернул
колесо рулевое
сразу
на двадцать румбов вбок.
И сразу тишь,
дивящая даже;
крестьяне
подвозят
к пристани хлеб.
Обычные вывески
— купля —
— продажа —
— нэп.

Прищурился Ленин:
— Чинитесь пока чего,
аршину учись,
не научишься —
плох.—
Команду
усталую
берег покачивал.
Мы к буре привыкли,
что за подвох?
Залив
Ильичем
указан глубокий
и точка
смычки-причала
найдена,
и плавно
в мир,
строительству в доки,
вошла
Советских республик громадина.
И Ленин
сам
где железо,
где дерево
носил
чинить
пробитое место.
Стальными листами
вздымал
и примеривал
кооперативы,
лавки
и тресты.
И снова
становится
Ленин штурман,
огни по бортам,
впереди и сзади.
Теперь
от абордажей и штурма
мы
перейдем
к трудовой осаде.

Мы
отошли,
рассчитавши точно.
Кто разложился —
на берег
за вóрот.
Теперь вперед!
Отступленье окончено.
РКП,
команду на борт!
Коммуна — столетия,
что десять лет для ней?
Вперед —
и в прошлом
скроется нэпчик.
Мы двинемся
во сто раз медленней,
зато
в миллион
прочней и крепче.
Вот этой
мелкобуржуазной стихии
еще
колышется
мертвая зыбь,
но, тихие
тучи
молнией выев,
уже —
нарастанье
всемирной грозы.
Враг
сменяет
врага поределого,
но будет —
над миром
зажжем небеса
— но это
уже
полезней проделывать,
чем
об этом писать.—
Теперь,
если пьете
и если едите,

на общий завод ли
идем
с обеда,
мы знаем —
пролетариат — победитель,
и Ленин —
организатор победы.
От Коминтерна
до звонких копеек,
серпом и молотом
в новой меди,
одна
неписаная эпопея —
шагов Ильича
от победы к победе.
Революции —
тяжелые вещи,
один не подымешь —
согнется нога.
Но Ленин
меж равными
был первейший
по силе воли,
ума рычагам.
Подымаются страны
одна за одной —
рука Ильича
указывала верно:
народы —
черный,
белый
и цветной —
становятся
под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
непреклонные колонны —
буржуи
пяти частей света,
вежливо
приподымая
цилиндры и короны,
кланяются
Ильичевой Республике Советов.

Нам
не страшно
усилие ничье,
мчим
вперед
паровозом труда...
и вдруг
стопудовая весть —
с Ильичем
удар.

Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозеи.
Еще бы —
такое
не увидишь и в века!
Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.
Живьем,
по голову в землю,
закапывали нас банды Мамонтова.
В паровозных топках
сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом,
отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм! —
Кресло за креслом,
ряд в ряд
эта сталь,
железо это
вваливалось
двадцать второго января
в пятиэтажное здание
Съезда Советов.

Усаживались,
кидались усмешкою,
решали
по́ходя
мелочь дел.
Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
президиум,
как вырубленный, поредел?
Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым?
Держится еле.
Несчастье?
Какое?
Быть не может!
А если с ним?
Нет!
Неужели?
Потолок
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще нагни!
Задрожали вдруг
и стали черными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся
колокольчика ненужный щелк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слёзы не сжуешь
с усов и щек.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
голову мнут.
Кровь в виски,
клокочет в вене:
— Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин! —

Этот год
видал,
чего не взвидят сто.
День
векам
войдет
в тоскливое преданье.
Ужас
из железа
выжал стон.
По большевикам
прошло рыданье.
Тяжесть страшная!
Самих себя же
выволакивали
волоком.
Разузнать —
когда и как?
Чего таят!
В улицы
и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.
Радость
ползет улиткой.
У горя
бешеный бег.
Ни солнца,
ни льдины слитка —
всё
сквозь газетное ситко
черный
засеял снег.
На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.
И как будто
слезы́ стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,

смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растертая грязь.
Были люди — кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерьезничались дети,
и, как дети,
плакали седобородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
восставшей
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатеночке Москвы
революции
и сына и отца.
Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло —
и видите под...
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица,
будто рана сквозная —
так болит
и стонет так.

Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.
Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.
Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца́ ему
ветками елок стели.
Он в битву вел,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.
Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.
Он зе́мли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченным, снятся.
И коммунары
с-под площади Красной,

казалось,
шепчут:
— Любимый и милый!
Живи,
и не надо
судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
и ляжем в могилы! —
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят,—
плотина улиц
враспашку раствóрится,
и с песней
нá смерть
ринутся люди.
Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб
и согнутые плечи.
Он был человек
до конца человечьего —
неси
и казнись
тоской человечьей.
Вовек
такого
бесценного груза
еще
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому Союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.
Еще
в караул
вставала в почетный
суровая гвардия
ленинской выправки,

а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.
В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но в эту
холодную,
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.
Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.
Желтое солнце,
косое и лаковое,
взойдет,
лучами к подножью кидается.
Как будто
забитые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.
Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы меняя,
путая даты.
Как будто
не ночь
и не звезды на ней,

а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.
Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.
Мороз хватает
и тащит,
как будто
пытает,
насколько в любви закаленные.
Врывается в толпы.
В давку запутан,
вступает
вместе с толпой за колонны.
Ступени растут,
разрастаются в риф.
Но вот
затихает
дыханье и пенье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв —
бездонный обрыв
в четыре ступени.
Обрыв
от рабства в сто поколений,
где знают
лишь золота звонкий резон.
Обрыв
и край —
это гроб и Ленин,
а дальше —
коммуна
во весь горизонт.
Что увидишь?!
Только лоб его́ лишь,

и Надежда Константиновна
в тумане
за...
Может быть,
в глаза без слез
увидеть можно больше.
Не в такие
я
смотрел глаза.
Знамен
плывущих
склоняется шелк
последней
почестью отданной:
«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь, благородный».
Страх.
Закрой глаза
и не гляди —
как будто
идешь
по проволоке про́вода.
Как будто
минуту
один на один
остался
с огромной
единственной правдой.
Я счастлив.
Звенящего марша вода
относит
тело мое невесомое.
Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.

Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знамённые
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бой —
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и ве́ками алея,
на последнее
прощанье с Ильичем
шли
и медлили у Мавзолея.
Выполняют церемониал.
Говорили речи.
Говорят — и ладно.
Горе вот,
что срок минуты
мал —
разве
весь
охватишь ненаглядный!
Пройдут
и на́верх
смотрят с опаской,
на черный,
посыпанный снегом кружок.
Как бешено
скачут
стрелки на Спасской.
В минуту —
к последней четверке прыжок.
Замрите
минуту
от этой вести!

Остановись,
движенье и жизнь!
Поднявшие молот,
стыньте на месте.
Земля, замри,
ложись и лежи!
Безмолвие.
Путь величайший окончен.
Стреляли из пушки,
а может, из тыщи.
И эта
пальба
казалась не громче,
чем мелочь,
в кармане бренчащая —
в нищем.
До боли
раскрыв
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.
Встает
предо мной
у знамен в озарении
темный
земной
неподвижный шар.
Над миром гроб,
неподвижен и нем.
У гроба —
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня видели.
Но вот
издалёка,
оттуда,
из алого
в мороз,
в караул умолкнувший наш,
чей-то голос —
как будто Муралова —

«Шагом марш».
Этого приказа
и не нужно даже —
реже,
ровнее,
тверже дыша,
с трудом
отрывая
тело-тяжесть,
с площади
вниз
вбиваем шаг.
Каждое знамя
твердыми руками
вновь
над головою
взвито ввысь.
Топота потоп,
сила кругами,
ширясь,
расходится
миру в мысль.
Общая мысль
воедино созвеньена
рабочих,
крестьян
и солдат-рубак:
— Трудно
будет
республике без Ленина.
Надо заменить его —
кем?
И как?
Довольно
валяться
на перине клоповой!
Товарищ секретарь!
На́ тебе —
вот —
просим приписать
к ячейке еркаповой
сразу,
коллективно,
весь завод...—

Смотрят
буржуи,
глазки раскоряча,
дрожат
от топота крепких ног.
Четыреста тысяч
от станка
горячих —
Ленину
первый
партийный венок.
— Товарищ секретарь,
бери ручку...
Говорят — заменим...
Надо, мол...
Я уже стар —
берите внучика,
не отстает —
подай комсомол.—
Подшефный флот,
подымай якоря,
в море
пора
подводным кротам.
«По морям,
по морям,
нынче здесь,
завтра там».
Выше, солнце!
Будешь свидетель —
скорей
разглаживай траур у рта.
В ногу
взрослым
вступают дети —
трá-та-та-тá-та
тá-та-та-тá.
«Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,
пойдем на штыки».

Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не сметь!
Стала
величайшим
коммунистом-организатором
даже
сама
Ильичева смерть.
Уже
над трубами
чудовищной рощи,
руки
миллионов
сложив в древко,
красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздымается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин:
— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

1924

ЛЕТАЮЩИЙ ПРОЛЕТАРИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В «Правде»
пишется правда.
В «Известиях» —
известия.
Факты.
Хоть возьми
да положи на стол.
А поэта
интересует
и то,
что будет через двести
лет
или —
через сто.

I

ВОЙНА, КОТОРАЯ БУДЕТ СЕЙЧАС

Когда
перелистываем
газетный лист мы,
перебираем
новости
заграницы болотной,
натыкаемся —
выдумали
ученые империалистовы:

то газ,
то луч,
то самолет беспилотный.
Что́ им,
куриная судьба горька?
Человечеству
помогают,
лучи скрестя?
Нет —
с поднебесья
новый аркан
готовят
на шеи
рабочих и крестьян.
Десятилетие
страницы
всех газетин
смерть начиняла —
увечья,
горе...
Но вздором
покажутся
бойни эти
в ужасе
грядущих фантасмагорий.
. . . .

2125 год.

Небо горсти сложило
(звезды клянчит).
Был вечер,
выражаясь просто.
На небе,
как всегда,
появился аэропланчик.
Обычный —
самопишущий —
«Аэророста».
Москва.
Москвичи
повылезли на крыши
сорокаэтажных
домов-коммун.

— Посмотрим, что ли...
Про что пропишет.
Кто?
Кого?
Когда?
Кому? —

Тревога.

Летчик
открыл
горящий газ,
вывел
на небе
раму.
Вывел
крупными буквами:

ПРИКАЗ.
МОБИЛИЗАЦИЯ.

А потом —
телеграмму:
Рапорт.
Наблюдатели.
Берег восточный.
Доносим:
«Точно —
без пяти восемь,
несмотря
на время раннее,
враг
маяки
потушил крайние».
Ракета.
Осветились
в темноте
приготовления —
лихорадочный темп.
Крыло к крылу,
в крылья крылья,

первая,
вторая,
сотая эскадрилья.
Еще ракету!
Вспыхнула.
Видели?
Из ангаров
выводятся истребители.
«Зашифровали.
Передали
стам
сторожевым
советским постам.
Порядок образцовый.
Летим
наперерез,
в прикрытии
газовых завес».
За рапортом —
воззвание:
«Товарищи,
ясно!
Угроза —
Европе
и Азии красной.
Америка —
разбитой буржуазии оплот —
на нас
подымает
воздушный флот.
Не врыть
в нору
рабочий класс.
Рука — на руль!
Глаз — на газ!»
Казалось,
газ,
смертоносный и душненький,
уже
обволакивает
миллионы голов.
Заторопились.
Хватали наушники.

Бросали в радио:
«Алло!
Алло!!»
Мотор умолк,
тревогу отгаркав.
Потух
вверху
фосфорический свет.
А люди
выводили
двухместки из ангариков,
летели —
с женой —
в районный совет.
Долетевшим
до половины
встречались —
побывавшие в штабе.
Туда!
Туда!!
Где бомбы
да мины
сложил
арсенальщик
в страшный штабель.

Радиомитинг.

— Товарищи!
На митинг! —
радио кликал.
Массы
морем
вздымало бурно.
А с Красной
площади
взлетала восьмикрылка —
походная
коминтерновская трибуна.
Не забудется
вовек
картина эта.

В масках,
в противогазном платье
земля
разлеглась
фантастическим макетом.
А вверху —
коминтерновский председатель:
— Товарищи!
Сегодня
Америка
Союзу
трудящихся
навязывает войны! —
От Шанхая
до ирландского берега —
фразы
сразу
по радиоволнам.

Авиамобилизация.

Сегодня
забыли
сон и дрёму.
Солнце
искусственное
в миллиард свечей
включили,
и от аэродрома
к аэродрому
сновали
машины
бессонных москвичей.
Легкие разведчики,
дредноуты из алюминия...
И в газодежде,
мускулами узловат,
рабочий
крепил
подвески минные;
бомбами-
летучками
набивал кузова.

Штабные
у машин
разбились на группки.
Небо кроили;
место свое
отмечали.
Делали зарубки
на звездах —
территории грядущих боев.
Летчик.
Рядом — ребятишки
(с братом)
шлем
помогали
надеть ему.
И он
объяснял
пионерам и октябрятам,
из-за чего тревога
и что — к чему:
— Из Европы выбили...
из Азии...
Ан,
они — туда
навострили лыжи,—
в Америку, значит.
В подводках.
За океан.
А там —
свои.
Буржуи.
Кулиджи.
Мы
тут
забыли и имя их.
Заводы строим.
Возносим трубы.
А они
не дремлют.
У них —
химия.
Воняют газом.
Точат зубы.

Ну, и решили —
дошло до точки.
Бомбы взяли.
С дом — в объем.
Камня на камне,
листочка на листочке
не оставят.
Побьют...
Если мы не побьем.—

Вперед.

Одна
машина
выскользнула плавно.
Снизилась,
смотрит...
Чего бы надо еще?
Потом рванулась —
обрадовалась словно —
сигнализировала:
«Главнокомандующий.
Приказываю:
Пора!
Вперед!!
И до Марса
винт отмашет!»
Отземлились,
подняли рупора.
И воздух
гремит
в давнишнем марше.

Марш.

Буржуи
лезут в яри
на самый
небий свод.
Товарищ
пролетарий,
садись на самолет!

Катись
назад,
заводчики,
по облакам свистя.
Мы — летчики
республики
рабочих и крестьян.
Где не проехать
coннице,
где не пройти
ногам —
там
только
летчик гонится
за птицами врага.
Вперед!
Сквозь тучи-кочки!
Летим,
крылом блестя.
Мы — летчики
республики
рабочих и крестьян!
Себя
с врагом померьте,
дорогу
кровью рдя;
до самой
небьей тверди
коммуну
утвердя.
Наш флаг
меж звезд
полощется,
рабочью
власть
растя.
Мы — летчики,
мы — летчицы
рабочих и крестьян!

Начало.

Сначала
разведчики
размахнулись полукругом.

За разведчиками —
истребителей дуга.
А за ними
газоносцы
выстроились в угол.
Тучи
от винтов
размахиваются наугад.
А за ними,
почти
закрывая многоокий,
помноженный
фонарями
небесный свод,
летели
огромней,
чем корабельные доки,
ангары —
сразу
на аэропланов пятьсот.
Когда
повороты
были резки́,—
на тысячи
ладов и ладков
ревели
сонмы
окружающих мастерских
свистоголосием
сирен и гудков.
За ними
вслед
пошли обозы,
маскированные
каким-то
цветом седым.
Тихо...
Тебе — не телегой о́б земь!..
Арсеналы,
склады
медикаментов,
еды...

Под ними
земля
выгибалась миской.
Ждали
на каждой
бетонной поляне.
Ленинская
эскадрилья
взлетела из-под Минска...
Присоединились
крылатые смоляне...
Выше,
выше
ввинчивались летчики.
Совсем высоко...
И — еще выше.
Марш отшумел.
Машины —
точки.
Внизу — поцурились
и бросили крыши.
Проверили.
Есть —
кислород и вода.
Еду́
машина
в минуту подавала.
И влезли,
осмотрев
провода и привода,
в броню
газонепроницаемых подвалов.
На оборону!
Заводы гудят.
А краны
мины таскают.
Под землю
от вражьего газа уйдя,
бежала
жизнь заводская.

Поход.

Летели.
Птицы
в изумленьи глядели.
Летели...
Винт,
звезда блестит в темноте ли?
Летели...
Ввысь
до того,
что — иней на теле.
Летели...
Сами
себя ж
догоняя еле,
летели.
С часами
скорость
творит чудеса:
шло
в сутки
двое сполна;
два солнца —
в 24 часа;
и дважды
всходила луна.
Когда ж
догоняли
вращенье земли —
сто мест
перемахивал
глаз.
А циферблат
показывал
им
один
неподвижный час.
Взвивались,
прорезавши
воздух весь.
В удушьи
разинув рот,

с трудом
рукой,
потерявшей вес,
выструивали
кислород.
Врезáлись
разведчики
в бурю
и в гром
и, бросив
громовую одурь,
на гладь
океана
кидались ядром
и плыли,
распенивши воду.
Плавучей
миной
взорван один.
И тотчас
все остальные
заторопились
в воду уйти,
сомкнувши
брони стальные.
Всплывали,
опасное место пройдя,
стряхнувши
с пропеллеров
капли;
и вновь
в небосвод,
пылающ и рдян,
машин
многоточие
вкрапили.
Летели...
Минуты...
сутки...
недели...
Летели.

Сквозь россыпи солнца,
сквозь луновы мели
летели.

Нападение.

Начальник
спокойно
передвигает кожаный
на два
валика
намотанный план.
Все спокойно.
И вдруг —
как подкошенный,
камнем —
аэроплан.
Ничего.
И только
лучище
вытягивается
разящей
ручищей.
Вставали,
как в пустыне миражи,
сто тысяч
машин
эскадрильи вражьей.
Нацелив
луч,
истребленье готовящий,
сторон с десяти
— никак не менее —
свистели,
летели,
мчались чудовища —
из света,
из стали,
из алюминия.
Качнула
машины
ветра река.

Налево
кренятся
по склону.
На правом
крыле
встает три «К»,
три
черных
«К»—
Ку-клукс-клана.
А ветер
с другого бока налез,
направо
качнул огульно —
и черную
взметнулась
на левом крыле
фашистская
загогулина.
Секунда.
Рассмерчились бешено.
И нет.
Исчезли,
в газ занавешены.
На каждом аэро,
с каждого бока,
как будто
искра —
в газовый бак,
два слова
взрывало сердца:
«Тревога!
Враг!»

Аэробитва.

Не различить
горизонта слитого.
Небо,
воздух,
вода —
воедино!

И в этой
синеве —
последняя битва.
Красных,
белых
— последний поединок.
Невероятная битва!
Ни одного громыханийка!!
Ни ядер,
ни пуль не вижу мимо я —
только
винтов
взбешенная механика,
только
одни
лучи да химия.
Гнались,
увлекались лобом,
и вдруг —
поворачивали
назад.
Свисали руки,
а на лице
лиловом —
вылезшие
остекленелые глаза.
Эскадрильи,
атакующие,
тучи рыли.
Прожектор
глаз
открывает круглый —
и нету
никаких эскадрилий.
Лишь падают
вниз
обломки и угли.
Иногда,
невидимые,
башня с башнею
сходились,
и тогда
громыхало одно это.

По старинке
дрались
врукопашную
два
в абордаже
воздушные дредноута.
Один разбит,
и сразу —
идиллия:
беззащитных,
как щенят,
в ангары
поломанные
дредноуты вводили,
здесь же
в воздухе
клепая и чиня.
Четырежды
ночью,
от звезд рябой,
сменились
дней глади,
но все
растет,
расширяется бой,
звереет
со дня на́ день.
В бою
умирали
пятые сутки.
Враг
отошел на миг.
А после
тысяча
ясно видимых и жутких
машин
пошла напрямик.
В атаку!
В лучи!!—
Не свернули лёта.
В газ!!!—
И газ не мутит.

Неуязвимые,
прут без пилотов.
Всё
метут
на пути.

Гнут.

Командав нахмурился.
Кажется — крышка!
Бросится наш,
винтами взмашет —
и падает
мухой,
сложивши крылышки.
Нашим — плохо.
Отходят наши.
Работа —
чистая.
Сброшена тонна.
Ни увечий,
ни боли,
ни раны...
И город
сметен
без всякого стона
тонной
удушливой
газовой дряни.
Десятки
столиц
невидимый выел
никого,
ничего не щадящий газ.
К самой
к Москве
машины передовые
прут,
как на парад,
как на показ...

Уже
надеющихся
звали врáлями.
Но летчики,
долг выполняя свой,
аэропланными
кольцами-
спиралями
сгрудились
по-над самой Москвой.
Расплывшись
во все
небесное лоно,
во весь
непреклонный
машинный дух,
враг летел,
наступал неуклонно.
Уже —
в четырех километрах,
в двух...

Вспыхивали
в черных рамках
известия
неизбежной ясности.
Радио
громко
трубило:
— Революция в опасности!—
Скрежещущие звуки
корежили
и спокойное лицо,—
это
завинчивала люки
Москва
подвальных жильцов.
Сверху
видно:
мура —
так толпятся;
а те —
в дирижаблях
да — на Урал.

Прихватывают
жен и детей.
Растут,
размножаются
в небесном ситце
надвигающиеся
машины-горошины.
Сейчас закидают!
Сейчас разразится!
Сейчас
газобомбы
обрушатся брошенные.
Ну что ж,
приготовимся
к смерти душной.
Нам ли
клониться,
пощаду моля?
Напрягшись
всей
силищей воздушной,
примолкла
Советская Земля.

Победа.

И вдруг...—
не верится!—
будто
кто-то
машины
вражьи
дернул разом.
На удивленье
полувылезшим
нашим пилотам,
те скривились
и грохнулись
наземь.
Не смея радоваться —
не подвох ли?

снизились, может,
землею шествуют? —
моторы
затараторили,
заохали,
ринулись
к месту происшествия.
Снизились,
к земле приникли...
В яме,
упавшими развороченной,—
обломки
алюминия,
никеля...
Без подвохов.
Так. Точно.
Летчики вылезли.
Лбы — складки.
Тысяча вопросов.
Ответ —
нем.
И лишь
под утро
радио-разгадка:
— Нью-Йорк.
Всем!
Всем!
Всем!

Радио.

Рабочих,
крестьян
и лётные кадры
приветствуют
летчики
первой эскадры.
Пусть
разиллюминуют
Москву
в миллион свечей.

С этой минуты
навек мину́ют
войны.
Мы —
эскадра москвичей —
прорвались.
Нас
не видели.
Под водой —
до Америки рейс.
Взлетели.
Ночью
громкоговорители
поставили.
И забасили
на Нью-Йорк, на весь.
«Рабочие!
Товарищи и братья!
Скоро ль
наций
дурман развеется?!
За какие серебреники,
по какой плате
вы
предаете
нас, европейцев?
Сегодня
натравливают:
— Идите!
Европу
окутайте
в газовый мор!—
А завтра
возвратится победитель,
чтоб здесь
на вас
навьючить ярмо.
Что вам
жизнь
буржуями да́рена?
Жмут
из вас
то кровь,
то пот.

Спаяйтесь
с нами
в одну солидарность.
В одну коммуну —
без рабов,
без господ!»
Полицейские —
за лисой лиса —
на аэросипедах...
Прожéктора полоса...
Напрасно!—
Качаясь мерно,
громкоговорители
раздували голоса
лучших
ораторов Коминтерна.
Ничего!
Ни связать,
ни забрать его —
радио.
Видим,
у них —
сумятица.
Вышли рабочие,
полиция пятится.
А город
будто
огни зажег —
разгорается
за флагом флажок.
Для нас
приготовленные мины
миллиардерам
кладут под домины.
Знаменами
себя
осеня,
атаковывают
арсенал.
Совсем как в Москве
столетья назад
Октябрьская
разрасталась гроза.

Берут,
на версты
гром разбаси́в,
ломают
замков
хитроумный массив.
Радиофорт...
Охраняющий —
скинут.
Атаковали.
Взят вполовину.
В другую!
Схватка,
с час горяча.
Ухватывают
какой-то рычаг.
Рванули...
еще крутнули...
Мгновение,—
и то чересчур —
мгновения менее,—
как с тыщи
струнищ
оборванный вой!
И тыща
чудовищ
легла под Москвой.

Радость.

В «ура» содрогающимся
ртам еще
хотелось орать
и орать до́сыта,—
а уже
во все небеса
телеграммищу
вычерчивала
радиороста:
«Мир!
Народы
кончили драться.

Да здравствует
минута эта!
Великая
Американская федерация
присоединяется
к Союзу советов!»
Сомнений —
ни в ком.
Подпись:
«Американский ревком».

Возвращение.

Утром
с запада
появились точки.
Неслись,
себя
и марш растя:
«Мы — летчики
республики
рабочих и крестьян.
Недаром
пролетали —
очищен
небий свод.
Крестьянин!
Пролетарий!
Снижайте самолет!
Скатились
вниз
заводчики,
по облакам свистя.
Мы летчики —
республики
рабочих и крестьян!
Не вступит
вражья
конница,
ни птица,
ни нога.
Наш летчик
всюду гонится
за силами врага.

Наш флаг
межзвезд полощется,
рабочью власть растя.
Мы — летчицы,
мы — летчики
рабочих и крестьян».

II

БУДУЩИЙ БЫТ

Сегодня.

Комната —
это,
конечно,
не роща.
В ней
ни пикников не устраивать,
ни сражений.
Но все ж
не по мне —
проклятая жилплощадь:
при моей,
при комплекции —
проживи на саже́ни!
Старики,
старухи,
дама с моською,
дети
без счета —
вот население.
Не квартира,
а эскимосское
или киргизское
копченое селение.
Ребенок —
это вам не щенок.
Весь день —
в работе упорной.
То он тебя
мячиком
сбивает с ног,

то
на крючок
запирает в уборной.
Меж скарбом —
тропинки,
крымских окольней.
От шума
взбесятся
и самые кроткие.
Весь день —
звонки,
как на колокольне.
Гуртом,
в одиночку,
протяжные,
короткие...
И за это
гнездо —
между клеток
и солений,
где негде
даже
приткнуть губу,
носишься
весь день,
отмахиваясь
от выселений
мандатом союзным,
бумажкой КУБУ.
Вернешься
ночью,
вымотан в городе.
Морда — в пене,—
смыть бы ее.
В темноте
в умывальной
лупит по морде
кем-то
талантливо
развешенное белье.
Бр-р-р-р!
Мутит
чад кухонный.
Встаю на корточки.

Тянусь
с подоконника
мордой к форточке.
Вижу,
в небесах —
возня аэропланова.
Приникаю
к стеклам,
в раму вбит.
Вот кто
должен
переделать наново
наш
сардиночный
унылый быт!

Будет.

Год какой-то
нолями разну́лится.
Отгремят
последние
битвы-грома.
В Москве
не будет
ни переулка,
ни улицы —
одни аэродромы
да дома.
Темны,
неясны
грядущие дни нам.
Но —
для шутки
изображу
грядущего гражданина,
проводящего
одни сутки.

Утро.

Восемь.
Кричит
радиобудильник вежливый:
«Товарищ —
вставайте,
не спите ежели вы!

Завод —
зовет.
Пока
будильнику
приказов нет?
До свидания!
Привет!»
Спросонок,
но весь —
в деловой прыти,
гражданин
включил
электросамобритель.
Минута —
причесан,
щеки —
даже
гражданки Милосской
Венеры глаже.
Воткнул штепсель,
открыл губы:
электрощетка —
юрк! —
и выблестила зубы.
Прислуг — никаких!
Кнопкой званная,
сама
под ним
расплескалась ванная.
Намылила
вначале —
и пошла:
скребет и мочалит.
Позвонил —
гражданину
под нос
сам
подносится
чайный поднос.
Одевается —
ни пиджаков,
ни брюк;

рубаха
номерами
не жмет узка.
Сразу
облекается
от пяток до рук
шелком
гениально скроенного куска.
В туфли —
пару ног...
В окно —
звонок.
Прямо
к постели
из небесных лон
впархивает
крылатый почтальон.
Ни — приказ выселиться,
ни — с налогом повестка.
Письмо от любимой
и дружеских несколько.
Вбегает сын,
здоровяк-
карапуз.
— До свидания,
улетаю в вуз.
— А где Ваня?
— Он
в саду
порхает с няней.

На работу.

Сквозь комнату — лифт.
Присел —
и вышел
на гладь
расцветоченной крыши.
К месту
работы
курс держа,

к самому
карнизу
подлетает дирижабль.
По задумчивости
(не желая надуть)
гражданин
попробовал
сесть на лету.
Сделав
самые вежливые лица,
гражданина
остановила
авиамилиция.
Ни протоколов,
ни штрафа бряцания...
Только —
вежливенькое
порицание.
Высунувшись
из гондолы,
на разные тона
покрикивает
знакомым летунам:
— Товарищ,
куда спешите?
Бросьте!
Залетайте
как-нибудь
с женою
в гости!
Если свободны —
часа на пол
запархивайте
на авиабол!
— Ладно!
А вы
хотите пересесть?
Садитесь,
местечко в гондоле есть! —
Пересел...
Пятнадцать минут.
И вот —

гражданин
прибывает
на место работ.

Труд.

Завод.
Главвоздух.
Делают вообще они
воздух
прессованный
для междупланетных сообщений.
Кубик
на кабинку — в любую ширь,
и сутки
сосновым духом дыши.
Так —
в век оный
из «Магги»
делали бульоны.
Так же
вырабатываются
из облаков
искусственная сметана
и молоко.
Скоро
забудут
о коровьем имени.
Разве
столько
выдоишь
из коровьего вымени!
Фабрика.
Корпусом сорокаярусным.
Слезли.
Сорок —
в рвении яростном.
Чисто-чисто.
Ни копотей,
ни сажи.
Лифт
развез
по одному на этаж.

Ни гуда,
ни люда!
Одна клавиатура —
вроде «Ундервуда».
Хорошо работать!
Легко — и так,
а тут еще
по радио —
музыка в такт.
Бей буквами,
надо которыми,
а все
остальное
доделается моторами.
Четыре часа.
Промелькнули мельком.
И каждый —
с воздухом,
со сметаной,
с молоком.
Не скукситесь,
как сонные совы.
Рабочий день —
четырехчасовый.
Бодро, как белка...
Еще бодрей.
Под душ!
И кончено —
обедать рей!

Обед.

Вылетел.
Детишки.
Крикнул:
— Тише! —
Нагнал
из школы
летящих детишек.
— Куда, детвора?
Обедать пора! —

Никакой кухни,
никакого быта!
Летают сервированные
аэростоловые Нарпита.
Стал
и сел.
Взял
и съел.
Хочешь — из двух,
хочешь — из пяти,—
на любой дух,
на всякий аппетит.
Посуда —
самоубирающаяся.
Поел —
и вон!
Подносит
к уху
радиофон.
Буркнул,
детишек лаская:
Дайте Чухломскую!
Коммуна Чухломская?..
Прошу —
Иванова Десятого! —
— Которого?
Бритого? —
— Нет.
Усатого!..
— Как поживаешь?
Добрый день.
— Да вот —
только
вылетел за плетень.
Пасу стадо.
А что надо? —
— Как что?!
Давно больно
не видались.
Залетай
на матч авиабольный.—

— Ладно!
Еще с часок
попасу
и спланирую
в шестом часу.
Может, опоздаю...
Думаю — не слишком.
Деревня
поручила
маленькое делишко.
Хлеба́ —
жарою мучимы,
так я
управляю
искусственными тучами.
Надо
сделать дождь,
да чтоб — без града.
До свидания! —

Занятия.

Теперь —
поучимся.
Гражданин
в минуту
подлетает
к Высшему
сметанному институту.
Сопоставляя
новейшие
технические данные,
изучает
в лаборатории
дела сметанные...
У нас пока —
различные категории занятий.
Скажем —
грузят чернорабочие,
а поэзия —
для духовной знати.

А тогда
не будет
более почетных
и менее...
И сапожники,
и молочницы —
все гении.

Игра.

Через час —
до́ма.
Отдых.
Смена.
Вместо блузы —
костюм спортсмена.
В гоночной,
всякого ветра чище,
прет,
захватив
большой мячище.
Небо —
в самолетах юрких.
Фигуры взрослых,
детей фигурки.
И старики
повылезли,
забыв апатию.
Красные — на желтых.
Партия — на партию.
Подбросят
мяч
с высотищи
с этакой,
а ты подлетай,
подхватывай сеткой.
Откровенно говоря,
футбол —
тоска.
Занятие
разве что —
для лошадиной расы.

А здесь —
хорошо!
Башмаки — не истаскать.
Нос
тебе
мячом не расквасят.
Все кувыркаются —
надо,
нет ли;
скользят на хвост,
наматывают петли.
Наконец
один
промахнется сачком.
Тогда:
— Ур-р-р-а!
Выиграли очко! —
Вверх,
вниз,
вперед,
назад,—
перекувырнутся
и опять скользят.
Ни вздоха запыханного,
ни кислой мины —
будто
не ответственные работники,
а — дельфины.
Если дождь налетает
с ветром в паре —
подымутся
над тучами
и дальше шпарят.
Стемнеет,
а игры бросить
лень;
догонят солнце,
и — снова день.
Наконец
устал
от подбрасывания,
от лова.

Снизился
и влетел
в окно столовой.
Кнопка.
Нажимает.
Стол чайный.
Сын рассказывает:
— Сегодня
случайно
крыло поломал.
Пересел к Петьке,
а то б
опоздал
на урок арифметики.
Освободились на час
(урока нету),
полетели
с Петькой
ловить комету.
Б-о-о-о-льшущая!
С версту — рост.
Еле
вдвоем
удержали за хвост.
А потом
выбросили —
большая больно.
В школу
кометы таскать
не позволено.—
Сестра:
— Сегодня
от ветра
скатился клубок
с трех тысяч метров.
Пришлось снизиться —
нитку наматывать.
Аж вся
от ветра
стала лохматовая.—
А младший
весь
в работу вник.

Сидит
        и записывает в дневник:
«Сегодня
            в школе —
                        практический урок.
Решали —
            нет
                или есть бог.
По-нашему —
                религия опиум.
Осматривали образ —
                        богову копию.
А потом
            с учителем
                        полетели по небесам.
Убеждайся — сам!
Небо осмотрели
                и внутри
                        и наружно.
Никаких богов,
                ни ангелов
                        не обнаружено».
А папаше,
            чтоб не пропал
                        ни единый миг,
радио
        выбубнивает
                    страницы книг...

Вечер.

Звонок.
        — Алло!
                Не разбираю имя я...
А!
  Это ты!
            Привет, любимая!
Еду!
    Немедленно!
                В пять минут
небо перемахну
                во всю длину.
В такую погоду
                прекрасно едется.

Жди
у облака —
под Большой Медведицей.
До свидания! —
Сел,
и попятились
площади,
здания...
Щека — к щеке,
к талии — талией,—
небо
раза три облетали.
По млечным путям
за кометной кривизной,
а сзади —
жеребенком —
аэроплан привязной.
Простор!
Тебе —
не Петровский парк,
где все
протерто
задами парок.
На ходу
рассказывает
бывшее
в двадцать пятом году.
— Сегодня
слушал
радиокнижки.
Да...
это были
не дни, а днишки.
Найдешь комнатенку,
и то — не мед.
В домком давай,
фининспектору данные.
А тут — благодать!
Простор —
не жмет.
Мироздание!

Возьмем — наудачу.
Тогда
весной
тащились на дачу.
Ездили
по железной дороге.
Пыхтят
и ползут понемножку.
Все равно,
что ласточку
поставить на нóги,
чтоб шла,
ступая
с ножки на ножку.
Свернуть,
пойти по лéсу —
нельзя!
Соблюдай рельсу.
А то еще
в древнее время
были
так называемые
автомобили.
Тоже —
мое почтеньице —
способ сообщеньица!
По воздуху —
нельзя.
По воде —
не может.
Через лес —
нельзя.
Через дом —
тоже.
Ну, скажите,
это машина разве?
Шины лопаются,
неприятностей —
масса.
Даже
на фонарь
не мог взлазить.

Сейчас же —
ломался.
Теперь захочу —
и в сторону ринусь.
А разве —
езда с паровозом!
Примус!
Теперь
приставил
крыло и колёса
да вместе с домом
взял
и понесся.
А захотелось
остановиться —
вот тебе — Винница,
вот тебе — Ницца.
Больным
во время оное
прописывались
солнечные ванны.
Днем
и то,
сложивши ручки —
жди,
чтобы вылез
луч из-за тучки.
А нынче
лети
хоть с самого полюса.
Грейся!
Пользуйся!..—
Любимой
дни ушедшие мнятся.
А под ними
города,
селения
проносятся
в иллюминации —
ежедневные увеселения!
Радиостанция
Урала

на всю
на Сибирь
концерты орала.
Шаля,
такие ноты наляпаны,
что с зависти
лопнули б
все Шаляпины.
А дальше
в кинематографическом раже
по облакам —
верстовые миражи.
Это тебе
не «Художественный»
да «Арс»,
где в тесных стенках —
партер да ярус.
От земли
до самого Марса
становись,
хоть партером,
хоть ярусом.
Наконец —
в грядущем
и это станется —
прямо
по небу
разводят танцы.
Не топоча,
не вздымая пыль,
грациозно
выгибая крылья,
наяривают
фантастическую кадриль.
А в радио —
буря кадрилья.
Вокруг
миллионы
летающих столиков.
Пей и прохлаждайся —
позвони только.
Безалкогольное.
От сапожника
и до портного —

никто
не выносит
и запаха спиртного.
Больному —
рюмка норма,
и то
принимает
под хлороформом.
Никого
не мутит
никакая строфа.
Не жизнь,
а — лафа!
Сообщаю это
к прискорбию
товарищей поэтов.
Не то что нынче —
тысячами
высыпят
на стихи,
от которых дурно.
А тут —
хорошо!
Ни диспута,
ни заседания ни одного —
культурно!
Полдвенадцатого.
Радио проорал:
— Граждане!
Напоминаю —
спать пора! —
От быстроты
засвистевши аж,
прямо
с суматохи бальной
гражданин,
завернув
крутой вираж,
влетает
в окно спальной.
Слез с самолета.
Кнопка.
Троньте!

Самолет сложился
и — в угол,
как зонтик.
Разделся.
В мембрану —
три слова:
— Завтра
разбудить
в полвосьмого! —
Повернулся
на бок
довольный гражданин,
зевнул
и закрыл веки.
Так
проводил
свои дни
гражданин
в XXX веке.

III

ПРИЗЫВ.

Крылатых
дней
далека дата.
Нескоро
в радости
крикнем:
— Вот они! —
Но я —
грядущих дней агитатор —
к ним
хоть на шаг
подвожу сегодня.
Чтоб вам
уподобиться
детям птичьим,
в гондолу
в уютную
сев,—

огнем вам
в глаза
ежедневно тычем
буквы —
О. Д. В. Ф.
Чтоб в будущий
яркий,
радостный час вы
носились
в небе любом —
сейчас
летуны
разбиваются насмерть,
в Ходынку
вплющившись лбом.
Чтоб в будущем
веке
жизнь человечья
ракетой
неслась в небеса —
и я,
уставая
из вечера в вечер,
вот эти
строки
писал.
Рабочий!
Крестьянин!
Проверь на ощупь,
что
и небеса —
твой!
Стотридцатимиллионною мощью
желанье
лететь
напои!
Довольно
ползать, как вошь!
Найдем —
разгуляться где бы!
Даешь
небо!

Сами
выкропим рожь —
тучи
прольем над хлебом.
Даешь
небо!
Слов
отточенный нож
вонзай
в грядущую небыль!
Даешь
небо!

1925

ХОРОШО!

Октябрьская поэма

1

Время —
вещь
необычайно длинная,—
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.

Я хочу,
чтобы, с этою
книгой побыв,
из квартирного
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы,
как штыком,
строкой
просверкав.
Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого,—
в мускулы
усталые
лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день
воспевать
никого не наймем.
Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.

2

«Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —
невмоготу.

Врали:
«народа —
свобода,
вперед,
эпоха,
заря...» —
и зря.
Где
земля,
и где
закон,
чтобы землю
выдать
к лету? —
Нету!
Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь? —
Шиш.
На шее
кучей
Гучковы,
черти,
министры,
Родзянки...
Мать их зá ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит —
чего
подчиняться
ей?!.
Бей!!»

То громом,
то шепотом
этот ропот
сползал
из Керенской
тюрьмы-решета.

В деревни
шел
по травам и тропам,
в заводах
сталью зубов скрежетал.
Чужие
партии
бросали швырком.
— На что им
сбор
болтунов
дался́?! —
И отдавали
большевикам
гроши,
и силы,
и голоса.
До са́мой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава,—
лила́сь
и слы́ла,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
— у-у-у!
Сила! —

3

Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,

раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял
и кру́жевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
бонапартьи
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
своею славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
«Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который,—
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы

сама
на руках носила!»
В аплодисментном
плеске
премьер
проплывает
над Невским,
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розáнчики.
Если ж
с безработы
загрустится,
сам
себя
уверенно и быстро
назначает —
то военным,
то юстиции,
то каким-нибудь
еще
министром.
И вновь
возвращается,
сказанув,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
«Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите
этот,
как его,—
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!

Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!
Их величество?
Знаю.
Ну да!..
И руку жал.
Какая ерунда!
Императора?
На воду?
И черную корку?
При чем тут Совет?
Приказываю
туда,
в Лондон,
к королю Георгу».
Пришит к истории,
пронумерован
и скре́плен,
и его
рисуют —
и Бродский и Репин.

4

Петербургские окна.
Синё и темно.
Город
сном
и покоем скован.
НО
не спит
мадам Кускова.
Любовь
и страсть вернулись к старушке.

Кровать
и мечты
розоватит восток.
Ее
волóс
пожелтелые стружки
причудливо
склеил
слезливый восторг.
С чего это
девушка
сохнет и вянет?
Молчит...
но чувство,
видать, великó.
Ее
утешает
усастая няня,
видавшая виды,—
Пе Эн Милюков.
«Не спится, няня...
Здесь так душно...
Открой окно
да сядь ко мне».
— Кускова,
что с тобой? —
«Мне скушно...
Поговорим о старине».
— О чем, Кускова?
Я,
бывало,
хранила
в памяти
немало
старинных былей,
небылиц —
и про царей
и про цариц.
И я б,
с моим умишкой хилым,—
короновала б
Михаила.

Чем брать
династию
чужую...
Да ты
не слушаешь меня?! —
«Ах, няня, няня,
я тоскую.
Мне тошно, милая моя.
Я плакать,
я рыдать готова...»
— Господь помилуй
и спаси...
Чего ты хочешь?
Попроси.
Чтобы тебе
на нас
не дуться,
дадим свобод
и конституций...
Дай
окроплю
речей водою
горящий бунт...—
«Я не больна.
Я...
знаешь, няня...
влюблена...»
— Дитя мое,
господь с тобою! —
И Милюков
ее
с мольбой
крестил
профессорской рукой.
— Оставь, Кускова,
в наши лета
любить
задаром
смысла нету.—
«Я влюблена»,—
шептала
снова
в ушко
профессору
она.

— Сердечный друг,
ты нездорова.—
«Оставь меня,
я влюблена».
— Кускова,
нервы,—
полечись ты...—
«Ах, няня,
он
такой речистый...
Ах, няня-няня!
няня!
Ах!
Его же ж
носят на руках.
А как поет он
про свободу...
Я с ним хочу,—
не с ним,
так в воду».
Старушка
тычется в подушку,
и только слышно:
«Саша! —
Душка!»
Смахнувши
слезы
рукавом,
взревел усастый нянь:
— В кого?
Да говори ты нараспашку! —
«В Керенского...»
— В какого?
В Сашку? —
И от признания
такого
лицо
расплы́лось
Милюкова.
От счастия
профессор о́жил:
— Ну, это что ж —
одно и то же!

При Николае
и при Саше
мы
сохраним доходы наши.—

Быть может,
на брегах Невы
подобных
дам
видали вы?

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штабс-капитан
Попов.
«Господин адъютант,
не возражайте,
не дам,—
скажите,
чего еще
поджидаем мы?
Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конешно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положенье беря,
это...
черт его знает, что это такое!

Сегодня с денщиком:
ору ему
— эй,
наваксь
щиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! —
И конешно —
к матушке,
а он *меня*
к *моей*,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!»
«Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами,
НО
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна.
А мы —
Азия-с!
Я даже —
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конешно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.

Деньги
штаба —
шпионы и аге́нты.
В Кресты бы
тех,
кто ездит в пломбиро́ванном!»
«С этим согласен,
это конешно,
этой сволочи
мало повешено».
«Ленина,
который
смуту сеет,
председателем,
што ли,
совета министров?
Что ты?!
Рехнулась, старушка Рассея?
Касторки прими!
Поправьсь!
Выздоровь!
Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря
политикам ловким
быть
под началом
Бронштейна бескартузого,
какого-то
бесштанного
Лёвки?!
Дудки!
С казачеством
шутки плохи́ —
повыпускаем
им
потроха...»
И все адъютант
— ха да хи —
Попов
— хи да ха.—
«Будьте дважды прокляты
и трижды поколейте!

Господин адъютант,
позвольте ухо:
их
...ревосходительство
...ерал
Каледин,
с Дону,
с плеточкой,
извольте понюхать!
Его превосходительство...
Да разве он один?!
Казачество кубанское,
Днепр,
Дон...»
И всё стаканами —
дон и динь,
и шпорами —
динь и дон.
Капитан
упился, как сова.
Челядь
чайники
бесшумно подавала.
А в конце у Лиговки
другие слова
подымались
из подвалов.
«Я,
товарищи,—
из военной бюры.
Кончили заседание —
то́ка-то́ка.
Вот тебе,
к маузеру,
двести бери,
а это —
сто патронов
к винтовкам.
Пока
соглашатели
замазывали рты,
подходит
казатчина
и самокатчина.

Приказано
питерцам
идти на фронты,
а сюда
направляют с Гатчины.
Вам,
которые
с Выборгской стороны,
вам
заходить
с моста Литейного.
В сумерках,
тоньше
дискантовой струны,
не галдеть
и не делать
заведенья питейного.
Я
за Лашевичем
беру телефон,—
не задушим,
так нас задушат.
Или
возьму телефон,
или вон
из тела
пролетарскую душу.
Сам
приехал,
в пальтишке рваном,—
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —
поздно.
Завтра, значит.
Ну, несдобровать им!
Быть
Керéнскому
биту и ободрану!

Уж мы
подымем
с царёвой кровати
эту
самую
Александру Федоровну».

6

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрáми,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.

Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.

В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший —
«В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..»

Видят
редких звезд глаза,

окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.

А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.

Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе
не деться!
Ото всех
идут
застав
К Зимнему
красногвардейцы.

Отряды рабочих,
матросов,
голи —
дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.
Две тени встало.
Огромных и шатких.

Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.
Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей,—
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы:
«В политику...
начали...
бáловаться...
Куда
против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б
на штурм».
Но тень
боролась,
спутав лапы,—
и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый —
уходил
от испуга,
от нервá.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати

михайловцы или константиновцы...
А Ке́ренский —
спрятался,
попробуй
вымань его!

Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.

И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.

А в Зимнем,
в мягких мебеля́х
с бронзовыми вы́крутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их потрясут.
Голос — редок.
Шепотом,
знаками.
— Ке́ренский где-то? —
— Он?
За казаками.—
И снова молча.

И только
под вечер:
— Где Прокопович?—
— Нет Прокоповича.—
А из-за Николаевского
чугунного моста́,
как смерть,
глядит
неласковая
Аврорьих
башен
сталь.
И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна,—
над Петропавловской
взви́лся
фонарь,

восстанья
условный знак.
— Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! —
Ворва́лись.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
комнаты по́лня,
текли,
сливались
над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями о́ранной
монархам,
несущим
короны-клады,—
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
гремели,
бились
сапоги и приклады.
Какой-то
смущенный
сукин сын,
а над ним
путиловец —
нежней папаши:

«Ты,
парнишка,
выкладай
ворованные часы —
часы
теперича
наши!»
Топот рос
и тех
тринадцать
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забились
под галстук —
за что им приняться? —
Как будто
топор
навис над затылком.

За двести шагов...
за тридцать...
за двадцать...
Вбегает
юнкер:
«Драться глупо!»
Тринадцать визгов:
— Сдаваться!
Сдаваться! —
А в двери —
бушлаты,
шинели,
тулупы...
И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».
И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,

объявил,
как об чем-то простом
и несложном:
«Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным».
А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо:
— и это будет...—
пели:
— и это есть
наш последний...—

До рассвета
осталось
не больше аршина,—
руки
лучей
с востока взмолены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Кончено...
в Смольный».
Умолк пулемет.
Угодил толков.
Умолкнул
пуль
звенящий улей.
Горели,
как звезды,
грани штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрáми.
Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

7

В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и вóры.
Сумрак
на мир
океан катнýл.
Синь.
Над кострами —
бур.
Подводной
лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.
И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов
непрерывная буря.

На воду
сумрак
похож и так —
бездонна
синяя прорва.
А тут
еще
и виденьем кита
туша
Авророва.
Огонь
пулеметный
площадь остриг.
Набережные —
пусты́.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых.
И здесь,
где земля
от жары вязка́,
с испугу
или со льда́,
ладони
держа
у огня в языках,
греется
солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья

разлазится
каждым швом».
Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока...
Незнакомки,
дымки севера
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
«Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...
библиотéку в усадьбе».

Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.

Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
Работники
и батраки.
Зажмите,
косарь и кователь,
винтовку
в железо руки!
Вверх —
флаг!
Рвань —
встань!
Враг —
ляг!
День —
дрянь.
За хлебом!
За миром!
За волей!
Бери
у буржуев
завод!
Бери
у помещика поле!
Братайся,
дерущийся взвод!
Сгинь —
стар.
В пух,
в прах.
Бей —
бар!
Трах!
тах!
Довольно,
довольно,
довольно
покорность
нести
на горбах.
Дрожи,
капиталова дворня!

Тряситесь,
короны,
на лбах!
Жир
ёжь
страх
плах!
Трах!
тах!
Тах!
тах!

Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян —
и вставали села,
содрогая воем,
по дороге
топоры крестя.
Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мещика.
Гос-
по-
дин
по-
мещичек,
со-
би-
райте
вещи-ка!
До-
шло
до поры,

вы-
хо-
ди,
босы,
вос-
три
топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба-
рыни сами.
Тащь
в хату
пианино,
граммофон с часами!
Под-
хо-
ди-
те, орлы!
Будя —
пограбили.
Встречай в колы,
провожай
в грабли!
Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарчи-ка!
Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.
Под-
пусть
петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
потухай,—
пет-
тух милый!

Черт
ему
теперь
родня!
Головы —
кочаном.
Пулеметов трескотня
сыпется с тачанок.
«Эх, яблочко,
цвета ясного.
Бей
справа
белаво,
слева краснова».

Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.

8

Холод большой.
Зима здорова́.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В *наши* вагоны,
на *нашем* пути,

наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два,—
но *мы* —
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.
Но *мы*
работаем,
будто *мы*
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
все стерпя,
чтоб жизнь,
колёса дней торопя,
бежала
в железном марше
в *наших* вагонах,
по *нашим* степям,
в города
промерзшие
наши.

«Дяденька,
что вы делаете тут,
столько
больших дядéй?»
— Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.

9

Перед нашею
республикой
стоят богатые.
Но как постичь ее?
И вопросам
разнедоуменным
нет числа:
что это
за нация такая
«социалистичья»,
и что это за
«соци-
алистическое отечество»?

«Мы
восторги ваши
понять бессильны.
Чем восторгаются?
Про что поют?
Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?
Что вы знали,
кроме хлеба и воды,—
с трудом
перебиваясь
со дня на день?
Такого отечества
такой дым
разве уж
настолько приятен?
За что вы
идете,
если велят —
«воюй»?
Можно
быть
разорванным бомбищей,

можно
умереть
за землю за *свою*,
но как
умирать
за общую?
Приятно
русскому
с русским обняться,—
но у вас
и имя
«Россия»
утеряно.
Что это за
отечество
у забывших об нации?
Какая нация у вас?
Коминтерина?
Жена,
да квартира,
да счет текущий —
вот это —
отечество,
райские кущи.
Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали б
и смерть
и молодечество».

Слушайте,
национальный трутень,—
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.

10

Политика —
проста.
Как воды глоток.
Понимают
ощерившие
сытую пасть,
что если
в Россиях
увязнет коготок,
всей
буржуазной птичке —
пропа́сть.
Из «сюртэ́ женера́ль»,
из «инте́ллидженс се́рвис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.
Набились в трюмы,
палубы обсели
на деньги
вербовочного а́гентства.
В Новороссийск
плывут из Марселя,
из Дувра
плывут к Архангельску.
С песней,
с виски,
сыты по-свински.
Килями
вскопаны
воды холодные.

Смотрят
перископами
лодки подводные.
Плывут крейсера,
снаряды соря.
И
миноносцы
с минами носятся.
А
поверх
всех
с пушками
чудовищной длинноты
сверх-
дредноуты.
Разными
газами
воняя гадко,
тучи
пропеллерами выдрав,
с авиаматки
на авиаматку
пе-
ре-
пархивают «гидро».
Послал
капитал
капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское,—
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.

Стоит
морей владычица,
бульдожья
Британия.
Со всех концов
блокады кольцо
и пушки
смотрят в лицо.
— Красным не нравится?!
Им
голодно́?!
Рыбкой
наедитесь,
пойдя
на дно.—
А кому
на суше
грабить охота,
те
с кораблей
сходили пехотой.
— На море потопим,
на суше
потопаем.—
Чужими
руками
жар гребя,
дым
отечества
пускают
пострелины —
выставляют
впереди
одураченных ребят,
баронов
и князей недорасстрелянных.

Могилы копайте,
гроба копи́те —
Юденича
рати
прут
на Питер.

В обозах
едý вкýснятся,
консервы —
пуд.
Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехи,
с ним
идут
голубые чехи.
Траншеи,
машинами выбранные,
саперами
Крым
перекопан, —
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.
Любят
полковников
сентиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.
— Я
иду, мол,
(прихлебывает виски),
а на меня
десяток
чудовищ
большевицких.
Раз — одного,
другого —
ррраз, —

кстати,
как денди,
и девушку спас.—
Леди,
спросите
у мерина сивого —
он
как Мурманск
разизнасиловал.
Спросите,
как —
Двина-река,
кровью
крашенная,
трупы
вы́тая,
с кладью
страшною
шла
в Ледовитый.
Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного,
да и тот скручен.
Как офицера́
его
величества
бежали
от выстрелов,
берег вычистя.
Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холёные
туго
у горл.
Но...
«итс э лонг уэй
ту Типерери,
итс э лонг уэй
ту го!»

На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,
и эти
и те...
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратэрнитэ́» и «эгалитэ́»! [1]
Свинцовый
льется
на нас
кипяток.
Одни мы —
и спрятаться негде.
«Янки
дудль
кип ит об,
янки дудль денди».
Посреди
винтовок
и орудий голосища
Москва —
островком,
и мы на островке.
Мы —
голодные,
мы —
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом в руке.

[1] братство и равенство (*фр.*— fraternité, égalité).

11

Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Веэсэнха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.
Теперь здесь
всякие
и люди
и классы.
Зимой
в печурку-пчелку
суют
тома шекспирьи.
Зубами
щелкают,—
картошка —
пир им.
А летом
слушают асфальт
с копейками
в окне:
— Трансваль,
Трансваль,
страна моя,
ты вся
горишь
в огне! —
Я в этом
каменном
котле
варюсь,
и эта жизнь —
и бег, и бой,
и сон,
и тлен —

в домовьи
этажи
отражена
от пят
до лба,
грозою
омываемая,
как отражается
толпа
идущими
трамваями.
В пальбу
присев
на корточки,
в покой
глазами к форточке,
чтоб было
видней,
я
в комнатенке-лодочке
проплыл
три тыщи дней.

12

Ходят
спекулянты
вокруг Главтопа.
Обнимут,
зацелуют,
убьют за руп.
Секретарши
ответственные
валенками топают.
За хлебными
карточками
стоят лесорубы.
Много
дела,
мало
горя им,
фунт
— целый! —
первой категории.

Рубят,
липовый
чай
выкушав:
— Мы
не Филипповы,
мы —
привыкши.
Будет
обед,
будет
ужин,—
белых бы
вон
отбить от ворот.
Есть захотелось,
пояс —
потуже,
в руки винтовку
и
на фронт.—
А
мимо —
незаменимый.
Стуча
сапогом,
идет за пайком —
Правление
выдало
урюк
и повидло.
Богатые —
ловче,
едят
у Зунделовича.
Ни щей,
ни каш —
бифштекс
с бульоном,
хлеб
ваш,
полтора миллиона.
Ученому
хуже:

фосфор
нужен,
масло
на блюдце.
Но,
как нáзло,
есть революция,
а нету
масла.

Они
научные.
Напишут,
вылечат.
Мандат, собственноручный,
Анатоль Васильича.
Где
хлеб
да мясá,
придут
на час к вам.
Читает
комиссар
мандат Луначарского:
«Так...
сахар...
так...
жирок вам.
Дров...
березовых...
посуше поленья...
и шубу
широкого
потребленья.
Я вас,
товарищ,
спрашиваю в упор.
Хотите —
берите
головной убор.
Приходит
каждый
с разной блажью.

Берите
пока што
ногу
лошажью!»

Мех
на глаза,
как баба-яга,
идут
назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
В уборную
иду.
На Ярославский.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный.
Полено —
тушею,
тверже камня.

Как будто
вспухшее
колено
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами-сапогами.

Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
обли́т.
По розовой
глади
мо́ря,
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.
Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,

бросишь
и мчишь, колеся,—
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

14

Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто на́век
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь.
Я
дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы-
водники —
не очень
сытенькие,
не очень
голодненькие.
Если
я
чего написал,

если
чего
сказал —
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал —
чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости,
две морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфект да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту

и пол-
полена
березовых дров.
Мокрые,
тощие
под мышкой
дровинки,
чуть
потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
щелки.
Зелень
и ласки
выходили глазки.
Больше
блюдца,
смотрят
революцию.

Мне
легше, чем всем,—
я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусок
конский.
Скрип —
дверь,
плача.
Сестра
младшая.
— Здравствуй, Володя!
— Здравствуй, Оля!
— Завтра новогодие —
нет ли
соли?—
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.

Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не ва́лится —
примерзла
к пальцам.
За стенкой
шарк:
«Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена».
Окно,—
с него
идут
снега,
мягка
снегов
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.

Прилип
к скале
лесов
скелет.
И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи
к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:
Я
землю
эту
люблю.

Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал,—
нельзя
никогда
забыть!

15

Под ухом
самым
лестница
ступенек на двести,—
несут
минуты-вестницы
по лестнице
вести.
Дни пришли
и топали:
— До́жили,
вот вам,—
нету
топлив
брюхам
заводовым.
Дымом
небесный
лак помутив,
до самой трубы,
до носа
локомотив
стоит
в заносах.
Положив
на валенки
цветные заплаты,

из ворот,
            из железного зёва,
снова
       шли,
            ухватясь за лопаты,
все,
     кто мобилизован.
Вышли
        за́ лес,
вместе
        взя́лись.
Я ли,
        вы ли,
откопали,
            вырыли.
И снова
            поезд
                   ка́тит
за снежную
              скатерть.
Слабеет
            тело
без ед
        и питья,
носилки сделали,
руки сплетя.
Теперь
         запевай,
                   и домой можно —
да на руки
              положено
пять обмороженных.

Сегодня
            на лестнице,
                           грязной и тусклой,
копались
            обывательские
                              слухи-свиньи.
Деникин
            подходит
                        к са́мой,
                              к тульской,

к пороховой
сердцевине.
Обулись обыватели,
по пыли печатают
шепотоголосые
кухарочьи хоры́.
— Будет...
крупичатая!..
пуды непочатые...
ручьи — чай́,
сухари,
сахары́.
Бли-и-и-зко беленькие,
береги ке́ренки!—
Но город
проснулся,
в плакаты кадрованный,—
это
партия звала:
«Пролетарий, на коня!»
И красные
скачут
на юг
эскадроны —
Мамонтова
нагонять.
Сегодня
день
вбежал второпях,
криком
тишь
порвав,
простреленным
легким
часто хрипя,
упал
и кончался,
кровав.
Кровь
по ступенькам
стекала на́ пол,
стыла
с пылью пополам

и снова
на пол
каплями
капала
из-под пули
Каплан.
Четверолапые
зашагали,
визг
шел
шакалий.
Салоп
говорит
чуйке,
чуйка
салопу:
— Заерзали
длинноносые щуки!
Скоро
всех
слопают!—
А потом
топырили
глаза-тарелины
в длинную
фамилий
и званий тропу.
Ветер
сдирает
списки расстрелянных,
рвет,
закручивает
и пускает в трубу.
Лапа
класса
лежит на хищнике —
Лубянская
лапа
Че-ка.
— Замрите, враги!
Отойдите, лишненькие!
Обыватели!
Смирно!
У очага!—

Миллионный
класс
вставал за Ильича
против
белого
чудовища клыкастого,
и вливалось
в Ленина,
леча,
этой воли
лучшее лекарство.
Хоронились
обыватели
за кухни,
за пеленки.
— Нас не трогайте —
мы
цыпленки.
Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
время,
вашу пасть!
Мы обыватели —
нас обувайте вы,
и мы
уже
за вашу власть.—
А утром
небо —
веча звóнница!
Вчерашний
день
виня во лжи,
расколоколивали
птицы и солнце:
жив,
жив,
жив,
жив!
И снова
дни
чередой заводнóй

сбегались
              и просили:
— Идем
            за нами —
                           «еще
                                  одно
усилье».—
От боя к труду —
                        от труда
                                    до атак,—
в голоде,
             в холоде
                        и наготе
держали
            взятое,
                      да так,
что кровь
             выступала из-под ногтей.
Я видел
            места,
                     где инжир с айвой
росли
         без труда
                      у рта моего,—
к таким
           относишься
                          и́наче.
Но землю,
              которую
                          завоевал
и полуживую
                  вынянчил,
где с пулей встань,
                         с винтовкой ложись,
где каплей
              льешься с массами,—
с такою
           землею
                    пойдешь
                              на жизнь,
на труд,
           на праздник
                            и на́ смерть!

16

Мне
рассказывал
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что
вышел я
из дверей,
вижу —
они плывут...»
Бегут
по Севастополю
к дымящим пароходам.
За де́нь
подметок стопали,
как за́ год похода.
На рейде
транспорты
и транспорточки,
драки,
крики,
ругня,
мотня,—
бегут
добровольцы,
задрав порточки,—
чистая публика
и солдатня.
У кого —
канарейка,
у кого —
роялина,
кто со шкафом,
кто
с утюгом.
Кадеты —
на что уж
люди лояльные —
толкались локтями,
крыли матюгом.

Забыли приличия,
бросили моду,
кто —
без юбки,
а кто —
без носков.
Бьет
мужчина
даму
в морду,
солдат
полковника
сбивает с мостков.
Наши наседали,
крыли по трапам,
кашей
грузился
последний эшелон.
Хлопнув
дверью,
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего
вышел он.
Глядя
на́ ноги,
шагом
резким
шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
го́ло.
Лодка
шестивёсельная
стоит
у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.

Трижды
землю
поцеловавши,
трижды
город
перекрестил.
Под пули
в лодку прыгнул...
— Ваше
превосходительство,
грести? —
— Грести! —
Убрали весло.
Мотор
заторкал.
Пошла
весело́
к «Алмазу»
моторка.
Пулей
пролетела
штандартная яхта.
А в транспортах-галошинах
далеко,
сзади,
тащились
оторванные
от станка и пахот,
узлов
полтораста
накручивая за́ день.
От родины
в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру,
в Дарданеллы узкие,
плыли
завтрашние галлиполийцы,
плыли
вчерашние русские.
Впе-
реди
година на године.

Каждого
трясись,
который в каске.
Будешь
доить
коров в Аргентине,
будешь
мереть
по ямам африканским.
Чужие
волны
качали транспорты,
флаги
с полумесяцем
бросались в очи,
и с транспортов
за яхтой
гналось —
«Аспиды,
сперли казну
и удрали, сволочи».
Уже
экипажам
оберегаться
пули
шальной
надо.
Два
миноносца-американца
стояли
на рейде
рядом.
Адмирал
трубой обвел
стреляющих
гор
край:
— Ол
райт.—
И ушли
в хвосте отступающих свор,—
орудия на город,
курс на Босфор.

В духовках солнца
горы́
жарко́е.
Воздух
цветы рассиропили.
Наши
с песней
идут от Джанкоя,
сыпятся
с Симферополя.
Перебивая
пуль разговор,
знаменами
бой
овевая,
с красными
вместе
спускается с гор
песня
боевая.
Не гнулась,
когда
пулеметом крошило,
вставала,
бесстрашная,
в дожде-свинце:
«И с нами
Ворошилов,
первый красный офицер».
Слушают
пушки,
морские ведьмы,
у-
ле-
петывая
во винты во все,
как сыпется
с гор
— «готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!» —
Начштаба
морщит лоб.

Пальцы
корявой руки
буквы
непослушные гнут:
«Врангель
оп-
раки-
нут
в море.
Пленных нет».
Покамест —
точка
и телеграмме
и войне.
Вспомнили —
недопахано,
недожато у кого,
у кого
доменные
топки да зóри.
И пошли,
отирая пот рукавом,
расставив
на вышках
дозоры.

17

Хвалить
не заставят
ни долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол —
отстроить, умыв.
Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.

Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая —
на сажень вижу,
из-под нее
коммуны
дома
прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам
с унылым
пудом сенца́,
и поворачиваются
к тракторам
крестьян
заскорузлые сердца.
И планы,
что раньше
на станциях лбов
задерживал
нищенства тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.

И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!

18

На девять
сюда
октябрей и маёв,
под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.
Сюда,
под траур
и плеск чернофлажий,
пока
убитого
кровь горяча,
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
кричать
и рычать.
Я
здесь
бывал
в барабанах стучащих
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —

просто
один.
Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхие шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,
притворствуют
церкви,
монашьи шельмы.
Ночь —
и на головы нам
луна.
Она
идет
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.
Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голову,
и вновь
голова-лунь
уносится
с камня
голого.
Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.

И лунным
пламенем
озарена мне
площадь
в сиянье,
в яви
в денной...
Стена —
и женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лег под стеной.
Облил
булыжники
лунный никель,
штыки
от луны
и тверже
и злей,
и,
как нагроможденные книги,—
его
Мавзолей.
Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка́,—
души́
не смущу
мертвизной,—
он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.
Но могилы
не пускают,—
и меня
останавливают имена.
Читаю угрюмо:
«товарищ Красин».

И вижу —
Париж
и из окон Дорио...
И Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся,
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась,—
и кровью
газета
намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое
такой,
с каким
портретами сжились,—
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».
Кто костьми,
кто пеплом
стенам под стопу

улеглись...
А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отрава.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуну
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель? —
Тише, товарищи, спите...
Ваша
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.

И снова
шорох
в пепельной вазе,
лепечут
венки
языками лент:
— А в ихних
черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи? —
Нет!
В мире
насилья и денег,
тюрем
и петель витья —
ваши
великие тени
ходят,
будя
и ведя.
— А вас
не тянет
всевластная тина?
Чиновность
в мозгах
паутину
не сви́ла?
Скажите —
цела?
Скажите —
едина?
Готова ли
к бою
партийная сила? —
Спите,
товарищи, тише...
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки ощетинивши,
с первым
приказом:
«Вперед!»

19

Я
  земной шар
чуть не весь
          обошел,—
и жизнь
          хороша,
и жить
          хорошо.
А в нашей буче,
          боевой, кипучей,—
и того лучше.
Вьется
          улица-змея.
Дома
          вдоль змеи.
Улица —
          моя.
Дома —
          мои.
Окна
          разинув,
стоят
          магазины.
В окнах
          продукты:
вина,
          фрукты.
От мух
          кисея.
Сыры
          не засижены.
Лампы
          сияют.
«Цены
          снижены».
Стала
          опериться
моя
          кооперация.
Бьем
          грошом.
Очень хорошо.

Грудью
у витринных
книжных груд.
Моя
фамилия
в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
это
мой труд
вливается
в труд
моей республики.
Пыль
взбили
шиной губатой —
в моем
автомобиле
мои
депутаты.
В красное здание
на заседание.
Сидите,
не совейте
в моем
Моссовете.
Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя
милиция
меня
бережет.
Жезлом
правит,
чтоб вправо
шел.
Пойду
направо.
Очень хорошо.
Надо мною
небо.
Синий
шелк!

Никогда
не было
так
хорошо!
Тучи-
кочки
переплыли летчики.
Это
летчики мои.
Встал,
словно дерево, я.
Всыпят,
как пойдут в бои,
по число
по первое.
В газету
глаза:
молодцы — ве́нцы!
Буржуя́м
под зад
наддают
коленцем.
Суд
жгут.
Зер
гут [1].
Идет
пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
передовица
угроз паршой.
Чтоб им подавиться.
Грозят?
Хорошо.
Полки
идут
у меня на виду.

---

[1] Очень хорошо (*нем.*— Sehr gut).

Барабану
в бока
бьют
войска.
Нога
крепка,
голова
высока.
Пушки
ввозятся,—
идут
краснозвездцы.
Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.
Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг.
Воздуха́ береги.
Пых-дых,
пых-
тят
мои фабрики.
Пыши,
машина,
шибче-ка,
вовек чтоб
не смолкла,—
побольше
ситчика
моим
комсомолкам.

Ветер
подул
в соседнем саду.
В ду-
хах
про-
шел.
Как хо-
рошо!
За городом —
поле.
В полях —
деревеньки.
В деревнях —
крестьяне.
Бороды
веники.
Сидят
папаши.
Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр
работа любá.
Сеют,
пекут
мне
хлебá.
Доят,
пашут,
ловят рыбицу.
Республика наша
строится,
дыбится.
Другим
странам
пó сто.
История —
пастью гроба.

А моя
страна —
подросток,—
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до ста́
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

1927

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Первое вступление в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем г....,
наших дней изучая потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш ученый,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.

Засадила садик мило,
дочка,
дачка,
водь
и гладь —
сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки —
кто их к черту разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н...»
Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,
где харкает туберкулез,
где б... с хулиганом
да сифилис.
И мне
агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы
строчить
романсы на вас —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,

я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко́
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
но он дойдет не так,—
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска

с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,

как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
она врывалась в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них.
Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плетется слава
в похоронном марше —
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши!
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди,—
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,

как «проституция»,
«туберкулез»,
«блокада».
Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай быстрей протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на́ дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Декабрь 1929 — январь 1930

<НЕОКОНЧЕННОЕ>

<I>

Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
разбрасываю разломавши
так рвут загадав и пускают
по маю
венчики встречных ромашек
пускай седины обнаруживает стрижка и бритье
Пусть серебро годов вызванивает
уймою
надеюсь верую вовеки не придет
ко мне позорное благоразумие

<II>

Уже второй
должно быть ты легла
А может быть
и у тебя такое
Я не спешу
И молниями телеграмм
мне незачем
тебя
будить и беспокоить

<III>

море уходит вспять
море уходит спать
Как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете
И не к чему перечень
взаимных болей бед и обид

<IV>

Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить
как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете и не к чему перечень
взаимных болей бед и обид
Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданию

<V>

Я знаю силу слов я знаю слов набат
Они не те которым рукоплещут ложи
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек
Бывает выбросят не напечатав не издав
Но слово мчится подтянув подпруги
звенит века и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки
Я знаю силу слов Глядится пустяком
Опавшим лепестком под каблуками танца
Но человек душой губами костяком

1928—1930



ПЬЕСЫ

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Трагедия

ПРОЛОГ
ДВА ДЕЙСТВИЯ
ЭПИЛОГ

ДЕЙСТВУЮТ:

Владимир Маяковский (поэт 20—25 лет).
Его знакомая (сажени 2—3. Не разговаривает).
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет).
Человек без глаза и ноги.
Человек без уха.
Человек без головы.
Человек с растянутым лицом.
Человек с двумя поцелуями.
Обыкновенный молодой человек.
Женщина со слезинкой.
Женщина со слезой.
Женщина со слезищей.
Газетчики, мальчики, девочки и др.

ПРОЛОГ

В. Маяковский

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.

С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.
Замечали вы —
качается
в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода —
в ваших душах выцелован раб.
Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам понес в веках;
с душой натянутой, как нервы про́вода,
я —
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги,—
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.
А я, прихрамывая душонкой,

уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Весело. Сцена — город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду — железного сельдя с вывески, золотой огромный калач, складки желтого бархата.

В. Маяковский

Милостивые государи!
Заштопайте мне душу,
пустота сочиться не могла бы.
Я не знаю, плевок — обида или нет.
Я сухой, как каменная баба.
Меня выдоили.
Милостивые государи,
хотите —
сейчас перед вами будет танцевать
замечательный поэт?

Входит старик с черными сухими кошками. Гладит. Весь — борода.

В. Маяковский

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.
Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем.
Сегодня в вашем кричащем тосте
я овенчаюсь моим безумием.

Сцена постепенно наполняется. Человек без уха. Человек без головы и др. Тупые. Стали беспорядком, едят дальше.

В. Маяковский

Граненых строчек босой алмазник,
взметя перины в чужих жилищах,
зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.

Старик с кошками

Оставь.
Зачем мудрецам погремушек потеха?
Я — тысячелетний старик.
И вижу — в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.
Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.
А свечи и лампы в галдящем споре
покрыли шепоты зорь.
Ведь мягкие луны не властны над нами,—
огни фонарей и нарядней и хлеще.
В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
А с неба на вой человечьей орды
глядит обезумевший бог.
И руки в отрепьях его бороды,
изъеденных пылью дорог.
Он — бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.
Бросьте его!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!
Громадные брюха возьмете хвастливо,
лоснящихся щек надуете пышки.
Лишь в кошках,
где шерсти вороньей отливы,
наловите глаз электрических вспышки.
Весь лов этих вспышек
(он будет обилен!)
вольем в провода,
в эти мускулы тяги,—
заскачут трамваи,
пламя светилен
зареет в ночах, как победные стяги.
Мир зашевéлится в радостном гриме,
цветы испавлинятся в каждом окошке,

по рельсам потащат людей,
а за ними
все кошки, кошки, черные кошки!
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.
Бросьте квартиры!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!

Человек без уха

Это — правда!
Над городом
— где флюгеров древки —
женщина
— черные пещеры век —
мечется,
кидает на тротуары плевки,—
а плевки вырастают в огромных калек.
Отмщалась над городом чья-то вина,—
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.

Окружают.

Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту —
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш.

Все в волнении.

И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш гу́бы.
Я ходил, подергиваясь,
руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!
Господа!
Остановитесь!

Разве это можно?!
Даже переулки засучили рукава для драки.
А тоска моя растет,
непонятна и тревожна,
как слеза на морде у плачущей собаки.

Еще тревожнее.

Старик с кошками

Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!

Человек с растянутым лицом

А может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?

Человек без уха

Многие вещи сшиты наоборот.
Сердце не сердится,
к злобе глухо.

Человек с растянутым лицом
(радостно поддакивает)

И там, где у человека вырезан рот,
многим вещам пришито ухо!

В. Маяковский
(поднял руку, вышел в середину)

Злобой не мажьте сердец концы!
Вас,
детей моих,
буду учить непреклонно и строго.
Все вы, люди,
лишь бубенцы
на колпаке у бога.
Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.
Я искал
ее,

невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.
(Остановился.)
И опять,
как раб
в кровавом поте,
тело безумием качаю.
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»
(Остановился.)
Я — поэт,
я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных.
А сегодня
на желтый костер,
спрятав глубже слёзы морей,
я взведу и стыд сестер
и морщины седых матерей!
На тарелках зализанных зал
будем жрать тебя, мясо, век!

Срывает покрывало. Громадная женщина. Боязливо. Вбегает О б ы к н о в е н н ы й м о л о д о й ч е л о в е к. Суетится.

В. М а я к о в с к и й
(в стороне — тихо)

Милостивые государи!
Говорят,
где-то,
— кажется, в Бразилии —
есть один счастливый человек!

О б ы к н о в е н н ы й м о л о д о й ч е л о в е к
(подбегает к каждому, цепляется)

Милостивые государи!
Стойте!

Милостивые государи!
Господин,
господин,
скажите скорей:
это здесь хотят сжечь
матерей?
Господа!
Мозг людей остер,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костер
из сокровищ знаний и книг!
Я придумал машинку для рубки котлет.
Я умом вовсе не плох!
У меня есть знакомый —
он двадцать пять лет
работает
над капканом для ловли блох.
У меня жена есть,
скоро родит сына или дочку,
а вы — говорите гадости!
Интеллигентные люди!
Право, как будто обидно.

Человек без уха

Молодой человек,
встань на коробочку!

Из толпы

Лучше на бочку!

Человек без уха

А то вас совсем не видно!

Обыкновенный молодой человек

И нечего смеяться!
У меня братец есть,
маленький,—
вы придете и будете жевать его кости.
Вы всё хотите съесть!

Тревога. Гудки. За сценой крики: «Штаны, штаны!»

В. Маяковский

Бросьте!

Обыкновенного молодого человека обступают со всех сторон.

Если б вы так, как я, голодали —
дали
востока и запада
вы бы глодали,
как гложут кость небосвода
заводов копченые рожи!

Обыкновенный молодой человек

Что же,—
значит, ничто любовь?
У меня есть Сонечка сестра!
(На коленях.)
Милые!
Не лейте кровь!
Дорогие,
не надо костра!

Тревога выросла. Выстрелы. Начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба. Загудело железо крыш.

Человек с растянутым лицом

Если б вы так, как я, любили,
вы бы убили любовь
или лобное место нашли
и растлили б
шершавое потное небо
и молочно-невинные звезды.

Человек без уха

Ваши женщины не умеют любить,
они от поцелуев распухли, как губки.

Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо площади.

Человек с растянутым лицом

А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!

Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины. Взваливают на плечи. Тащат.

Вместе

Идем,—
где за святость
распяли пророка,

тела отдадим раздетому плясу,
на черном граните греха и порока
поставим памятник красному мясу.

Дотаскивают до двери. Оттуда торопливые шаги. Человек без глаза и ноги. Радостный. Безумие надорвалось. Женщину бросили.

Человек без глаза и ноги

Стойте!
На улицах,
где лица —
как бремя,
у всех одни и те ж,
сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж!
Смех!
Перед мордами вылезших годов
онемели земель старожилы,
а злоба
вздувала на лбах городов
ре́ки —
тысячеверстые жилы.
Медленно,
в ужасе,
стрелки во́лос
подымался на лысом темени времен.
И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли —
одни! —
без человечьих ляжек!
Пьяный —
разинув черную пасть —
вывалился из спальни комод.

Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes» [1].
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-кокотки
игриво щурятся.
Я летел, как ругань.
Другая нога
еще добегает в соседней улице.
Что же,
вы,
кричащие, что я калека?! —
старые,
жирные,
обрюзгшие враги!
Сегодня
в целом мире не найдете человека,
у которого
две
одинаковые ноги!

Занавес

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги.

Человек без глаза и ноги
(услужливо)

Поэт!
Поэт!
Вас объявили князем.
Покорные
толпятся за дверью,
пальцы сосут.
Перед каждым положен наземь
какой-то смешной сосуд.

В. Маяковский

Что же,
пусть идут!

Робко. Женщины с узлами. Много кланяются.

[1] Платья и моды *(фр.)*.

Первая

Вот это слезка моя —
возьмите!
Мне не нужна она.
Пусть.
Вот она,
белая,
в шелке из нитей
глаз, посылающих грусть!

В. Маяковский
(беспокойно)

Не нужна она,
зачем мне?
(Следующей.)
И у вас глаза распухли?

Вторая
(беспечно)

Пустяки!
Сын умирает.
Не тяжко.
Вот еще слеза.
Можно на туфлю.
Будет красивая пряжка.

В. Маяковский испуган.

Третья

Вы не смотрите,
что я
грязная.
Вымоюсь —
буду чище.
Вот вам и моя слеза,
праздная,
большая слезища.

В. Маяковский

Будет!
Их уже гора.
Да и мне пора.
Кто этот очаровательный шатен?

Газетчики

Фигаро!
Фигаро!
Матэн!

Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают. Говорят вперебой.

Смотрите —
какой дикий!
Отойдите немного.
Темно.
Пустите!
Молодой человек,
не икайте!

Человек без головы

И-и-и-и...
Э-э-э-э...

Человек с двумя поцелуями

Тучи отдаются небу,
рыхлы и гадки.
День гиб.
Девушки воздуха тоже до золота падки,
и им только деньги.

В. Маяковский

Что?

Человек с двумя поцелуями

Деньги и деньги б!

Голоса

Тише!
Тише!

Человек с двумя поцелуями
(танец с дырявыми мячами)

Большому и грязному человеку
подарили два поцелуя.
Человек был неловкий,
не знал,
что с ними делать,
куда их деть.

Город,
весь в празднике,
возносил в соборах аллилуйя,
люди выходили красивое надеть.
А у человека было холодно,
и в подошвах дырочек овальцы.
Он выбрал поцелуй,
который побольше,
и надел, как калошу.
Но мороз ходил злой,
укусил его за пальцы.
«Что же,—
рассердился человек,—
я эти ненужные поцелуи брошу!»
Бросил.
И вдруг
у поцелуя выросли ушки,
он стал вертеться,
тоненьким голосочком крикнул:
«Мамочку!»
Испугался человек.
Обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце,
понес домой,
чтобы вставить в голубенькую рамочку.
Долго рылся в пыли по чемоданам
(искал рамочку).
Оглянулся —
поцелуй лежит на диване,
громадный,
жирный,
вырос,
смеется,
бесится!
«Господи! —
заплакал человек,—
никогда не думал, что я так устану.
Надо повеситься!»
И пока висел он,
гадкий,
жаленький,—
в будуарах женщины
— фабрики без дыма и труб —
миллионами выделывали поцелуи,

всякие,
большие,
маленькие,—
мясистыми рычагами шлепающих губ.

Вбежавшие дети-поцелуи
(резво)

Нас массу выпустили.
Возьмите!
Сейчас остальные придут.
Пока — восемь.
Я —
Митя.
Просим!

Каждый кладет слезу.

В. Маяковский

Господа!
Послушайте,—
я не могу!
Вам хорошо,
а мне с болью-то как?

Угрозы:

Ты поговори еще там!
Мы из тебя сделаем рагу,
как из кролика!

Старик с одной ощипанной кошкой

Ты один умеешь песни петь.
(На груду слёз.)
Отнеси твоему красивому богу.

В. Маяковский

Пустите сесть!

Не дают. В. Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом.

Хорошо!
Дайте дорогу!
Думал —
радостный буду.

Блестящий глазами
сяду на трон,
изнеженный телом грек.
Нет!
Век,
дорогие дороги,
не забуду
ваши ноги худые
и седые волосы северных рек!
Вот и сегодня —
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок.
Рядом луна пойдет —
туда,
где небосвод распорот.
Поравняется,
на секунду примерит мой котелок.
Я
с ношей моей
иду,
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно
грудь рвет
океан-изувер.
Я добреду —
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер.

Занавес

ЭПИЛОГ

В. Маяковский

Я это все писал
о вас,
бедных крысах.
Жалел — у меня нет груди:
я кормил бы вас доброй нененькой.
Теперь я немного высох,
я — блаженненький.
Но зато
кто
где бы
мыслям дал
такой нечеловечий простор!
Это я
попал пальцем в небо,
доказал:
он — вор!
Иногда мне кажется —
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский.

1913

МИСТЕРИЯ-БУФФ

Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

«Мистерия-буфф» — дорога. Дорога революции. Никто не предскажет с точностью, какие еще горы придется взрывать нам, идущим этой дорогой. Сегодня сверлит ухо слово «Ллойд-Джордж», а завтра имя его забудут и сами англичане. Сегодня к коммуне рвется воля миллионов, а через полсотни лет, может быть, в атаку далеких планет ринутся воздушные дредноуты коммуны.

Поэтому, оставив дорогу (форму), я опять изменил части пейзажа (содержание).

В будущем все играющие, ставящие, читающие, печатающие «Мистерию-буфф», меняйте содержание,— делайте содержание ее современным, сегодняшним, сиюминутным.

ДЕЙСТВУЮТ:

1. Семь пар чистых: 1) Негус абиссинский, 2) Раджа индийский, 3) Турецкий паша, 4) Российский спекулянт, 5) Китаец, 6) Упитанный перс, 7) Клемансо, 8) Немец, 9) Поп, 10) Австралиец, 11) Жена австралийца, 12) Ллойд-Джордж, 13) Американец и 14) Дипломат.
2. Семь пар нечистых: 1) Красноармеец, 2) Фонарщик, 3) Шофер, 4) Шахтер, 5) Плотник, 6) Батрак, 7) Слуга, 8) Кузнец, 9) Булочник, 10) Прачка, 11) Швея, 12) Машинист, 13) Эскимос-рыбак и 14) Эскимос-охотник.
3. Соглашатель.
4. Интеллигенция.
5. Дама с картонками.
6. Черти: 1) Вельзевул, 2) Обер-черт, 3) Вестовой, 4) 2-й вестовой, 5) Караульный, 6) 20 чистых с рогами и хвостами.
7. Святые: 1) Мафусаил, 2) Жан-Жак Руссо, 3) Лев Толстой, 4) Гавриил, 5) Ангел, 6) 2-й ангел и 7) ангелы.

8. Саваоф.
9. Действующие Земли обетованной: 1) Молот, 2) Серп, 3) Машины, 4) Поезда, 5) Автомобили, 6) Рубанок, 7) Клещи, 8) Игла, 9) Пила, 10) Хлеб, 11) Соль, 12) Сахар, 13) Материя, 14) Сапог, 15) Доска с рычагом.
10. Человек будущего.

МЕСТА ДЕЙСТВИЙ

1. Вся вселенная. 2. Ковчег. 3. Ад. 4. Рай. 5. Страна обломков. 6. Земля обетованная.

ПРОЛОГ

Нечистый

Через минуту
мы вам покажем...
Мистерию-буфф.
Должен сказать два слова я:
это
вещь новая.
Чтобы выше головы прыгнуть,
надо чтоб кто-нибудь помог.
Перед новой пьесой
необходим пролог.
Во-первых,
почему
весь театр разворочен?
Благонамеренных людей
это возмутит очень.
Вы для чего ходите на спектакли?
Для того, чтобы удовольствие получить —
не так ли?
А велико ли удовольствие смотреть,
если удовольствие только на сцене;
сцена-то —
всего одна треть.
Значит,
в интересном спектакле,
если все застроишь,
то и удовольствие твое увеличится втрое ж,
а если
спектакль неинтересный,
то не стоит смотреть
и на одну треть.

Для других театров
представлять не важно:
для них
сцена —
замочная скважина.
Сиди, мол, смирно,
прямо или наискосочек
и смотри чужой жизни кусочек.
Смотришь и видишь —
гнусят на диване
тети Мани
да дяди Вани.
А нас не интересуют
ни дяди, ни тети,—
теть и дядь и дома найдете.
Мы тоже покажем настоящую жизнь,
но она
в зрелище необычайнейшее театром превращена.
Суть первого действия такая:
земля протекает.
Потом — топот.
Все бегут от революционного потопа.
Семь пар нечистых
и чистых семь пар,
то есть
четырнадцать бедняков-пролетариев
и четырнадцать буржуев-бар,
а меж ними,
с парой заплаканных щечек —
меньшевичочек.
Полюс захлестывает.
Рушится последнее убежище.
И все начинают строить
даже не ковчег,
а ковчежище.
Во втором действии
в ковчеге путешествует публика:
тут тебе и самодержавие,
и демократическая республика,
и наконец
за борт,
под меньшевистский вой,
чистых сбросили вниз головой.

В третьем действии показано,
что рабочим
ничего бояться не надо,
даже чертей посреди ада.
В четвертом —
смейтесь гуще! —
показываются райские кущи.
В пятом действии разруха,
разинув необъятный рот,
крушит и жрет.
Хоть мы работали и на голодное брюхо,
но нами
была побеждена разруха.
В шестом действии —
коммуна,—
весь зал,
пой во все глотки!
Смотри во все глаза!

Всё готово?
И ад?
И рай?

Из-за сцены.

Г-о-т-о-в-о!

Давай!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

На зареве северного сияния шар земной, упирающийся полюсом в лед пола. По всему шару лестницами перекрещиваются канаты широт и долгот. Между двух моржей, подпирающих мир, эскимос-охотник, уткнувшись пальцем в землю, орет другому, растянувшемуся перед ним у костра.

Охотник

Эйе!
Эйе!

Рыбак

Горланит.
Дела другого нет —
пальцем землю тыркать.

Охотник

Дырка!

Рыбак

Где дырка?

Охотник

Течет!

Рыбак

Что течет?

Охотник

Земля!

Рыбак
(вскакивая, подбегая и засматривая под зажимающий палец)

О-о-о-о!
Дело нечистых рук.
Черт!
Пойду предупрежу Полярный
круг.

Бежит. На него из-за склона мира наскакивает выжимающий рукава немец. Секунду ищет пуговицу и, не найдя, ухватывает шерсть шубы.

Немец

Гер эскимос!
Гер эскимос!
Страшно спешно!
Пара минут...

Рыбак

Ну?

Немец

Так вот — сегодня сижу я это у себя в ресторане
на Фридрихштрассе.
В окно солнце
так и манит.
День,
как буржуй до революции, ясен.
Публика сидит
и тихо шейдеманит.

Суп съев,
смотрю я на бутылочные эйфели.
Думаю:
за какой мне приняться беф?
Да и приняться мне за беф ли?
Смотрю —
и в горле застрял обед:
что-то неладное с Аллеей Побед.
Каменные Гогенцоллерны,
стоявшие меж ромашками,
вдруг полетели вверх тормашками.
Гул.
На крышу бегу.
Виясь вокруг трактирного остова,
безводный прибой,
суетне вперебой,
бежал,
кварталы захлестывал.
Берлин — тревожного моря бред,
невидимых волн басовые ноты.
И за,
и над,
и под,
и пред —
домов дредноуты!
И прежде чем мыслью раскинуть мог,
от Фоша ли это или от...

Рыбак

Скорей!

Немец

Я весь
до ниточки взмок.
Смотрю —
все сухо,
но льется, и льется, и льет.
И вдруг,
крушенья Помпеи помпезней, картина разверзлась —
с корнем
Берлин был вырван
и вытоплен в бездне,
у мира в расплавленном горне.
Я очнулся на гребне текущих сёл.

Я весь свой собрал яхт-клубский опыт,—
и вот
перед вами,
милейший,
всё,
что осталось теперь от Европы.

Рыбак

Н-н-немного...

Немец

Успокоится, конечно...
Дня-с на два-с.

Рыбак

Да говори ты без этих европейских юлений!
Чего тебе надо? Тут не до вас.

Немец
(показывая горизонтально)

Разрешите мне около ваших многоуважаемых тюленей.

Рыбак досадливо машет рукой костру, идет в другую сторону — предупреждать Круг — и натыкается на выбегающих из-за другого склона измокших австралийцев.

Рыбак
(отступая в удивлении)

А еще омерзительней не было лиц?!

Австралиец с женой
(вместе)

Мы — австралийцы.

Австралиец

Я — австралиец.
Все у нас было.
Как-то-с:
утконос, пальма, дикобраз, кактус...

Австралийка
(плача в нахлынувшем чувстве)

А теперь
пропали мы,
все пропало:
и кактусы,

и утконосы,
и пальмы —
все утонуло...
все на дне...

Рыбак
(указывая на разлегшегося немца)

Вот идите к ним.
А то они одне.

Собравшись вновь идти, эскимос остановился, прислушиваясь к двум голосам с двух сторон земного шара.

Первый голос

Котелок, у-ту!

Второй

Цилиндр, у-ту!

Первый

Крепчает!
Держитесь за северную широту!

Второй

Яреет!
Хватайтесь за южную долготу!

По канатам широт и долгот скатываются с земного шара англичанин и француз. Каждый водружает национальное знамя.

Англичанин

Знамя водружено.
Хозяин полный в снежном лоне я.

Француз

Нет, извините!
Я раньше водрузил.
Это — моя колония.

Англичанин
(раскладывая какие-то товары)

Нет — моя,
я уже торгую.

Француз
(начиная сердиться)

Нет — моя,
а вы себе поищите другую.

Англичанин
(взъярясь)

Ах, так!
Да чтобы ты погиб!

Француз
(взъярясь)

Ах, так!
Насажу я тебе шишку на нос!

Англичанин
(лезет с кулаками на француза)

Англия, гип-гип!

Француз
(лезет с кулаками на англичанина)

Вив ла Франс! [1]

Австралиец
(бросается разнимать)

Ну и народ!
Не народ, а сброд чистый:
уже ни империй нет,
ни империалов,
а они все еще морду друг другу бьют.

Рыбак

Эх, вы,
империалисты!

Немец

Бросьте, что вы, право!

Рыбак

Ну и орава!

Прямо на голову вновь собравшемуся идти эскимосу низвергается наш купчина.

Купец

Почтенные,
это безобразие!
Да рази я Азия?
«Уничтожить Азию» — постановление совнеба.
Да я и в жисть азиатом не был!
(Успокоившись немного.)

---

[1] Да здравствует Франция! (*фр.*— Vive la France!) .

Вчера в Туле
сижу я спокойно в стуле.
Как рванет двери!
Ну, думаю —
из Чека!
У меня, сами понимаете,
аж побледнела щека.
Но
бог многомилостив на свете:
оказывается, не Чека — ветер.
Крапнуло немного,
потом пошло,
дальше — больше,
больше — выше,
хлынуло в улицы,
рвануло крыши...

Все

Тише!
Тише!

Француз

Слышите?
Слышите топот?

Множество приближающихся голосов.

Потоп! потопом! потопу! о потопе! потопа!

Англичанин
(в ужасе)

О, господи!
Несчастие — как из трубы водосточной,
а тут еще этот вопрос восточный.

Впереди негус, за ним — китаец, перс, турок, раджа, поп, соглашатель. Шествие замыкают вливающиеся со всех сторон все семь пар нечистых.

Негус

Хоть чуть чернее снегу-с,
но тем не менее
я абиссинский негус.
Мое почтенье.
Я покинул сейчас мою Африку.
Извивался в ней Нил, удав-река.

Как взъярился Нил, царство сжав в реку,
и потопла в нем моя Африка.
Хоть нет именья,
но тем не менее...

Рыбак
(досадливо)

...но тем не менее
мое почтенье.
Слыхали, слыхали!

Негус

Прошу не забываться —
с вами говорит негус,
и негус хочет кушать.
Что это?
Должно быть, вкусная собачка?

Рыбак

Я те дам — собачка!
Это морж, а не собачка.

Негус по ошибке пытается сесть на похожего как две капли воды на моржа Ллойд-Джорджа.

Рыбак

Иди садись, да никого не запачкай.

Англичанин
(перепуганно)

Это не я морж,
это он морж,
а я не морж,
я Ллойд-Джордж.

Рыбак
(обращаясь к остальным)

А вам чего?

Китаец

Ничего!
Ничего!
Утоп мой Китай!

Перс

Персия,
моя Персия пошла на дно!

Раджа

Даже Индия,
поднебесная Индия, и та!

Паша

И от Турции осталось воспоминание одно!

Из толпы чистых прорывается **дама** с бесконечным количеством картонок.

Дама

Осторожней!
Не рвите!
Шелк тонкий!
(Рыбаку.)
Мужик,
помоги поставить картонки.

Голос
(из толпы чистых)

Какая милая!
Какая пикантная!..

Рыбак

Дармоедка праздная!

Француз

Вы какой будете нации?

Дама

Нация у меня самая разнообразная.
Сначала была русской —
Россия мне стала узкой.
Эти большевики — такой ужас!
Я женщина изящная,
с душою тонкой —
я взяла и стала эстонкой.
Стали большевики наседать на окраины —
я и стала гражданкой Украины.
Брали Харьков раз десять —
я в какой-то республике устроилась в Одессе.
Одессу взяли, Врангель в Крыму —
я взяла и подчинилась ему.
Гнали белых по морю и по полю —
я уже турчанка.
Гуляю по Константинополю.

Стали большевики подходить ближе —
а я уже парижанка.
Гуляю в Париже.
Наций сорок переменила, признаться, я —
теперь у меня камчатская нация.
Какое паршивое на полюсах лето:
нельзя показать ни одного туалета!

Рыбак
(прикрикивает на чистых)

Тише!
Тише!
Что это за гул?

Соглашатель
(в истерике отделяется от толпы)

Послушайте!
Я не могу!
Послушайте!
Что же это такое?
Сухого места на свете нет!
Послушайте!
Оставьте меня в покое!
Отпустите меня домой,
в кабинет!
Послушайте!
Я не могу!
Я думал, потоп по Каутскому будет.
И волки сыты,
и овцы целы.
А теперь —
убивают друг друга люди.
Милые красные!
Милые белые!
Послушайте, я не могу!

Француз

Да не трите глаз...
не кусайте губ...
(Придвигающимся к костру нечистым, заносчиво.)
А вы которых наций?!

Нечистые
(вместе)

По свету всему гоняться
привык наш бродячий народина.
Мы никаких не наций,
труд наш — наша родина.

Француз

Старые арии!

Испуганные голоса чистых

Это пролетарии!
Пролетарии...
Пролетарии...

Кузнец
(французу, похлопывая его по изрядному животу)

Шум потопа, небось, в ушах-то?

Прачка
(ему же, насмешливо и визгливо)

Лег бы сейчас и уснул на кровати?
Пустить бы тебя в окопы да в шахты!

Красноармеец
(грозно)

Пошел бы в окопы —
в окопах мокроватей.

Видя назревающий «конфликт» между чистыми и нечистыми, разнимать их бросается соглашатель.

Соглашатель

Милые! Ну, не надо! Не подымайте ругань!
Бросьте друг на друга коситься.
Протяните руки,
обнимите друг друга.
Господа, товарищи,
надо согласиться.

Француз
(злобно)

Чтоб я согласился?
Это уж слишком!

Рыбак
(злобно. И рыбак и француз костыляют шею соглашателю)

Ах ты, соглашатель!
Ах ты, соглашателишка!

Соглашатель
(отбегая, побитый, скулит)

Ну вот,
опять...
Я ему по-хорошему,
а он...
Так вот всегда:
зовешь согласиться,
а тебе наложат с двух сторон.

Нечистые проходят, разделяя брезгливо жмущуюся толпу чистых, рассаживаются у костра. Толпа чистых смыкается за ними в круг.

Паша
(вылазит в середину)

Правоверные!
Надо обсудить, что же произошло.
Давайте вникнем в суть явления.

Купец

Дело простое —
светопреставление.

Поп

А по-моему — потоп.

Француз

И вовсе не потоп,
а то б
дождик был.

Раджа

Да,
не было дождика.

Дипломат

Значит, и эта идея тоже дика...

Паша

Но все-таки —
что же, правоверные, произошло?
Давайте, правоверные, посмотрим в корень.

Купец

Народ, по-моему, стал непокорен.

Немец

Думаю, война, я.

Интеллигенция

Нет,
по-моему, причина иная.
По-моему, метафизическое...

Купец
(недовольно)

Война — метафизическое!
Начали с Адама!

Голоса

По очереди!
По очереди!
Не устраивайте содома.

Паша

Тс!
Давайте говорить постепенно.
Ваше слово, студент!
(Оправдывается перед толпой.)
А то у него даже на губах пена.

Интеллигент

Сначала
все было просто:
день сменила ночь,
и только
заря чересчур разнебесилась áло.
Потом —
законы,
понятия,
веры,
гранитные кучи столиц
и самого солнца недвижная рыжина, —

все стало как будто немного текуче,
ползуче немного,
немного разжижено.
Потом как прольется!
Улицы льются,
растопленный дом низвергается нá дом.
Весь мир,
в доменных печах революций расплавленный,
льется сплошным водопадом.

Голос китайца

Господа! Внимание!
Сюда моросят!

Жена австралийца

Хорошенькое моросят!
Измочило, как поросят.

Перс

Может, конец мира близок,
а мы
митингуем, орем и ржем.

Дипломат
(жмется к полюсу)

Становитесь сюда!
Теснее!
Здесь не закапает.

Купец
(наддавая коленкой зажимающего дыру с присущим этому народу терпением эскимоса)

Эй, ты!
Пошел к моржам!

Охотник-эскимос отлетает, и из открытой дыры забила в присутствующих струя. Веером рассыпались чистые, нечленораздельно оря.

И-и-и-и-и!
У-у-у-у-у!
А-а-а-а-а!

Через минуту все бросаются к струе.

Забить!

Заткнуть!
Зажать!

Отхлынули. Только австралиец остался у земного шара с пальцем в дыре. В общем переполохе взгромоздился на пару поленьев поп.

Поп

Братие!
Лишаемся последнего вершка!
Последний дюйм заливает водой!

Голоса нечистых
(тихо)

Кто это?
Кто этот шкаф с бородой?

Поп

Сие на сорок ночей и на сорок ден!

Купец

Правильно!
Господь надоумил умно его.

Интеллигенция

В истории был подобный прецедент —
вспомните знаменитое приключение Ноево.

Купец
(водворяясь на место попа)

Это глупости —
и история, и прецедент, и воопче...

Голоса

Ближе к делу!

Купец

Давайте, братцы, построим копчег.

Жена австралийца

Правильно! Ковчег!

Интеллигенция

Вот охота!
Пароход построим.

Раджа

Два парохода!

Купец

Правильно!
Весь капитал вложу!
Те спаслись, а мы умнее тех, никак.

Общий гул

Да здравствует,
да здравствует техника!

Купец

Подымите руки —
кто за.

Общий гул

И рук не надо,
видно за глаза.

И чистые и нечистые подымают руки.

Француз
(заняв место купца, со злобой осматривает кузнеца, поднявшего руку)

И ты туда же?
Да и не тщись ты!
Господа,
давайте не возьмем нечистых!
Будут знать, как нас ругать!

Голос плотника

А ты умеешь пилить и строгать?

Француз
(поникая)

Я передумал.
Возьмем нечистых.

Купец

Только отберем непьющих и плечистых.

Немец
(влезая на место француза)

Т-с-с, господа,
может быть, еще и не придется мириться с
нечистыми.
К счастью,
мы не знаем, что с пятой частью света.

Галдите, и даже не побеспокоились узнать,
есть меж нами американцы ли.

Купец
(радостно)

Ну и голова!
Не человек, а германский канцлер!

Радость прорезает крик австралийки.

Что это?

Прямо из зала к напряженно вглядывающимся врывается американец на мотоцикле.

Американец

Милостивые государи,
где здесь строят ковчег?
(Протягивает бумагу.)
Вот
от утопшей Америки
на двести миллиардов чек.

Молчаливое уныние. И вдруг вопль зажимающего воду австралийца.

Австралиец

Чего разглазелись? Будет пялиться!
Ей-богу, выну!
Коченеют пальцы!

Чистые засуетились, трутся к нечистым.

Француз
(кузнецу)

Ну что, товарищи,
построим, а?

Незлобивый кузнец

А мне что,
по мне хоть...
(Машет рукой нечистым.)
Айда, товарищи!
Ехать, так ехать.

Нечистые подымаются. Пилы. Рубанки. Молотки.

Соглашатель

Поскорее, товарищи,
поскорее, милые!..

За работу!
В руки топоры и пилы!

Интеллигент
(отходит в сторону)

Работать —
и не подумаю даже.
Сяду себе вот тут
и займусь саботажем.
(Кричит на работающих.)
Живей поворачивайся!
Руби, да не промахивайся мимо!

Плотник

А ты чего сидишь, руки сложивши?

Интеллигент

Я спец, я незаменимый...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Палуба ковчега. По всем направлениям панорама рушащихся в волны земель. В низкие облака упирается запутанная веревками лестница-мачта. В стороне рубка и вход в трюм. Чистые и нечистые выстроились по близкому борту.

Батрак

Н-да!
Не хотел бы я нынче за борт.

Швея

Глянь-ка туда:
не волна, а забор!

Купец

Зря я это с вами спутался.
Всегда вот так,
без толка.
Мореплаватели тоже!
Нашли морского волка.

Фонарщик

Ишь поднесла!
Гудит и стенает.

Швея

Какой там забор!
Закрыло стеною!

Француз

Да-с.
Очень глупо-с!
Говорю вам с прискорбием и болью-с.
Сидели б.
Земля еще держится.
Какой ни на есть, а все-таки полюс.

Батрак

Что волки твои,
волнищами ляскают.

Оба эскимоса, шофер
и австралийцы
(сразу)

Глядите,
что это?
Что с Аляскою?

Негус

Ну и метнулась!
Что камень пращой.

Немец

Ухнулась!

Эскимос

Нет ее!

Рыбак

Нет!

Все

Прощай! Прощай! Прощай!

Француз
(расплакался, придавленный воспоминаниями)

Боже мой!..
Боже мой!..

Бывало,
всей семьей
соберемся у чайного столика —
плюшки,
икорка...

Булочник
(отмеряя кончик ногтя)

Чудно, ей-богу!
Ну, не жаль вот
ни столько.

Сапожник

Я водчонки припас.
Найдется рюмка?

Слуга

Найдется.

Рудокоп

Ребята,
идемте в трюм-ка!

Эскимос-охотник

Ну, как моржонок?
Не очень поджарый ли?

Слуга

Ничего не поджарый,
славно поджарили.

Чистые одни. Нечистые спускаются в трюм, подпевая.

Что терять нам? Испугаться нам потопа ли?
Разустали ножки — по свету потопали!
Эх, и отдых в пароходах.
Эх!
И моржонка съесть и водочки хлебнуть не грех...
Эх, не грех!

Чистые окружили расхныкавшегося француза.

Перс

Стыдно, право!
Бросьте орать-то!

Купец

Перебьемся как-нибудь,
доползем до Арарата.

Негус

С голоду подохнешь, пока гора-то.

Американец

Деньжищ уйма,
а без пищи не до́хнешь едва.
Даю за фунт хлеба полмиллиона
николаевок
и бриллиантов фунта два.

Купец

Спекулировал.
В Чека сидел раза три.
А на черта мне теперь эти деньги?!

Китаец

Плюнь да разотри.

Паша

Что бриллианты!
Теперь, если у человека камни в печени,
то и то чувствуешь себя обеспеченней —
быдто брюхо набито.

Австралиец

Никакой жратвы,
одно корыто.

Соглашатель

А тут еще и Сухаревка закрыта.

Купец
(к попу)

Ничего, смиренный инок,
теперь на каждой площади Смоленский рынок.

Дама

И масло, и молоко, и сливки на рынке,—
подставляй пустой карман вместо крынки.

Купец

Это ты без молока насидишься, дура,
а у рабочего премия,
у рабочего натура,—
получит
и обменяется.

Дама

А я шляпки буду менять на яйца.

Интеллигент

Обменяешь последнюю шляпу,
а потом сиди,
соси лапу.

Поп
(прислушиваясь к шуму в трюме)

Ишь ржут!

Интеллигент

Что им!
Наловили рыбу и жрут.

Поп

Возьмем сеть или острогу и тоже давайте ловить.

Немец

О-с-т-р-о-г-у?
А как обращаться ею?
Я только шпагой в человеке ковырять умею.

Купец

Я закинул сеть,
думал — рыбину выну,
умаялся,
и ничего —
одну травину.

Паша
(сокрушенно)

До чего доросли:
первой гильдии — и жрут водоросли.

Ллойд-Джордж
(к Клемансо)

Эврика!
Давайте бросим ссориться.
Какая может быть распря с англичанином
у француза?
Главное — это то, что у меня пузо, у вас пузо.

Соглашатель

И у меня... пузо.

Клемансо

Как это грустно:
с таким прекрасным господином —
и я не задрался чуть.

Ллойд-Джордж

Теперь нам не до драк:
у нас с вами общий враг.
Вот что я вам сказать хочу...

Берет Клемансо под руку и отводит. Пошептавшись, возвращаются.

Клемансо

Господа!
Мы все такие чистые.
Нам проливать за работой пот ли?
Давайте заставим нечистых, чтоб они на нас
работали.

Интеллигент

Я бы их заставил!
Да куда мне —
чахл!
А из них любой — косая в плечах.

Ллойд-Джордж

Боже сохрани драться!
Не драться,
а пока выжирают меню,
пока восседают,
пия и оря,
возьмем и подложим им свинью...

Клемансо

Выберем им царя!

Соглашатель

Зачем царя?
Лучше городового.

Клемансо

А затем, что царь издаст манифест —
все кушанья мне, мол, должны быть отданы.
Царь ест,
и мы едим —
его верноподданные.

Все

Здорово!

Паша

Ловко!

Немец

(радостно)

Я же говорил вам —
Бисмарочья головка!

Австралийцы

Выбираем скорей!

Несколько голосов

Но кого?
Кого же?

Англичанин и француз

Негуса.

Поп

Правильно!
Ему и в руки вожжи.

Купец

Какие вожжи?

Немец

Ну, как их там...
бразды правления, что ли...
Чего придираетесь?
Смысл один.

(Негусу.)

Взлазьте, господин!

Дама

Господа!
Скажите —
это будет настоящий царь
или только притворный?

Голоса

Настоящий, настоящий!

Дама

Ах!
Я буду дамой придворной!

Ллойд-Джордж

Скорей, скорей
строчите манифест:
с божьей, мол, милости...

Паша и австралиец

А мы сюда,
чтобы не успели вылезти.

Паша и прочие строчат манифест. Немец с дипломатом разматывают перед выходом из трюма канат. Пошатываясь, вылазят нечистые. Когда последний выполз на палубу, дипломат и немец меняются местами — и нечистые опутаны.

Немец
(сапожнику)

Эй,
ты!
Ступай под присягу!

Сапожник
(плохо разбираясь в событиях)

Можно, я лучше прилягу?

Дипломат

Я тебе прилягу —
не встанешь сто лет!
Господин поручик,
наводите пистолет!

Француз

Ага!
Протрезвели!
Вот так оно проще.

Некоторые нечистые
(грустно)

Попались, братцы,
как куры во щи.

Австралиец

Шапки долой!
У кого там шапка?

Китаец и раджа
(подталкивают попа, стоящего под рубкой, возглавляемой негусом)

Читай же,
читай, стоят не дыша пока.

Поп
(по бумаге)

Божьей милостью
мы,
царь изжаренных нечистыми кур
и великий князь на оных же яйца,
не сдирая ни с кого семь шкур,—
шесть сдираем, седьмая оставляется,—
объявляем нашим верноподданным:
волоките всё —
рыбу, сухари, морских свинят
и чего найдется съестного прочего.
Правительствующий сенат
не замедлит
разобраться в грудах добра,
отобрать и нас попотчевать.

Импровизированный сенат
из паши и раджи

Слушаемся, ваше величество!

Паша
(распоряжается. Австралийцу)

Вы — в каюты!
(Австралийке.)
Вы — в кладовые!
(Общее.)
Чтоб нечистый ничего дорогой не выел.
(Купцу, отматывая для него булочника.)
Вы вот с ним спускайтесь в трюм.
Я с раджою на палубе все просмотрю.
Притáщите сюда
и возвращайтесь снова.

Радостный гул чистых.

Навалим целую гору съестного!

Поп
(потирая руки)

А после братски поделимся добычею
по христианскому обычаю.

Конвоируемые чистыми, нечистые спускаются в трюм. Через минуту возвращаются и вываливают перед негусом всяческую пищу.

Купец
(радостно)

Все обыскали,
больше нет ничего ровно.
Продукт-то какой!
Восхищенье!
Одно слово —
нормированный.
Ну, ребята, востри зуб!

Американец

А нечистые?

Немец

Надо их запереть внизу.

Поп

Ну-тко,
ваше величество, обождите.
Одна минутка!

Гонят нечистых в трюм, и пока возятся с ними, негус съедает все принесенное.
Чистые возвращаются.

Клемансо

Идешь, Ллойд-Джордж?

Ллойд-Джордж

Иду, иду!

Чистые
(подгоняют друг друга)

Скорей, скорей,
время за еду!

Взбираются к негусу. Перед негусом пустое блюдо. В один грозный голос.

Что здесь?!
Гуляла мамаева рать?

П о п

(в исступлении)

Один ведь,
один —
и чтоб столько сожрать!

П а ш а

Взял бы да грохнул по сытой роже.

Н е г у с

Молчать!
Я помазанник божий.

Н е м е ц

Помазанник,
помазанник!
Лег бы, как мы...

Д и п л о м а т

На голодный желудок...

П о п

Иуда!

Р а д ж а

Тьфу!
Не об этаком думал дне я.

К у п е ц

Ляжем.
Утро вечера мудренее.

Укладываются. Ночь. По небу быстро проходит луна. Луна склоняется. Рассвет. В синем утре приподнимается фигура дипломата. С другой стороны приподнимается немец.

Д и п л о м а т

Вы спите?

Немец отрицательно качает головой.

Д и п л о м а т

Проснулись в эту пóрищу?

Н е м е ц

Уснешь тут!
В животе такой разговорище.
Ну, поговори, поговори еще!

Соглашатель

Всё котлеты снятся.

Поп

(издали)

А что ж еще могло сниться?
(Негусу.)
Ишь, проклятый! Так и лоснится.

Австралиец

Холодно.

Интеллигент

(негусу)

Никаких духовных запросов!
Объелся — и рад.

Француз

(после короткой паузы)

Господа,
знаете что?..
Я чувствую, что я уже демократ.

Немец

Вот новость!
Я всегда народ любил без памяти.

Перс

(ехидно)

А кто предлагал его величеству к стопам идти?

Дипломат

Бросьте ваши ядовитые стрелы!
Самодержавие как форма правления несомненно устарело.

Купец

Устареет, если росинки не попало в рот.

Немец

Серьезно! Серьезно!
Назревает переворот.
Довольно распрь,
покончим с бранью!

Соглашатель

Ура!
Ура Учредительному собранию!
(Отваливают люк.)
Ура! Ур-а-а!
(Друг другу.)
Наяривайте!
Жмите!

Из люка лезут разбуженные нечистые.

Сапожник

Что это? Перепились?

Кузнец

Авария?

Купец

Граждане, пожалте на митинг!
(Булочнику.)
Гражданин, вы за республику?

Нечистые
(хором)

Митинг?
Республику?
Какую такую?

Француз

Стойте,
сейчас интеллигенция растолкует.
(Интеллигенту.)
Эй ты, интеллигенция!

«Интеллигенция» и француз влазят на рубку.

Француз

Объявляю собрание открытым.
(Интеллигенту.)
Ваше слово!

Интеллигент

Граждане!
У этого царищи невозможный рот!

Голоса

Правильно!
Правильно, гражданин оратор!

Интеллигент

Все, проклятый, как есть, сожрет!

Голос

Правильно!

Интеллигент

И никто
никогда не доползет до Арарата.

Голоса

Правильно!
Правильно!

Интеллигент

Довольно!
Рвите цепи ржавые!

Общий гул

Долой!
Долой самодержавие!

Соглашатель

На кого вы руку подымаете?
Ах!
Монарх!
Всю жизнь вам в каторге жить на нарах.
Власть от бога.
Не трогайте оной,
господа.
Согласитесь на монархии конституционной,
на великом князе Николае
или
на Михаиле.

Нечистые и чистые
(хором)

Согласиться,
чтобы все сжиралось им?

Немец

Я тебе соглашусь!

Все
(хором)

Мы тебя согласим!

Соглашатель
(вздутый, плачется)

Как начали греть!
Как начали крыть!
Легче помереть,
чем их помирить.

Купец
(негусу)

Попили кровушки,
нагадили народу...

Француз
(негусу)

Эй, ты,
алон занфан в воду!

Общими усилиями раскачивают негуса и швыряют за борт. Затем чистые берут под руки нечистых и расходятся, нашептывая.

Дипломат
(рудокопу)

Товарищи,
вы даже не поверите,
я так безумно рад:
нет теперь этих вековых преград.

Француз
(кузнецу)

Поздравляю вас!
Рухнули вековые устои.

Кузнец
(неопределенно)

М-да...

Француз

Остальное устроится,
остальное — пустое!

Поп
(швее)

Теперь мы — за вас, вы — за нас.

Купец
(довольный)

Так, так! Води за нос.

Дама

Разве я к негусу была пылкой?
Я живу,
я дышу Учредилкой!
За правительство Временное —
что угодно!
Хоть два года буду ходить беременная!
Сейчас надену красные банты,—
надо же завести революционную моду.
Через минутку вернусь
к моему обожаемому народу.
(Бежит к картонкам.)

Клемансо
(на рубке)

Ну, граждане, довольно.
Погуляли всласть.
Давайте организуем демократическую власть.
Граждане,
чтобы все это было скоро и быстро,
мы вот,— упокой господи душу негуса!—мы вот тринадцать
будем министры и помощники министров,
а вы — граждане демократической республики,—
вы будете ловить моржей, шить сапоги, печь бублики.
Возражений нет?
Принимаются доводы?

Батрак

Ладно!
Было бы недалеко до воды.

Хором

Да здравствует, да здравствует демократическая
республика!

Француз

А теперь я
(нечистым)
вам предлагаю работать.
(Чистым.)
А вы — за перья.
Работайте,
несите сюда,

а мы это поделим поровну,—
последняя рубашка пополам будет порвана.

Чистые устанавливают стол, располагаются с бумагами и, когда нечистые приносят съестное, вписывают во входящие и по уходе с аппетитом съедают.

Булочник, пришедший во второй раз, пытается заглянуть под бумаги.

Ллойд-Джордж

Чего глазеешь?
Отойди от бумаг!
Это, брат, дело не твоего ума.

Клемансо

Вы же в управлении государством
ничего не понимаете ровно.
Каждая входящая тарелка
и каждая исходящая
должна быть обязательно перенумерована.

Кузнец

Пока вы ставите номер,
как бы наш брат, нечистый, не помер.

Булочник

Давайте делиться обещанным.

Поп
(возмущенно)

Братие!
Рановато думать о пище нам.

Раджа
(отводя от стола)

Акулу посмотрите —
там акулу поймали,—
не несет яиц,
не дает молока ли.

Кузнец

Эй, раджа, паша ли вы,
помните турецкую пословицу:
«Паша, не пошаливай!»

Кузнец
(возвращаясь с прочими нечистыми)
Учат!

Сколько ни дои акул,
не быть из акулы молоку.

Сапожник
(пишущим)

Пора обедать. Скорей кончай-ка!

Американец

Обратите внимание,
как это красиво:
волны и чайка.

Батрак

Поговорим-ка лучше о щах и о чае.
К делу!
К делу!
Нам не до чаек!

Клемансо

Смотрите, смотрите!
По морю —
кит!

Красноармеец

К черту кита!
Сам ты кит!

Хором, опрокидывая стол.

Вы нам здесь не устраивайте канцелярских волокит!

На палубу грохаются пустые тарелки.

Швея и прачка
(грустно)

Все совет министерский вылакал.

Плотник
(вскакивая на опрокинутый стол)

Товарищи!
Это нож в спину!

Голоса

И вилка!

Рудокоп

Товарищи!
Что ж это!
Раньше жрал один рот, а теперь обжирают ротой.

Республика
оказалась
тот же царь,
да только сторотый.

Француз

(ковыряя в зубах)

Что кипятитесь?
Обещали и делим поровну:
одному — бублик,
другому — дырку от бублика.
Это и есть демократическая республика.

Купец

Надо ж кому-нибудь и семечки — не всем же арбуз.

Нечистые

Мы вам покажем классовую борьбу!

Соглашатель

И опять,
и опять разрушается кров,
и опять,
и опять смятенье и гул.
Довольно!
Довольно!
Не лейте кровь!
Послушайте, я не могу!
Это все хорошо:
и коммуна
и прочее.
Но для этого ж должны пройти века.
Товарищи рабочие!
Согласитесь с чистыми,
послушайте старого
опытного меньшевика!

Ллойд-Джордж

Согласиться?
Да я же капитала лишусь.
Мы тебе согласимся!

Красноармеец

Я тебе соглашусь!

Соглашатель

Ну и положение!
Опять двухстороннее обложение!

Нечистые наседают на чистых.

Чистые

Стойте, граждане! Наша политика...

Нечистые

А ну,
с четырех сторон подпалите-ка!
Покажем им, какая такая политика!
Ну, держись, проклятая,
будешь помнить Октября 25-е!

Вооружаются сложенным чистыми во время обеда оружием. Загоняют на корму. Мелькают пятки сбрасываемых чистых. Только купец, утащив на ходу половину моржонка, забился в угольный ящик; в другой забились интеллигент с дамой. Соглашатель ухватил за руку батрака; силясь его оттянуть, всхлипывает.

Батрак

Ишь проклятый,
распустил слюнки!
Революция вам, мусье, не юнкер.

Соглашатель вгрызается в руку.

Кузнец

Ишь злюка!
Вали его, ребята,
в дырку люка!

Валят.

Трубочист

Не задохся бы тама,
корпуленция хрупкая —
прямо дама.

Батрак

Что мямлить!
Вернутся,
нас же распнут на кресте.
Понежничаем —
дайте Арарат-гору.

Нечистые

Правильно!
Правильно!
Или мы — или те!

Батрак

Дорогу террору!

Кузнец

Товарищи!
Сапогами отшвыривайте кликуш.
Эй, народ, чего не ликуешь?
Ликуй!

Но суровы голоса нечистых,— последние запасы сожрала республика.

Булочник

Ликуй!
А ты подумал о хлебе?

Батрак

Ликуй!
А хлеб-то чем засеять?

Фонарщик

Ликуй! Когда вместо пашен — хляби.

Рыбак

И рыбачить нечем, порваны сети.

Шофер

Как пройдешь через хлябь эту?
Если б хоть было кругом сухо.

Охотник

Ковчег трещит.

Шофер

Компаса нету.

Все

Разруха!

Кузнец

Не останавливаться на половине ж.
Съеденное в утопших,
назад не вынешь.

Теперь об одном осталось ратовать,
чтоб сила не иссякла до места Араратова.
Пусть нас бури бьют,
пусть изжарит жара,
голод пусть —
посмотрим в глаза его,
будем пену одну морскую жрать.
Мы зато здесь всего хозяева!

Прачка

Сегодня поедим,
а завтра — крышка!
На всем ковчеге два сухаришка.

Батрак

Эй!
Товарищи!
Без карточек не давать сухарей.

Из угольного ящика высовываются дама и интеллигент.

Интеллигент

Слышите —
говорят:
«Давать сухарей».
А тут голод, холод и всякие страсти.

Дама

Пойдем на службу к Советской власти.

Вылазят.

Нечистые

Что это?
Выходцы с того света?

Интеллигент

Никак нет.
Мы свои,
мы беспартийные,
мы из угольного ящика.
Мы — за власть Советов.

Дама

Ненавижу буржуев!
Мошенники!
Я все ждала, скоро ли буржуазия свалится.

Разрешите,
я тоже у вас буду
работать
на машинке,
хотя бы только одним пальцем.

Интеллигент

И меня возьмите.
Худо без спеца.
Без спеца
некуда деться.
Один путь —
тонуть.

Кузнец

Не утонем,
не каркай.

(Даме.)

Садись, товарищ.

(Интеллигенту.)

Марш вниз!
Заведуй кочегаркой.

Шофер

Без еды — все равно что машина без дров.

Рудокоп

Даже я сдаю — уж на что здоров.

Красноармеец

Мало, оказывается, чистых добить.
Нужен хлеб.
Надо воду добыть.

Нечистые

Что делать?
Как быть?

Швея

Нам бог не может погибнуть дать.
Сложим руки — будем ждать.

Охотник

Слабеет от голода за мускулом мускул.

Швея
(вслушиваясь)

Что это?
Слышите?
Слышите музыку?

Плотник

Антихрист речь повел нам
об Арарате и рае.
(Испуганно вскакивает, пальцем за борт.)
Кто там
идет по вóлнам,
в кости свои играет?

Трубочист

Брось ты!
Море гóло.
Да и кому являться?

Сапожник

Вот он
идет...
Это голод
нами идет разговляться.

Батрак

Что ж, иди!
Нет здесь таких, кто упал бы.
Товарищи, враг у бортá.
Живо!
Все на палубы!
Голод
сам идет на абордаж.

Вбегают, шатаясь, вооруженные чем попало. Рассвело. Пауза.

Все

Что ж, иди!
Никого...
И вот
снова будем смотреть бесплодное лоно вод.

Охотник

Так вот молишь о тени в печах пустыни,
умирая ж —
видишь, будто пустыня стынет.
Мираж.

Шофер

(приходит в страшное волнение, поправляет очки, всматривается. Кузнецу)

Там вот,
на западе —
не заметишь ли точечки?

Кузнец

Что глядеть?
Все равно что на хвост надеть или в ступе истолочь
очки.

Шофер

(отбегает, шарит, лезет с трубой на рею — и через минуту его рвущийся от радости голос)

Арарат! Арарат! Арарат!

Со всех концов.

О, как я рада!
О, как я рад!

Вырывают у шофера трубу. Сгрудились.

Плотник

Где он?
Где?

Кузнец

Да вот
виднеется
направо от...

Плотник

Что это?
Приподнялось.
Выпрямилось.
Идет.

Шофер

То есть как — идет?
Арарат — гора и ходить не может.
Глаза потри.

Плотник

Сам три.
Смотри!

Шофер

Да, идет!

Человек какой-то.
Да, человек.
Старый с посохом.
Молодой без посоха.
Эк, идет по воде, что по́суху.

Швея

Колокола, гудите!
Вздыбливайте звон!
Это
он
шел, рассекая воды Генисарета.

Кузнец

У бога есть яблоки,
апельсины,
вишни,
может вёсны стлать семь раз на дню,
а к нам только задом оборачивался всевышний,
теперь Христом залавливает в западню.

Батрак

Не надо его!
Не пустим проходимца!
Не для молитв у голодных рты.
Ни с места!
А то рука подымется.
Эй!
Кто ты?

Самый обыкновенный человек входит на замершую палубу.

Человек

Кто я?
Я не из класса,
не из нации,
не из племени.
Я видел тридцатый,
сороковой век.
Я из будущего времени
просто человек.
Пришел раздуть
душ горны я,
ибо знаю,
как трудно жить пробовать.
Слушайте!

Новая
нагорная
проповедь!
Араратов ждете?
Араратов нету.
Никаких.
Приснились во сне.
А если
гора не идет к Магомету,
то и черт с ней!
Не о рае Христовом ору я вам,
где постнички лижут чай без сахару.
Я о настоящих
земных небесах ору.
Судите сами: Христово небо ль,
евангелистов голодное небо ли?
Мой рай — в нем залы ломит мебель,
услуг электрических покой фешенебелен.
Там сладкий труд не мозолит руки,
работа розой цветет по ладони.
Там солнце строит такие трюки,
что каждый шаг в цветомории тонет.
Здесь век корпит огородника опыт —
стеклянный настил, навозная насыпь,
а у меня
на корнях укропа
шесть раз в году росли ананасы б.

Все
(хором)

Мы все пойдем!
Чего нам терять!
Но пустят ли нашу грешную рать?

Человек

Мой рай для всех,
кроме нищих духом,
от постов великих вспухших с луну.
Легче верблюду пролезть сквозь иголье ухо,
чем ко мне
такому слону.
Ко мне —
кто всадил спокойно нож
и пошел от вражьего тела с песнею!

Иди, непростивший!
Ты первый вхож
в царствие мое
земное —
не небесное.
Идите все,
кто не вьючный мул.
Всякий,
кому нестерпимо и тесно,
знай:
ему —
царствие мое
земное —
не небесное.

Хором

Не смеется ли этот над нищими?
Где они?
Дразнишь какими страницами?

Человек

Длинна дорога.
Надо сквозь тучи нам.

Хор

Каждую тучу сразим поштучно!

Человек

А если ад взгромоздится за адом?

Хор

Пойдем и туда.
Не попятимся задом.
Веди нас!
Где она?

Человек

Где?
Ждете, чтоб рассказал кто-нибудь другой.
А она
вот здесь,
у вас
под рукой.
Где руки твои?
Что делаешь ею?

Сложили кресты бесполезных рук!
Вы нищими жметесь.
А вы — богатеи.
Смотрите —
какое богатство вокруг!
Как смеет играть ковчегом ветер?
Долой природы наглое иго!
Вы будете жить в тепле,
в свете,
заставив волной электричество двигать.
А если
ко дну окажетесь пущены,
не страшно тоже,—
почище луга
морское дно.
Наш хлеб насущный
на нем растет —
каменный уголь.
Пускай потопами ветер воет,
трещат бока ковчегов-посуд.
Правая и левая —
эти двое
спасут.
Конец.
Слово за вами.
Я нем.

Исчезает. На палубе восхищенное недоумение.

Сапожник

Где он?

Кузнец

По-моему, он во мне.

Батрак

По-моему, влезть удалось и в меня ему.

Голоса

Кто он?
Кто этот дух невменяемый?
Кто он —
без имени?
Кто он —
без отчества?
Зачем он?
Какие кинул пророчества?

Кругом потопа смертельная ванная.
Пускай!
Найдется обетованная!

Батрак

Значит, рай все-таки есть.
Значит, не глупо к счастью лезть.

Голоса

Чтоб раньше дойти до этой поры,
вздымайте молоты,
ввысь топоры!
Ровней ряды!
Не кривите линии!
Ковчег трещит.
Спасенье в дисциплине.

Кузнец
(рукой на реи)

Зловещ пучин разверзшийся рот.
Дорога одна —
сквозь тучи!
Вперед!

Бросаются к мачте. Хором.

Сквозь небо — вперед!

На реях развертывается боевая песня.

Эй, на реи!
На реи, эй!
По реям вперед, комиссары морей!

Хор

Вперед, комиссары морей!

Сапожник

Там всем победителям отдых за боем.
Пусть ноги устали, их в небо обуем!

Хор

Обуем!
Кровавые в небо обуем!

Плотник

Распахнута твердь
небесам за ограду!
По солнечным трапам,
по лестницам радуг!

Хор

По солнечным сходням
качелями радуг!

Рыбак

Довольно пророков!
Мы все Назареи!
Скользите на мачты,
хватайтесь за реи!

Хор

На мачты!
На мачты!
За реи!
За реи!

Когда скрывается последний нечистый, за ним ковыляют по реям дама и интеллигент. Меньшевик минутку стоит, задумавшись.

Соглашатель

Куда вы?
В коммуну?
Охота в такую даль переть!

Оглядывается. Ковчег трещит.

Вперед, товарищи!
Уж лучше вперед, чем умереть...

Меньшевик скрывается, и наконец из угольного ящика вылезает купец, ухмыляясь.

Купец

Надо же быть ослом!
Добра на четыреста миллионов
минимум.
Даже если на слом.
Ну,
и спекульну!..
Что это?
Ломается.

Трещит.
Спасайтесь!
Идем ко дну!
Товарищи!
Товарищи!
Подождите минуту одну!
Товарищи!
Один
погибаю здесь я!..

Соглашатель

Иди, иди,
и тебе перепадет концессия...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ад. Сцена с огромной дверью. На двери: «Без доклада не входить». По бокам караульные черти. Два вестовых черта перекликаются через весь театр. Тихое пение на сцене за дверью.

Хор

Мы черти, мы черти, мы черти, мы черти!
На вертеле грешников вертим.

1-й вестовой

Да, брат черт,
паршивая жизнь!

2-й вестовой

Да, в последние месяцы понатерпелся горя я.

1-й

Одно слово —
третья категория!

Хор

Попов разогнали, мешочников в ризе.
Теперь и у нас продовольственный кризис.

2-й

Нашего брата, исконного черта, совсем не видно.
Как попали эти самые господа:
то подай!
Это подай!

1-й

Хуже всех этот негус абиссинский.
Морда черная.
Аппетит свинский.

Хор

О, горе, о, горе, о, горе, о, горе,
без пищи мы все передóхнем здесь вскоре!

1-й

Бывало, у черта арбуз щека.

2-й

Да, это верно.

1-й

А как попов прогнали, ни одного поставщика!

2-й

Выдачи маленькие!

1-й

Паек скверный!

2-й

Еще бы черти были как следует,
а то омерзительные —
лысые,
куцые!

1-й

Дождутся,
будет и у нас революция.

2-й

Т-с!
Опять звонок.

Оба

Бежим со всех ног.

Перемахивают всю сцену.
Караульные расспрашивают вестовых и, сделав небольшой доклад, распахивают двери.

Ллойд-Джордж

Ах, вы, дьяволы!
Ах, вы, чертовы дети!
Отчего же грешники не попадают в сети?

Поп
(замахивается на вестовых)

Что ж, я для того на вас работал,
чтобы пайком питаться на том свете!

Вестовые
(недовольно)

Взяли бы по виле,
сами бы ловили.

Клемансо

Молчать!
Вы эти привычки бросьте.
Мы черти белой кости.
Не щадя пота,
черный черт на белых должен работать.

2-й вестовой

Завели порядок свой.
Пошел и меж чертями антагонизм классовой.

Паша

Ах, ты разговаривать?
Какой пылкий!
Да я тебя ножом!
Да я тебя вилкой!

Черт-церемониймейстер

Его величество Вельзевул
желает говорить с верноподданным адом.

Немец

Встать!
Смирно!
Не вихлять задом!

Вельзевул
(входит)

Черти мои верноподданные!
Больше не будете сидеть голодные.
Радостней клики!
Выше хвост!
Кончается великий,
кончается пост.
Грешников пятнадцать идет, не менее.

Поп
(крестится)

Слава богу!
Кончается это всухомятку пение.

Китаец

Очень уж народ серьезный,
хотя и беспортошный.

Негус

Эх, и нажрусь!
Аж будет чертям тошно!

Ллойд-Джордж

Уж и наточу я рога!
Будут знать, как меня свергать!

Вельзевул
(к вестовым)

Живей
на пост сторожевой!
Нá бинокль,
смотри лучше,
чтобы ни один из них не ушел живой!
А то
по шее получишь.

Черти, вооруженные биноклями, бегут в зал, прислушиваясь. Дверь распахивается.

1-й

Пусть только попадутся!
Я им покажу!
Хвост подыму!
Рога вниз!

2-й

Прямо жуть!

1-й

Я уж с ними разделаюсь!
Не пожелал бы врагу.
Люблю я из сочных грешников рагу.

2-й

Я их попросту жру.
Без штук.
Т-с!

Слышишь? —
Тук-тук-тук.
Тук-тук-тук.

Прислушивается. Доносится громыхание разносящих преддверие ада нечистых.

1-й

Старик-то наш
обрадуется донельзя.

2-й

Тише ты, черт! Нельзя, чтоб без гула!
Беги,
предупреди штаб Вельзевула.

Первый бежит. Над средним ярусом показывается Вельзевул. Ладонь ко лбу. Приподымаются черти.

Вельзевул
(убедившись, орет)

Эй, вы!
Черти!
Волоките котёлище!
Да дров побольше —
суше,
толще!
Прячься за тучи, батальон сторогий!
Чтоб никто из них не ушел с дороги!

Черти притаились. Снизу доносится: «На мачты, на мачты! За реи, за реи!» Вваливается толпа нечистых, и моментально же вываливаются черти с вилами наперевес.

Черти

У-у-у-у-у-у-у!
А-а-а-а-а-а-а!

Кузнец
(указывая на крайних швее, со смехом)

Старые знакомые!
Как тебе нравится?
Справились с безрогими.
И с рогатыми удастся справиться.

Гвалт начал надоедать. Цыкнули нечистые.

Т-с-с-с-с!

Смолкли растерявшиеся черти.

Нечистые

Это ад?

Черти

(нерешительно)

Д-да.

Батрак

(на чистилище)

Товарищи!
Не останавливаться!
Прямо туда.

Вельзевул

Да-да!
Черти, вперед!
Не пускать в чистилище!

Батрак

Послушайте,
что это за стиль еще?

Кузнец

Бросьте вы это!

Вельзевул

(обиженно)

То есть как бросить?

Кузнец

Да так.
Стыдно!
Все-таки старый черт,
у самого проседь.
Нашли, ей-богу, чем стращать!
На заводе
чугуноплавильном
не бывали, чать?

Вельзевул

(сухо)

Не был я на вашей плавильне.

Кузнец

То-то!
А то б повылинял
шерсткой.

Живешь себе тут
щеголем,
гладкий такой да жесткий.

Вельзевул

Хорош гладкий,
хорош жесткий!
Довольно разговаривать! Пожалте на костры!

Булочник

Остри!
Нашел чем пугать!
Смешно, ей-богу!
Да у нас
в Москве
вам бы еще заплатили за дрова́.
От мороза колики,
а у вас
температурка здорова́.
Блаженство!
Ходите голенькие.

Вельзевул

Довольно шутить!
Трепещите за души!
Всех вас серой сейчас же задушим!

Кузнец
(сердясь)

Хвастают тоже!
Что у вас? —
Слегка попахивает серою.
У нас как пустят удушливым газом —
вся степь от шинелей становится серою,
дивизия разом валится наземь.

Вельзевул

Побойтесь, говорю вам, раскаленных жаровен!
На вилах будете,
час не ровен.

Батрак
(выходя из себя)

Да что ты кичишься какими-то вилами!
Твой глупый ад — все равно что мед нам.

Бывало,
в атаке
три четверти выломит
в одно дуновенье огнем пулеметным.

Черти развесили уши.

Вельзевул
(старается поддерживать дисциплину)

Чего стоите?
Разинули рот!
Может, он все это врет.

Батрак
(зверея)

Я вру?!
Сидите тут,
пещеры пещерите —
черти!
Слушайте,
я вам расскажу...

Черти

Тише!

Батрак

...про нашу земную жуть.
Что ваш Вельзевул!
С вилочкой гуляет посредь ада.
Я вас на землю на минуту сзову.
Знаете вы, черти, что такое блокада?
Нам ли убояться каких-то вил!
Рабочих танки английские потчуют.
Кольцом эскадр и армий сдавил
капитал Республику рабочую.
У вас хоть праведников нет и детей.
Рука небось не подымается мучить?
А у нас и те!
Нет, черти,
у вас здесь лучше.
Как какой-нибудь некультурный турок,
грешника с размаха саданете нá кол,
а у нас машины,
а у нас культура...

Голос
(из толпы чертей)

Однако!

Батрак

Кровь пьете?
Невкусное сырье!
Вас на фабрику свел, каб не было поздно.
Буржуям на шоколад перегоняют ее.

Голос
(из толпы чертей)

Но-о!
Серьезно?

Батрак

А посмотрите на раба из колонии английской —
черти все б разбежались в писке.
С негров сдирают,
дубят кожи,
на переплеты чтоб мог идти.
В ухо гвоздь?
Пожалуйста, отчего же!
Шерсть свиную загоняют под ногти.
Посмотрели солдата в окопе вы бы:
сравнить если с ним — ваш мученик лодырь.

Голос
(из толпы чертей)

Довольно!
Шерсть подымается дыбом!
Берет от этих рассказов одурь...

Батрак

Думаете, страшно?
Развели костерики,
развесили чанки́.
Какие вы черти?
Да вы щенки!
Ремни вас на фабриках растягивали по суставам?

Вельзевул
(смущенно)

Ну, вот!
В чужой монастырь
со своим уставом.

П о п
(подталкивая Вельзевула)

Скажи,
скажи про адскую печь им.

В е л ь з е в у л

Говорил —
не слушают.
Крыть нечем!

Б а т р а к
(налезая)

Что, только на робких пасти щерите?

В е л ь з е в у л

Ну что вы, ей-богу, пристали?
Черти, как черти!

С о г л а ш а т е л ь
(старается разнять чертей и нечистых)

О, господи!
Начинается!
Да что вам,
двух революций мало?
Господа, товарищи,
не устраивайте скандала!
Ну что, у вас пищи лучше нет?
Нашли
торт!
И вы
тоже
хороши,
уступить не можете!
Видите — старый, почтенный черт.
Бросьте трения,
надо согласиться.

В е л ь з е в у л

Ах ты, подхалима!

Б а т р а к

Ах ты, лисица!

С двух сторон бьют соглашателя.

Соглашатель
(апеллирует к зрителям)

Граждане!
Ну где ж справедливость тут?
Ты же их зовешь согласиться,
тебе же с двух сторон и накладут.

Вельзевул
(грустно, нечистым)

Я б вас пригласил хлеб-соль откушать
в гости,
да какое теперь угощенье —
кожа да кости.
Сами знаете, какие теперь люди,—
изжаришь, так его и незаметно на блюде...
Притащили на днях рабочего
из выгребных ям,
так не поверите — нечем потчевать.

Батрак
(брезгливо)

Пошел к чертям!
(К давно нетерпеливо ждущим рабочим.)
Айда, товарищи!

Нечистые двинулись, к последнему прицепился Вельзевул.

Вельзевул

Счастливого пути!
Не забывайте!
Я черт сведущий —
опыт.
Устроитесь —
и меня пригласите,
я буду заведующим
Главтопа.
Сидишь тут не евши дней по пяти,
а у чертей, известно,
чертовский аппетит.

Нечистые двинулись ввысь. Ломаемые, падают тучи. Тьма. Из тьмы и обломков опустевшей сцены вырисовывается следующая картина. А пока по аду гремит песня нечистых.

Кузнец

Телами адовы двери пробейте!

Чистилище — в клочья!
Вперед! Не робейте!

Хор

Чистилище вдребезги!
Так!
Не робейте!

Рудокоп

Вперед!
От отдыха тело отучим.
По ярусам!
Выше!
Шагайте по тучам!

Хор

Шагайте по ярусам!
Выше!
По тучам!

Дама
(откуда ни возьмись бросается на грудь к Вельзевулу)

Вельзевульчик!
Милый!
Родной!
Не дайте даме погибнуть одной!
Пустите меня,
пустите к своим!
Пустите, милый!
А то эти нечистые такие громилы!

Вельзевул

Ну, что ж!
Приют дам.
Пожалуйте, мадам.

(Показывает на дверь, из-за которой моментально выскакивают два черта с вилами и выволакивают даму. Он потирает руки.)

Одна есть.
Дезертира всегда приятно съесть.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Рай. Облако на облаке. Белесо. По самой середине, по облачью рассевшись, райские жители. Мафусаил ораторствует.

Мафусаил

Святейшие!
Идите в светлейшее мощи оправить.
Почище начистьте дни-ка.
Глаголет Гавриил —
грядет
больше чем дюжина праведников.
Святейшие!
Примите их в свою среду.
Что мышью, голод играет ими,
им гадит ад,
но они бредут...

Райские
(степенно)

Сразу видно — достойнейшие люди.
Примем.
Обязательно примем.

Мафусаил

Надо стол накрыть,
выйти вместе.
Торжественнейшую встречу устроить надо нам.

Райские

Вы здесь старейший и будьте церемониймейстер.

Мафусаил

Да я не умею...

Все

Ладно, ладно!

Мафусаил
(кланяется, идет распоряжаться столом. Выстраивает святых)

Вот сюда Златоуст.
Готовь приветственный тост:
— Мы, мол, вас приветствуем, а такожде Христос...—
Сам знаешь, тебе и книги в руки.
Вот сюда Толстой,—
у тебя вид хороший, декоративный,
стал и стой.

Сюда — Жан-Жак.
Так и развертывайтесь анфиладою,
а я пойду стол присмотреть.
Доишь облака, сын мой?

Ангел

Да, дою.

Мафусаил

Надоишь — и на стол.
Нарежьте даже
облачко одно,
каждому по ломтику.
Для отцов святейших главное не еда же,
а речи душеспасительные, которые за столом текут.

Святые

Ну что,
не видно пока?
Чтой-то край у облака подозрительно дут.
Идут! Идут! Идут! Идут!
Неужели это они?
В рай, а будто трубочисты грязные.
Вымоем.
М-да, святые-то, оказывается, бывают разные.

Снизу доносится:

Орите в ружья!
В пушки басите!
Мы сами себе и Христос и спаситель!

Вваливаются, пробивая облако пола.

Нечистые
(хором)

Ух, и бородастые!
Штук под триста!

Мафусаил

Пожалте, пожалте —
тихая пристань!

Ангельский голос

Понапустили народу шалого!

Ангелы

Драсите, драсите!
Добро пожаловать!

Мафусаил

А ну-ка, Златоуст, займись-ка тостом.

Нечистые

К чертям Златоуста!
Какие тут тосты,
когда в животе пусто!

Мафусаил

Терпение, братие!
Сейчас,
сейчас накормим досыта.

Ведет нечистых к месту, где на облачном столе облачное молоко и облачный хлеб.

Плотник

Нашагался.
Нельзя ли какой-нибудь стул?

Мафусаил

Нет-с,
в раю нет.

Плотник

Чудотворца б пожалели —
стоит вон сутул.

Рудокоп

Не ругайся.
Главное — подкрепление сил.

Набрасываются на ковши и краюхи, сначала удивляются, потом, негодуя, откидывают бутафорию.

Мафусаил

Вкусили?

Плотник
(грозно)

Вкусил, вкусил!
А нет чего посущественней?

Мафусаил

Не купать же бестелых существ в вине?

Нечистые

Ждем вас, проклятых,
смиренно умираем мы.
Кабы люди знали, что это впереди!
У нас у самих
такими раями
хоть пруд пруди.

Мафусаил
(указывая на святого, которому орал кузнец)

Не орите, неудобно.
Ангельский чин.

Рыбак

Поговорили бы лучше с чином:
не сварит ли чин ваш щи нам.

Голоса нечистых

Не так мы себе это представляли.

Охотник

Нора!
Сущая нора!

Шофер

И не похоже на рай.

Сапожник

Так, голубчики,
дорвались до рая!

Слуга

Ну, доложу вам, дыра, я.

Батрак

Что ж, вы так вот и сидите?

Один из ангелов

Зачем?
Случается и на землю
к праведному брату или сестре пойти —
и возвращаемся, елей свой излив там.

Слуга

Так вот перышки по тучам и трепите?
Чудаки!
Обзавелись бы лифтом.

Второй ангел

А мы метки на облаках вышиваем,—
Х. и В.—
Христовы инициалы.

Слуга

Вы б еще подсолнухи грызли.
Провинциалы!

Батрак

Побывали б у меня на земле они,
отучил бы лодырей от лени.
Поют вот:
«Долой тиранов, прочь оковы».
И до вас доберутся,
не смотрите, что высоќо вы.

Швея

Совсем как в Питере:
население скучено,
еда скушана.

Нечистые

Скучно у вас.
Ох, и скушно!

Мафусаил

Что поделаешь, такой уж строй у нас.
Оно, конечно,
многое не благоустроено-с.

Интеллигент
(смотрит то на Льва Толстого, то на Жан-Жака, обращается к последнему)

Я вот все смотрю
на вас
и на Льва Николаевича.
Какие знакомые лица!

Вы?
Вы Жан-Жак Руссо?
Ах!
Разрешите поделиться!
Аж дух от радости сводит!
Это вы писали о братстве, о равенстве, о свободе?
Это вы написали «Общественный договор»?
Помилуйте!
Да я вас наизусть знаю
вот с этих пор!
Разрешите выразить мое почтеньице.
Больше всего на свете люблю либеральное чтеньице.
Никуда не пойду.
Так и останусь тут.
Пусть эти некультурные нечистые идут,
я вас ненадолго задержу в разговоре.
В вашем
«Общественном договоре»...

Батрак

Как отсюда вылезти?

Мафусаил

Спросите у Гавриила.

Батрак

А Гавриил который?
Все — как один!

Мафусаил
(гордо разглаживая бороду)

Ну, не скажите,
есть и отличие,—
вот, например, бороды длина-с.

Нечистые

Чего разговаривать?
Крушите!
Это учреждение не для нас.

Соглашатель

Тс, тс!
Товарищи! Согласитесь!
Бросьте ваши разногласия!
Ну, разве не все равно, в котором классе я?
(Ангелам.)

Посмотрите,
какие ребята!
Я
на вашем месте
был бы только рад:
лучшая часть общества —
пролетариат!

(Нечистым.)

Вы тоже хороши!
Подумайте только, в каком он ранге!

(Указывая на Мафусаила.)

Это вам не Врангель —
ангел!

Мафусаил

Согласиться с этим?
Упаси боже!

Кузнец

Я тебе соглашусь!
Выискался тоже!

Бьют.

Соглашатель
(плача)

Стараешься по-хорошему,
а выходит гадко.
Опять двухсторонняя накладка!
Ух!
Еще посоглашаюсь —
и испущу дух.

Батрак

К обетованной!
Ищите за раем!
Шагайте!
Рай шажищами взроем!

Хор

Найдем!
Хоть всю вселенную взроем!

Мафусаил
(глядя на разрушаемый нечистыми рай, возопил истошным голосом)

Караул!
Хватайте!
Держите!
Разорви их молния и господь вседержитель!

При страшном громе в облаках появляется с пучком молний сам Саваоф.

Саваоф

Да я вас разражу громами!

Красноармеец
(укоризненно)

Как дети —
взяли и пожаловались маме.

С перекошенным лицом, видя назревающий невиданный скандал, заверещал соглашатель.

Соглашатель

Уф!
Оф!
Сам Саваоф!
Дрожу!
Лежу!
Подкосились ноженьки!
(Нечистым.)
Опомнитесь!
Согласитесь!
Куда вы?
Против боженьки!

Саваоф
(показывает кулак соглашателю)

Кабы не был всеблагой я,
показал бы тебе соглашательство такое!..

Кузнец

Нам,
рабочим,
согласиться с богом?
Вылезет у тебя соглашенье боком!

Тузят соглашателя.

Соглашатель
(плаксиво, но с уважением)

Не ручаюсь за убеждение.
Ну, и кулак!
Посоглашаюсь еще немного,
и сойдет с меня меньшевистский лак.

Машинист
(указывая на Саваофа, замахивающегося стрелами молний, не желая их пустить в ход из боязни задеть своих же Мафусаилов)

Надо у бога молнии вырвать.
Бери их!
На дело пригодятся —
электрифицировать.
Нечего по-пустому громами ухать!

Бросаются, вырывают молнии.

Саваоф
(печально)

Ободрали!
Ни пера, ни пуха!

Мафусаил

Чем же нам теперь грешников крыть?
Придется лавочку совсем закрыть.

Нечистые ломают рай, вздымаясь ввысь с молниями.

Кузнец

Заря разгорается —
дальше!
За рай!
Там все разговеемся...

Но когда сквозь обломки долезли до верха, перебивает кузнеца швея:

Да что кормить голодных зарей!

Прачка
(устало)

Ломаем, ломаем, ломаем мы
тучи.
Не время ли мимо им!
Скоро ли, скоро ли маями
тело усталое вымоем?

Еще голоса

Куда?
Не очутимся в новом аду ли?
Надули нас!
Нас надули!
А дальше что?
Чем дальше, тем жутче.
(Подумав.)
Вперед трубочиста! Иди, лазутчик!

Из тьмы обломков рая вырастает новая картина. От идущих вперед нечистых отделяется задумчивый соглашатель.

Соглашатель

Прошли через рай,
прошли через ад,
и все идут.
Не вернуться ли хоть мне назад?
Хороший народ — это ангельское отродье.
Оно
как будто немного соглашено.
Пускай идут, ежели не лень им,
(машет рукой вослед уходящим нечистым)
а я вернусь
к Толстому.
Туз!
Займусь
непротивлением
злу-с...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Кузнец

Эй!
Чего остановился?
Трогай!

Фонарщик

Не пролезешь,
горы взгромоздились доро́гой.
Можно по такой дороге идти ли?

Швея

За три года обломков сколько наколотили!

Разглядывают обломки.

Смотрите, ковчега кусок.

Красноармеец

Негуса абиссинского остатки.

Сапожник

Кусочек рая.

Батрак

Черепок ада.

Фонарщик

Что делать?
Не то что идти,—
сесть некуда.

Кузнец

Что делать? Что делать?
Расчистить надо.

Батрак

Значит, нечего раздумывать тут:
организуйся, товарищ,
и берись за труд!

Красноармеец
(важно)

Организация организации рознь.
Сначала нужно
наметить правильный путь.
По-моему, взять организацию
и перетряхнуть.

Рудокоп
(досадливо)

Тоже
выкинул коленце!
Вздор перетряхивание!
Нужны назначенцы.

Прачка
(задорно)

Назначенство...
Вот тебе раз!
Необходимы буфера-с.

Нечистые сгрудились, галдя друг на друга.

Эскимос

А по-моему,
это все —
не по марксистской догме и форме.
Я стою
на совершенно иной платформе:
желаю спасти трудовую Русь я,
разорвать нищеты и голода узы.

Батрак
(безнадежно)

Пошла дискуссия!

Кузнец
(разнимая наступающих)

Товарищи,
бросьте!
Здесь вам не профсоюзы.

Машинист

Буфера?!
Попала не в глаз, а в бровь:
прачка-то с буферами,
а паровоз без колес, а не то что без буферов.

Кузнец

Тонем в разговорах,
не виден брод.
Через газетный ворох —
за работу!
Вперед!
Чего растекаться словесной рекой?
Наляжем лопатой!
Взмахнем киркой!

Хор
(разгребает обломки)

А ну,
раз взмахнул,
и еще взмахну.
К чему счет?
Раз махнул,
взмахну еще!

Соглашатель
(показываясь из облачка с надписью: «Берлин»)

О-о-о!
Товарищи,
бросьте работать!
Сами понимаете,
не стану советовать зря я,—
мне все видно из моего заграничного рая.
Бросьте работать, милые люди,
из этого ровно ничего не будет!
Согласитесь со мной...

Кузнец

Рожу высунул —
смотри,
чтоб молотом нечаянно не свистнул
в лоб.

Соглашатель

Оп!
(Моментально запахнул облако.)

Шахтер
(остановился с поднятой киркой)

Товарищи,
прислушайтесь!
Какой-то вой!
Обломками
кто-то придавлен
живой!
Беги на вой!
Рой!

По окончании его слов роют с удесятеренной силой, и из облаков показываются паровоз и пароход.

Паровоз

Эй!
Внемлите паровозному стону!
Не вздохнуть!
Пар не развесть!
Черный хлеб с Дону
дайте!
Дайте есть!

Машинист

Нет,
не умереть тебе.
Нет,
друг, спокоен будь.
Мы вырвем уголь из земных недр,
выведем на новый путь.

Пароход

О-о-о!
Дайте испить мне рек истоки!
Дыры в каждом боку!
Введите меня в доки!
Дайте нефть из Баку!
У-у-у-у-у!

Шахтер

Эй, товарищи,
за мной!
Чего руки сложили?
За углем
под свод земной!
За нефтью!
Не уйти нефтеносной жиле!

Хор

Взвей кирку-пушок!
Ударником встань, брав!
Занеси сильней обушок!
В землю вонзай бурав!

Разруха

Назад!
Чего молотищами ухают?
Назад! Кто спорит со мной,
с разрухою?

Здесь царствую я —
царица-разруха:
я жру паровоз,
сжираю машину.
Как дуну —
сдуну фабрику пухом.
Как дуну —
сдуну завод, как пушину.
Я лишь взгляну —
и чугунка не ходит.
Грызну —
и путь железный сглодан.
И корчится в голоде город
и в холоде,
деревня от холода мрет
и от голода.
Назад!
Я труд ненавижу бодрый.
Назад!
Я с вами расправлюсь по-свойски.
Ко мне, мое войско, шкурники, лодыри!
Ко мне, спекулянтов верное войско!

Разруху окружает «войско».

Хор

Назад!
Чего молотищами ухают?
Назад!
Кто спорит с нею,
с разрухою?

Разруха

Склонитесь! Я ваша царица — разруха,
стяну вам голодом глотки туго.

Кузнец

Довольно!
Царицу б молотом ухнуть!
Вооружайтесь!

Шахтер
(наступает на разруху)

Боритесь за уголь!
(На мешочников.)
И этих!

Наездились верхом на вагоне,
довольно!
Всех в работу вгоним.

Кузнец

Ловите шкурников!
Долой лодырей!
Все за работу!
Работать до одури!

Нечистые двинулись, и «войско» отступает.

Шахтер
(подрывается под разруху)

Нам под разрухой гнуть ли шеи?
Товарищи!
Подрывайте шахт траншеи!

Батрак

Окопы — борозды на гладь луга.

Батрак и шахтер

Наше оружие —
хлеб и уголь.

Кузнец
(разруху добивают. Конец речи ведется на разбитой разрухе)

Ура!
Побежали!
Разруха сдается!
Еще
удар последний остается...
Сдалась!
Довольно!
Слазь!
Свободен вход —
дверь в будущее.
(Указывает на спуск в шахту.)
Вот.
Иди,
забивай за забоем забой.
Пой:

«И это будет
последний
и решительный бой».

Идут в шахту. Голоса замирают в отдалении.

Шахтер
(приводит вагонетку с углем)

Первый подмосковный.

Паровоз

Спасибо.
Рад.
Чиниться становимся —
влазь на домкрат.

Машинист
(катит бочку нефти)

Вот из Баку
бери дары.

Пароход

Готово:
нет в боку дыры.

Шахтер
(еще вагонетку)

Вот тебе от Донбасса дары.

Паровоз

Спасибо.
Сейчас разведу пары.

Машинист
(еще бочка)

Вот тебе еще цистерну выкатили.

Пароход

Спасибо.
Сейчас заходят двигатели.

Машинист
(еще бочка)

Вот тебе еще подарок от Ухты.

Шахтер
(еще вагонетка)

Вот тебе еще Урал.

Пароход и паровоз

Оживаем.
Ура!

Паровоз

Бегут колеса.

Пароход

Ожил.
Сейчас пойду по плесам.

Из дыр шахт выбегают нечистые, бросаются друг на друга.

Машинист

А я к тебе.

Шахтер

А я к тебе.

Кузнец

А я к вам.

Прачка

А я к вам.

Красноармеец

Необычайно!

Швея

Невероятно!

Эскимос

Фантастическая весть!

Шахтер

Там, за последней вышкой...

Шахтер и машинист

Там
что-то есть.

Шахтер

Забиваю это я последний забой...

Машинист

Я это
последнюю бочку качу перед собой...

Шахтер

И слышу —
далёко, далёко...

Машинист

И вижу —
далёко, далёко...
Откуда едва достигает око...

Шахтер

Пение слышу,
колес грохотание,
фабрик дыхание мерное...

Машинист

Солнце вижу,
заря ранняя,
город, наверное.

Красноармеец

Мы, кажется, победили.
Мы, кажется,
у края
двери
в лоно правдашнего рая.

Паровоз

Паровоз готов.

Пароход

Пароход готов.

Машинист

Забирайтесь.
Им
в будущее помчим.

Красноармеец
(лезет на паровоз, за ним — другие)

Ровен путь,
гладок и чист.
Первым будь —
вперед, машинист!

На волны!
На рельсы!
Добытый трудом,
он близок,
грядущего радостный дом.
Пространство жрите,
в машину дыша.
Лишь на машине
в грядущее шаг.
Взмах за взмахом!
За шагом шаг!

Хор
(повторяет)

Вперед!
Во все машины дыша.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

Обетованная земля. Огромные ворота. Какие-то углы, из которых слабо намечаются улицы и площади земных местностей. Над воротами какие-то радуги, крыши, цветы непомерные. У ворот лазутчик, возбужденно выкликающий карабкающихся.

Шахтер

Сюда, товарищи!
Сюда!
Высаживайте десант!

Подымаются нечистые и со страшным удивлением откидывают ворота.

Шахтер

Чудеса!

Плотник

Да ведь это Иваново-Вознесенск!
Хорошенькие чудеса!

Слуга

Как это проходимцам верить, вас спрошу я?

Кузнец

Да не Вознесенск это —
верьте чести.
Это Марсель.

Сапожник

А по-моему, Шуя.

Шофер

Не Шуя вовсе.
Это Манчестер.

Машинист

Как не стыдно глупости городить вам!
Какой это Манчестер?
Это Москва.
Как это ослепли все?
Вот, смотрите, Тверская,
вот Садовая,
вот театр РСФСР.

Батрак

Москва, Манчестер, Шуя —
не в этом дело:
главное —
опять очутились на земле,
опять у того же угла.

Все

Кругла земля, проклятая,
ох, и кругла!

Прачка

Земля, да не та!
По-моему,
для земли
не мало ли пахнет помоями?

Слуга

Что это в воздухе
сласть какая-то разабрикосена?

Сапожник

Абрикосы?
В Шуе?
Да и время как будто к осени.

Подымают головы. Радуга бьет в глаза.

Красноармеец

А ну, фонарщик,
ты с лестницей,—
лезь
да глазом окинь.

Фонарщик

(лезет и останавливается, обмерев, только и мямлит)

Дураки мы!
Ну, и дураки!

Красноармеец

Да рассказывай!
Смотрит, что гусь на молнию!
Рассказывай!
Сыч!

Фонарщик

Не могу!
Такая
косноязычь!
Дайте мне,
дайте стоверстый язычище.
Луча чтоб солнечного ярче и чище,
чтоб не тряпкой висел,
чтоб раструбливался лирой,
чтоб этот язык раскачивали ювелиры,
чтоб слова соловьи разносили изо рта...
Да что!
И тогда не расскажешь ни черта!
Домов стоэтажия земли кроют!
Через дома
перемахивают ловкие мосты!
Под домами
едища!
Вещи горою.
На мостах
поездов ускользающие хвосты!

Хор

Хвосты?

Фонарщик

Да, хвосты!
Лампы
глаза электрические выкатили!
В глаза в эти
сияние
миллионосильные двигатели
льют!
Земля блестит и светит!

Хор

Светит?

Фонарщик

Да, светит!

Красноармеец

Сами работали.
Чего он удивляется?

Машинист

Работать — работали,
а все-таки не верится,
что чудо такое
за трудом является.

Батрак

Довольно врать!
Нашли
лектора!
Ни в жизнь не рожала фиг акация.

Фонарщик

Да бросьте галдеть вы!
Это —
электрификация!

Хор

Электрификация?

Фонарщик

Да,
электрификация.
В саженные штепсели вставлены вилки.

Машинист

Чудеса!
Не поверят никакие ученые.

Фонарщик

Едет электротрактор!
Электросеялка!
Электромолотилка!
И через секунду
хлеба
уже печеные.

Хор

Печеные?

Фонарщик

Да,
печеные.

Булочник

А хозяйка расфуфыренная,
а хозяин мопсовидный —
ходят по городу, тротуары уродуя?

Фонарщик

Нет,
отсюда никого не видно.
Ничего не заметил этого рода я.
Сахарная головища!
Две еще!

Швея

Сахар?
Слышишь?
Как быть?
Я карточки перед потопом не успела прикрепить.

Хор

Да говори хоть подробнее немножко!

Фонарщик

Да ходят всякие
яства,
вещи.
У каждой ручка,
у каждой ножка.
Фабрики во флагах.
За верстой верста.
Куда ни ткнется взор стоног —
в цветах
без работы стоят
верстак,
станок.

Нечистые
(беспокойно)

Стоят?
Без работы?
А мы здесь исхищряемся в словесном спорте!
Может, дождь пойдет,
машины испортит!
Ломитесь!
Кричите!
Эй!
Кто тут?

Фонарщик
(скатываясь)

Идут!

Все

Кто?

Фонарщик

Вещи идут.

Ворота распахиваются, и раскрывается город. Но какой город! Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи, автомобили, а посредине — сад звезд и лун, увенчанный сияющей кроной солнца. Из витрин вылазят лучшие вещи и, предводительствуемые серпом и молотом, с хлебом и солью идут к воротам. По онемелым рядам прижавшихся нечистых:

Нечистые

А-а-а-х-х-х!

Вещи

Ха-ха-ха-ха-ха!

Батрак

Кто вы?
Чьи вы?

Вещи

Как чьи?

Батрак

Да как вашего хозяина имя?

Вещи

Никаких хозяев.
Ничьи мы.
Мы — делегаты.
Молот и серп
вас встречает —
республики герб.

Батрак

А для кого хлеб?
Соль?
Сахарная голова?
Губернатора встречаете, что ли?

Вещи

Нет —
вас,
всё вам.

Прачка

Будет врать!
Не дети малы́.
Должно быть,
вас
продают из-под полы.
Должно быть,
сзади
спекулянт на спекулянте.

Вещи

Никаких спекулянтов,—
гляньте.

Слуга

Понимаю!
Сложат в МПК
и через год по столовой ложке выдавать будут.

Вещи

Никуда нас не складывают.
Берите хоть по пуду.

Рыбак

Спим, должно быть.
Выдумки сна.

Швея

Раз
вот так
сидела галеркою.
На сцене бал.
Травиата.
Ужин.
Вышла —
и такой это показалась горькою
жизнь:
грязь,
лужи.

Вещи

Никуда это от вас теперь не денется,—
это земля.

Кузнец

Будет морочить!
Какая это земля!
Земля — грязь,
земля — ночи.
На земле наработаешь — разинешь рот,
а жирный придет и сработанное отберет.

Прачка
(хлебу)

Зовет,
а сам,
небось,
кусаться будет.
100 000 рублей, что 100 000 зубов, должно быть,
на каждом пуде.

Машинист

Тоже!..
Подходит!..

Походка мышиная.
Мало коверкало нас машиною!
Вам бы лишь зубы на рабочих растить.

Машины

Прости, рабочий!
Рабочий, прости!
Вы нас собрали,
добыли,
лили.
А нас забрали,
закабалили.
Маши, машина, маши, махина.
Стальные без устали,
стальные без отдыха,—
нам жирных велели возить на шинах,
велели работать на них на заводах.
Вал на вале
вас веками
ремнями рвали,
маховиками.
Орите, моторы,
радость великая,—
жирных сбили,
свободна отныне я!
Гуди по заводам, колесами двигая,
кружи в железнодорожные линии.
Мир каруселить,
светить в черноночье
вам отселе
будем, рабочие.

Вещи

А мы, а мы, помощные вещи!
Мы — молоты, иглы, пилы и клещи.
Лишь день полосой обозначится желтой,
под нами сгибаясь, на фабрики шел ты.
Теперь с хозяйской расправились кликою,
мы всё тебе расстругаем и выкуем.
Тебе,
чья спина под нами ломилась,
тебе сегодня сдаемся на милость.
В просторной кузнице нового рая
молот вздымай, игрушкой играя.

Еды

А мы — товары, питья и еды:
от нас рабочим бесчисленны беды.
Без хлеба нет человеческой власти,
без сахару нет человеческой сласти.
Трудом человечьим добытые еле,
не вы нас, а мы вас рублищами ели.
Рот ценой миллионной разинув,
мы лаяли псами с витрин магазинов.
Да вы дармоедам прикрикнули: слазьте!
И хлеб отныне свободен и сласти.
Всё, что смотрели со скрежетом прежде,
берите сегодня, режьте и ешьте.

Машины, вещи и еды
(хором)

Свое берите,
берите!
Идите!
Всё, чем работать,
всё, что едите!
Идите, берите!
Иди, победитель!

Кузнец

Должно быть, надо мандат предъявить.
У нас мандатов нет,
мы прямо из рая,
а до этого из ада.

Вещи

Не надо,
никаких мандатов не надо.

Батрак

Нога не бритва,—
авось, не ступим.
Давайте, братцы, попробуем!
Ступим!

Нечистые ступают.

Батрак
(трогает землю)

Землица!
Она!
Родимая землица!

Все

Запеть бы теперь!
Закричать!
Замолиться!

Булочник
(плотнику)

Сахар-то —
я его лизнул.

Плотник

Ну?

Булочник

Сладок, просто сладок.

Несколько голосов

Теперь с весельем не будет слада!

Батрак
(хмелея)

Товарищи вещи,
знаете что?
Довольно судьбу пытать!
Давайте, мы будем вас делать,
а вы нас питать.
А хозяин навяжется — не выпустим живьем!
Заживем?

Все

Заживем!
Заживем!

Купчина
(расталкивая толпу, возмущенный, выскакивает)

Как бы не так!
Знайте меру!
Надо же что-нибудь оставить и концессионеру.

Кузнец

Убирайся!
Твоя окончена работа,—
ребятишкам на молочишко подработал.
Знания у тебя хотели призанять —
подучились,
пора и честь знать.

Выброшенный, вылетает купчина. Нечистые жадно посматривают на вещи.

Батрак

Я бы взял пилу. Застоялся. Молод.

Пила

Бери!

Швея

А я — иглу б.

Кузнец

Рука не терпит — давайте молот!

Молот

Бери! Голу́бь!

Нечистые, вещи и машины кольцом окружают солнечный сад.

Машинист
(к машинам)

Я бы вас пустил.
Не броситесь, рыча?

Машины

Ничего!
Поворачивай рычаг!

Машинист поворачивает рычаг. Загорелись шары. Завертелись колеса. Нечистые смотрят с восхищенным изумлением.

Машинист

Никогда не видел такого света!
Это не земля,—
это
с хвостом поездов горящая комета.
Чего волами подъяремными мычали?
Ждали,
ждали,
ждали года —
и никогда не замечали
под боком такую благодать.
И чего это люди лазят в музеи?
Живое сокровище на сокровище вокруг!
Что это — небо или кусок бумазеи?
Если это дело наших рук,
то какая дверь перед нами не отворится?
Мы — зодчие земель,
планет декораторы,
мы — чудотворцы,

лучи перевяжем пучками мётел,
чтоб тучи небес электричеством вымести.
Мы реки миров расплещем в мёде,
земные улицы звездами вымостим.
Копай!
Долби!
Пили!
Буравь!
Все ура!
Всему ура!
Сегодня
это лишь бутафорские двери,
а завтра
былью сменится театральный сор.
Мы это знаем.
Мы в это верим.
Сюда, зритель!
Сюда, художник!
Поэт!
Режиссер!

Подымаются на сцену все зрители.

Все хором

Солнцепоклонники у мира в храме —
покажем, как петь умеем мы.
Становитесь хорами —
будущему псалмы!

Откуда ни возьмись соглашатель удивленно смотрит на коммуну; сообразив, в чем дело, вежливо снимает шляпу.

Соглашатель

Нет,
энергичному человеку в раю не место,
не люблю я этих постных рыл.
Социализм неминуем —
я это всегда говорил.
(Нечистым.)
Товарищи, не надо зря голосить,
пение обязательно надо согласить.
(Отходит в сторону и тихо дирижирует ручкой.)

Кузнец отодвигает его вежливо.

Нечистые
(поют)

Труда громадой миллионной
тюрьму старья разбили мы.
Проклятьем рабства заклейменный,
освобожден сегодня мир.
Насилья гнет развеян пылью,
разбит и взорван, а теперь
коммуна-сказка стала былью.
Для всех коммуны настежь дверь.
Этот гимн наш победный,
вся вселенная, пой!
С Интернационалом
воспрянул род людской.
Не ждали мы спасенья свыше.
Ни бог, ни черт не встал за нас.
Оружье сжав, в сраженье вышел
и вырвал власть рабочий класс.
Одной коммуной слили мир мы.
Весь мир обвил рабочий круг.
Теперь иди, попробуй, вырви
его из наших сжатых рук.
Этот гимн наш победный,
вся вселенная, пой!
С Интернационалом
воспрянул род людской.
Навек о прошлом память сгинет.
Не встать буржуям — крут удар.
Землею мы владеем ныне,
солдаты армии труда.
Сюда от фабрик и от пашен,
из городов сюда и сел!
Земля от края к краю наша,
кто был ничем — сегодня всё.
Этот гимн наш победный,
вся вселенная, пой!
С Интернационалом
воспрянул род людской.

Занавес

1920—1921

КЛОП

Феерическая комедия

ДЕВЯТЬ КАРТИН

РАБОТАЮТ:

Присыпкин — Пьер Скрипкин — бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених.
Зоя Березкина — работница.

Эльзевира Давидовна — невеста, маникюрша, кассирша парикмахерской	Ренесанс.
Розалия Павловна — мать-парикмахерша	
Давид Осипович — отец-парикмахер	

Олег Баян — самородок, из домовладельцев.
Милиционер.
Профессор.
Директор зоосада.
Брандмейстер.
Пожарные.
Шáфер.
Репортер.
Рабочие аудитории.
Председатель горсовета.
Оратор.
Вузовцы.
Распорядитель празднества.
Президиум горсовета, охотники, дети, старики.

I

Центр — вертящаяся дверища универмага, бока остекленные, затоваренные витрины. Входят пустые, выходят с пакетами. По всему театру расхаживают частники-лотошники.

Пуговичный разносчик

Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться! Нажатие большого и указательного пальца, и брюки с граждан никогда не свалятся.

Голландские,
механические,
самопришивающиеся пуговицы,
6 штук 20 копеек...
Пожалте, мусью!

Разносчик кукол

Танцующие люди
из балетных студий.
Лучшая игрушка
в саду и дома,
танцует по указанию
самого наркома!

Разносчица яблок

Ананасов!
нету...
Бананов!
нету...
Антоновские яблочки 4 штуки 15 копеек.
Прикажите, гражданочка!

Разносчик точильных камней

Германский
небьющийся
точильный брусок,
30
копеек
любой
кусок.
Точит
в любом
направлении
и вкусе
бритвы,
ножи
и языки для дискуссий!
Пожалте, граждане!

Разносчик абажуров

Абажуры
любой
расцветки и масти.
Голубые для уюта,
красные для сладострастий.
Устраивайтесь, товарищи!

Продавец шаров

Шары-колбаски.
Летай без опаски.
Такой бы
шар
генералу Нобиле,—
они бы на полюсе
дольше пóбыли.
Берите, граждане...

Разносчик селедок

А вот
лучшие
республиканские селедки,
незаменимы
к блинам и водке!

Разносчица галантереи

Бюстгáльтеры на меху,
бюстгáльтеры на меху!

Продавец клея

У нас
и за границей,
а также повсюду
граждане
выбрасывают
битую посуду.
Знаменитый
Экцельзиор,
клей-порошок,
клеит
и Венеру
и ночной горшок.
Угодно, сударыня?

Разносчица духов

Духи Кóти
на золотники!
Духи Кóти
на золотники!

Продавец книг

Что делает жена, когда мужа нету дома, 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого вместо рубля двадцати — пятнадцать копеек.

Разносчица галантереи

Бюстгальтеры на меху,
бюстгальтеры на меху!

Входят Присыпкин, Розалия Павловна, Баян.

Разносчица

Бюстгальтеры...

Присыпкин *(восторженно)*. Какие аристократические чепчики!

Розалия Павловна. Какие же это чепчики, это же...

Присыпкин. Что ж я без глаз, что ли? А ежели у нас двойня родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан... Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически... так и будут гулять вместе. Во! Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите, Розалия Павловна!

Баян *(подхихикивая)*. Захватите, захватите, Розалия Павловна! Разве у них пошлость в голове? Оне молодой класс, оне всё по-своему понимают. Оне к вам древнее, незапятнанное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете! Дом у них должен быть полной чашей.

Розалия Павловна, вздохнув, покупает.

Баян. Я донесу... они легонькие... не извольте беспокоиться... за те же деньги...

Разносчик игрушек. Танцующие люди из балетных студий...

Присыпкин. Мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Розалия Павловна. Товарищ Присыпкин...

Присыпкин. Не называйте меня товарищем, гражданка, вы еще с пролетариатом не породнились.

Розалия Павловна. Будущий товарищ, гражданин Присыпкин, ведь за эти деньги пятнадцать человек бороды побреют, не считая мелочей — усов и прочего. Лучше пива к свадьбе лишнюю дюжину. А?

Присыпкин *(строго)*. Розалия Павловна! У меня дом...

Баян. У него дом должен быть полной чашей. И танцы и пиво у него должны бить фонтаном, как из рога изобилия.

Розалия Павловна покупает.

Баян (*схватывая сверточки*). Не извольте беспокоиться, за те же деньги.

Разносчик пуговиц.

Из-за пуговицы не стоит жениться!
Из-за пуговицы не стоит разводиться!

Присыпкин. В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Баян. Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он — победивший класс, и он сметает всё на своем пути, как лава, и брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей.

Розалия Павловна покупает со вздохом.

Извольте, я донесу за те же самые...

Продавец сельдей.

Лучшие республиканские селедки!
Незаменимы
при всякой водке!

Розалия Павловна (*отстраняя всех, громко и повеселевши*). Селедка — это — да! Это вы будете иметь для свадьбы вещь. Это я да захвачу! Пройдите, мосье мужчины! Сколько стоит эта килька?

Разносчик. Эта лососина стоит 2.60 кило.

Розалия Павловна. 2.60 за этого шпрота-переростка?

Продавец. Что вы, мадам, всего 2.60 за этого кандидата в осетрины!

Розалия Павловна. 2.60 за эти маринованные корсетные кости? Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского! Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и *мои* селедки в государственной советской *общественной* кооперации!

Баян. Подождем здесь, товарищ Скрипкин. Зачем вам сливаться с этой мелкобуржуазной стихией и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке? За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам организую свадьбочку на «ять».

Присыпкин. Товарищ Баян, я против этого мещанского быту — канареек и прочего... Я человек с крупными запросами... Я — зеркальным шкафом интересуюсь...

Зоя Березкина почти натыкается на говорящих, удивленно отступает, прислушиваясь.

Баян. Когда ваш свадебный кортэж...

Присыпкин. Что вы болтаете? Какой картёж?

Баян. Кортэж, я говорю. Так, товарищ Скрипкин, называется на красивых иностранных языках всякая, и особенно такая, свадебная торжественная поездка.

Присыпкин. А! Ну-ну-ну!

Баян. Так вот, когда кортэж подъедет, я вам спою эпиталаму Гименея.

Присыпкин. Чего ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи?

Баян. Не Гималаи, а эпиталаму о боге Гименее. Это такой бог любви был у греков, да не у этих желтых, озверевших соглашателей Венизелосов, а у древних, республиканских.

Присыпкин. Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Понял?

Баян. Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылазит из кареты — красная невеста... вся красная, — упарилась, значит; ее выводит красный посаженый отец, бухгалтер Ерыкалов, — он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический, — вводят это вас красные шафера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками.

Присыпкин *(сочувственно)*. Во! Во!

Баян. Красные гости кричат «горько, горько», и тут красная (уже супруга) протягивает вам красные-красные губки...

Зоя *(растерянно хватает за рукава обоих. Оба снимают ее руки, сбивая щелчком пыль)*. Ваня! Про что он? Чего болтает эта каракатица в галстуке? Какая свадьба? Чья свадьба?

Баян. Красное трудовое бракосочетание Эльзевиры Давидовны Ренесанс и...

Присыпкин

Я, Зоя Ванна, я люблю другую.
Она изячней и стройней,
и стягивает грудь тугую
жакет изысканный у ней.

Зоя. Ваня! А я? Что ж это значит: поматросил и бросил?

Присыпкин *(вытягивая отстраняющую руку)*. Мы разошлись, как в море корабли...

Розалия Павловна *(вырывается из магазина, неся сельди над головой)*. Киты! Дельфины! *(Торговцу сельдями.)* А ну, покажи, а ну, сравни твою улитку! *(Сравнивает; сельдь лотошника больше; всплескивает руками.)* На хвост больше?! За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что мы убили государя императора и прогнали господина Рябушинского, а? В могилу меня вкопает советская ваша власть... На хвост, на целый хвост больше!..

Баян. Уважаемая Розалия Павловна, сравните с другого конца,— она ж и больше только на головку, а зачем вам головка,— она ж несъедобная, отрезать и выбросить.

Розалия Павловна. Вы слышали, что он сказал? Головку отрезать. Это вам головку отрезать, гражданин Баян, ничего не убавится и ничего не сто́ит, а ей отрезать головку стоит десять копеек на киле́. Ну! Домой! Мне очень нужен профессиональный союзный билет в доме, но дочка на доходном предприятии — это тоже вам не бык на палочке.

Зоя. Жить хотели, работать хотели... Значит, всё...

Присыпкин. Гражданка! Наша любовь ликвидирована. Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову.

Зоя, плачущая, вцепилась в рукав. Присыпкин вырывается. Розалия Павловна становится между ним и Зоей, роняя покупки.

Розалия Павловна. Чего надо этой лахудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя?

Зоя. Он мой!

Розалия Павловна. А!.. Она таки с дитём! Я ей заплачу́ алименты, но я ей разобью морду!

Милиционер. Гражда́не, прекратите эту безобразную сцену!

II

Молодняцкое общежитие. Изобретатель сопит и чертит. Парень валяется; на краю кровати девушка. Очкастый ушел головой в книгу. Когда раскрываются двери, виден коридор с дверями и лампочки.

Босой парень *(орет)*. Где сапоги? Опять сапоги сперли. Что ж мне их на ночь в камеру хранения ручного и ножного багажа на Курский вокзал относить, что ли?

Уборщик. Это в них Присыпкин к своей верблюдихе на свидание затопал. Надевал — ругался. В последний раз, говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому социальному положению.

Босой. Сволочь!

Молодой рабочий (*убирает*). И сор-то после него стал какой-то благородный, деликатный. Раньше што? Бутыль с-под пива да хвост воблы, а теперь баночки ТЭЖЭ да ленточки разрадуженные.

Девушка. Брось трепаться, парень галстук купил, так его уже Макдональдом ругаете.

Парень. Макдональд и есть! Не в галстуке дело, а в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Даже не думает — головой пошевелить боится.

Уборщик. Лаком дырки покрывает; заторопился, дыру на чулке видать, так он ногу на ходу чернильным карандашом подмазывал.

Парень. Она у него и без карандаша черная.

Изобретатель. Может быть, не на том месте черная. Надо бы ему носки переодеть.

Уборщик. Сразу нашелся — изобретатель. Патент заявляй. Смотри, чтоб идею не сперли. (*Рванул тряпкой по столику, скидывает коробку,— разваливаются веером карточки. Нагибается собрать, подносит к свету, заливается хохотом, еле созывая рукой товарищей.*)

Все (*перечитывают, повторяют*). Пьер Скрипкин. Пьер Скрипкин!

Изобретатель. Это он себе фамилию изобрел. Присыпкин. Ну, что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин — это уже не фамилия, а романс!

Девушка (*мечтательно*). А ведь верно: Пьер Скрипкин — это очень изящно и замечательно. Вы тут гогочете, а он, может, культурную революцию на дому проделывает.

Парень. Мордой он уже и Пушкина превзошел. Висят баки, как хвост у собаки, даже не моет — растрепать боится.

Девушка. У Гарри Пиля тоже эта культура по всей щеке пущена.

Изобретатель. Это его учитель по волосатой части развивает.

Парень. И на чем только у этого учителя волоса держатся: головы никакой, а курчавости сколько угодно. От сырости, что ли, такие заводятся?

Парень с книгой. Н-е-ет. Он — писатель. Чего писал — не знаю, а только знаю, что знаменитый! «Вечерка» про него три раза писала: стихи, говорит, Апухтина за свои продал, а тот как обиделся, опровержение написал. Дураки, говорит, вы, неверно всё,— это я у Надсона списал. Кто из них прав — не знаю. Печатать его больше не печатают, а знаменитый он теперь очень — молодежь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, кого так... деньги занимать.

Парень с метлой. Не рабочее это дело — мозоль лаком нагонять.

Слесарь, засаленный, входит посредине фразы, моет руки, оборачивается.

Слесарь. До рабочего у него никакого касательства, расчет сегодня брал, женится на девице, парикмахеровой дочке — она же кассирша, она же маникюрша. Когти ему теперь стричь будет мадмуазель Эльзевира Ренесанс.

Изобретатель. Эльзевир — шрифт такой есть.

Слесарь. Насчет шрифто́в не знаю, а корпус у нее — это верно. Карточку бухгалтеру для скорости расчетов показывал.

Ну и милка, ну и чудо,—
одни груди по два пуда.

Босой. Устроился!

Девушка. Ага! Завидки берут?

Босой. А что ж, я тоже, когда техноруком стану да ежедневные сапоги заведу, я тоже себе лучшую квартиренку пообнюхаю.

Слесарь. Я тебе вот что советую: ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку — на улицу посмотрел. Закрыл занавесочку — взятку тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее. Правильно? Из окопов такие тоже устраиваться бегали, только мы их шлепали. Ну что ж — пошел!

Босой. И пойду и пойду. А ты что из себя Карла Либкнехта корчишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже небось припустишься... Герой!

Слесарь. Никуда не уйду. Ты думаешь, мне эта рвань и вонь нравится? Нет. Нас, видите ли, много. На

всех на нас нэповских дочек не наготовишься. Настроим домов и двинем сразу... Сразу все. Но мы из этой окопной дыры с белыми флагами не вылезем.

Босой. Зарядил — окопы. Теперь не девятнадцатый год. Лю́дям для себя жить хочется.

Слесарь. А что — не окопы?

Босой. Врешь!

Слесарь. Вшей сколько хошь.

Босой. Врешь!

Слесарь. А стреляют бесшумным порохом.

Босой. Врешь!

Слесарь. Вот уже Присыпкина из глазной двухстволки подстрелили.

Входит Присыпкин в лакированных туфлях, в вытянутой руке несет за шнурки стоптанные башмаки, кидает Босому. Баян с покупками. Заслоняет от Скрипкина откалывающего слесаря.

Баян. Вы, товарищ Скрипкин, внимания на эти грубые танцы не обращайте, оне вам нарождающийся тонкий вкус испортят.

Ребята общежития отворачиваются.

Слесарь. Брось кланяться! Набалдашник расколотишь.

Баян. Я понимаю вас, товарищ Скрипкин: трудно, невозможно, при вашей нежной душе, в ихнем грубом обществе. Еще один урок оставьте ваше терпение не лопнутым. Ответственнейший шаг в жизни — первый фокстрот после бракосочетания. На всю жизнь должен впечатление оставить. Ну-с, пройдитесь с воображаемой дамой. Чего вы стучите, как на первомайском параде?

Присыпкин. Товарищ Баян, башмаки сниму: вопервых, жмут, во-вторых, стаптываются.

Баян. Вот, вот! Так, так, тихим шагом, как будто в лунную ночь в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь. Так, так! Да не шевелите вы нижним бюстом, вы же не вагонетку, а мадмуазель везете. Так, так! Где рука? Низко рука!

Присыпкин *(скользит на воображаемом плече)*. Не держится она у меня на воздухе.

Баян. А вы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте и, как будто для отдохновения, большим пальчиком упритесь, и даме сочувствие приятно, и вам облегчение — о другой руке подумать можете. Чего плечьми

затрясли? Это уже не фокстрот, это вы уже шиммское «па» продемонстрировать изволили.

Присыпкин. Нет. Это я так... на ходу почесался.

Баян. Да разве ж так можно, товарищ Присыпкин! Если с вами в вашем танцевальном вдохновении такой казус случится, вы закатйте глаза, как будто даму ревнуете, отступйте по-испански к стене, быстро потритесь о какую-нибудь скульптуру (в фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, так этих скульптур и ваз разных всегда до черта наворочено). Потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: «Я вас понял, *коварррная*, вы мной играете... но...» и опять пустйтесь в танец, как бы постепенно охлаждаясь и успокаиваясь.

Присыпкин. Вот так?

Баян. Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин! Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране — вам развернуться негде. Разве наш Средний Козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется, вам только Чемберленов и Пуанкаро́в сломить, и вы Мулен Ружи и Пантеоны красотой телодвижений восхищать будете. Так и запомните, так и замрите! Превосходно! А я пошел. За этими шаферами нужен глаз да глаз, до свадьбы задатком стакан и ни росинки больше, а работу выполнят, тогда хоть из горлышка. Оревуар[1]. *(Уходит, крича из дверей.)* Не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных, и зарубите на носу: нельзя навыпуск носить крахмальную рубаху!

Присыпкин меряет обновки.

Парень. Ванька, брось ты эту бузу, чего это тебя так расчучелило?

Присыпкин. Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! За што я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вон она у меня под руками: и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг, на случай надобности, всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во!

Слесарь. Боец! Суворов! Правильно!

---

[1] До свидания (*фр.*— Au revoir).

Шел я верхом,
                шел я низом,
строил мост в социализм,
не достроил
                и устал
и уселся у моста́.
Травка выросла у мо́ста.
По мосту́ идут овечки.
Мы желаем
                очень просто
отдохнуть у этой речки...

Так, что ли?

Присыпкин. Да ну тебя! Отстань ты от меня с твоими грубыми агитками... Во! *(Садится на кровать, напевает под гитару.)*

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой чудной лестницей,
с изящнейшим окном.

Выстрел. Бросаются к двери.

Парень *(из двери)*. Зоя Березкина застрелилась!

Все бросаются к двери.

Эх, и покроют ее теперь в ячейке!

Голоса.

— Скорее...

— Скорее...

— Скорую...

— Скорую...

Голос. Скорая! Скорей! Что? Застрелилась! Грудь! Навылет. Средний Козий, 16.

Присыпкин один, спешно собирает вещи.

Слесарь. Из-за тебя, мразь волосатая, и такая баба убилась! Вон! *(Берет Присыпкина за пиджак, вышвыривает в дверь и следом выбрасывает вещи.)*

Уборщик *(бегущий с врачом, придерживает и приподымает Присыпкина, подавая ему вылетевшую шляпу)*. И с треском же ты, парень, от класса отрываешься!

Присыпкин *(отворачиваясь, орет)*. Извозчик, улица Луначарского, 17! С вещами!

III

Большая парикмахерская комната. Бока в зеркалах. Перед зеркалами бумажные цветища. На бритвенных столиках бутылки. Слева авансцены рояль с разинутой пастью, справа печь, заворачивающая трубы по всей комнате. Посредине комнаты круглый свадебный стол. За столом: Пьер Скрипкин, Эльзевира Ренесанс, двое шаферов и шафериц, мамаша и папаша Ренесанс. Посаженый отец — бухгалтер и такая же мать. Олег Баян распоряжается в центре стола, спиной к залу.

Эльзевира. Начнем, Скрипочка?

Скрипкин. Обождать.

Пауза.

Эльзевира. Скрипочка, начнем?

Скрипкин. Обождать. Я желаю жениться в организованном порядке и в присутствии почетных гостей и особенно в присутствии особы секретаря завкома, уважаемого товарища Лассальченко... Во!

Гость *(вбегая)*. Уважаемые новобрачные, простите великодушно за опоздание, но я уполномочен передать вам брачные пожелания нашего уважаемого вождя, товарища Лассальченко. Завтра, говорит, хоть в церковь, а сегодня, говорит, прийти не могу. Сегодня, говорит, партдень, и хочешь не хочешь, а в ячейку, говорит, поттить надо. Перейдем, так сказать, к очередным делам.

Присыпкин. Объявляю свадьбу открытой.

Розалия Павловна. Товарищи и мусье, кушайте, пожалуйста. Где вы теперь найдете таких свиней? Я купила этот окорок три года назад на случай войны или с Грецией, или с Польшей. Но... войны еще нет, а ветчина уже портится. Кушайте, мусье.

Все *(подымают стаканы и рюмки)*. Горько! Горько!..

Эльзевира и Пьер целуются.

Горько! Го-о-о-рь-к-о-о!

Эльзевира повисает на Пьере. Пьер целует степенно и с чувством классового достоинства.

Посаженый отец — бухгалтер. Бетховéна!... Шакеспеара!.. Просим изобразить кой-чего. Не зря мы ваши юбилеи ежедневно празднуем!

Тащат рояль.

Голоса. Под крылышко, под крылышко ее берите! Ух, и зубов, зубов-то! Вдарить бы!

Присыпкин. Не оттопчите ножки моей рояли.

Баян (*встает, покачивается и расплескивает рюмку*). Я счастлив, я счастлив видеть изящное завершение на данном отрезке времени полного борьбы пути товарища Скрипкина. Правда, он потерял на этом пути один частный партийный билет, но зато приобрел много билетов государственного займа. Нам удалось согласовать и увязать их классовые и прочие противоречия, в чем нельзя не видеть вооруженному марксистским взглядом, так сказать, как в капле воды, будущее счастье человечества, именуемое в простонародье социализмом.

Все. Горько! Горько!

Эльзевира и Скрипкин целуются.

Баян. Какими капитальными шагами мы идем вперед по пути нашего семейного строительства! Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени? Разве когда мы стонали под игом самодержавия, разве хотя бы наши великие учителя Маркс и Энгельс могли бы предположительно мечтать или даже мечтательно предположить, что мы будем сочетать узами Гименея безвестный, но великий труд с поверженным, но очаровательным капиталом?

Все. Горько!.. Горько!..

Баян. Уважаемые граждане! Красота — это двигатель прогресса! Что бы я был в качестве простого трудящегося? Бочкин и — больше ничего! Что я мог в качестве Бочкина? Мычать! И больше ничего! А в качестве Баяна — сколько угодно! Например:

Олег Баян
от счастья пьян.

И вот я теперь Олег Баян, и я пользуюсь, как равноправный член общества, всеми бла́гами культуры и могу выражаться, то есть нет — выражаться я не могу, но могу разговаривать, хотя бы как древние греки: «Эльзевира Скрипкина, передайте рыбки нам». И мне может вся страна отвечать, как какие-нибудь трубадуры:

Для промывки вашей глотки,
за изящество и негу
хвост сельдя и рюмку водки
преподносим мы Олегу.

Все. Браво! Ура! Горько!

Баян. Красота — это мать...

Шафер (*мрачно и вскакивая*). Мать! Кто сказал «мать»? Прошу не выражаться при новобрачных.

Шафера оттаскивают.

Все. Бетховéна! Камаринского!

Тащат Баяна к роялю.

Баян

Съезжалися к загсу трамваи —
там красная свадьба была...

Все
(*подпевают*)

Жених был во всей прозодежде,
из блузы торчал профбилет!

Бухгалтер. Понял! Все понял! Это значит:

Будь здоров, Олег Баянчик,
кучерявенький баранчик...

Парикмахер (*с вилкой лезет к посаженой маме*). Нет, мадам, настоящих кучерявых теперь, после революции, нет. Шиньон гофре делается так... Берутся щипцы (*вертит вилкой*), нагреваются на слабом огне а ля этуаль (*тычет вилку в пламя печи*), и взбивается на макушке эдакое волосяное суфле.

Посаженая. Вы оскорбляете мое достоинство как матери и как девушки... Пустите... Сукин сын!!!

Шафер. Кто сказал «сукин сын»? Прошу не выражаться при новобрачных!

Бухгалтер разнимает, подпевая, пытаясь крутнуть ручку кассового счетчика, с которым он вертится, как с шарманкой.

Эльзевира (*к Баяну*). Ах! Сыграйте, ах! Вальс «Тоска Макарова по Вере Холодной». Ах, это так шарман [1], ах, это просто петит истуар... [2]

Шафер (*вооруженный гитарой*). Кто сказал «писсуар»? Прошу при новобрачных...

Баян разнимает и набрасывается на клавиши.

(*Приглядываясь, угрожающе*). Ты что же это на одной черной кости играешь? Для пролетариата, значит, на половине, а для буржуазии на всех?

---

[1] прелестно (*фр.*— charmant).
[2] маленькая история (*фр.*— petite histoire).

Баян. Что вы, что вы, гражданин? Я на белых костях в особенности стараюсь.

Шафер. Значит, опять выходит, что белая кость лучше? Играй на всех!..

Баян. Да я на всех!

Шафер. Значит, с белыми вместе, соглашатель?

Баян. Товарищ... Так это же... цедура.

Шафер. Кто сказал «дура»? При новобрачных. Во!!! *(Грохает гитарой по затылку.)*

Парикмахер нацепливает на вилку волосы посаженой матери. Присыпкин оттесняет бухгалтера от жены.

Присыпкин. Вы что же моей жене селедку в грудь тычете? Это же ж вам не клумба, а грудь, и это же вам не хризантема, а селедка!

Бухгалтер. А вы нас лососиной угощали? Угощали? Да? А сами орете — да?

В драке опрокидывают газовую невесту на печь, печь опрокидывается,— пламя, дым.

Крики. Горим!!! Кто сказал «горим»?.. Пожар! Лососину...

Съезжались из загса трамваи...

IV

В чернейшей ночи поблескивает от недалекого пламени каска пожарного. Начальник один. Подходят и уходят докладывающие пожарные.

1-й пожарный. Не совладать, товарищ начальник! Два часа никто не вызывал... Пьяные стервы!! Горит, как пороховой склад. *(Уходит.)*

Начальник. Чего ж ему не гореть? Паутина да спирт.

2-й пожарный. Затухает, вода на лету сосулится. Погреб водой залили глаже, чем каток. *(Уходит.)*

Начальник. Тела́ нашли?

3-й пожарный. Одного погрузили, вся коробка испорчена. Должно быть, балкой поломана. Прямо в морг. *(Уходит.)*

4-й пожарный. Погрузили... одно обгоревшее тело неизвестного пола с вилкой в голове.

1-й пожарный. Под печкой обнаружена бывшая женщина с проволочным венчиком на затылочных костях.

3-й пожарный. Обнаружен неизвестный довоенно-

го телосложения с кассой в руках — очевидно, при жизни бандит.

2-й пожарный. Среди живых нет никого... Среди трупов недосчитывается один, так что согласно ненахождения полагаю — сгорел по мелочам.

1-й пожарный. Ну и иллюминация! Прямо театр, только все действующие лица сгорели.

3-й пожарный

Везла их со свадьбы карета,
карета под красным крестом.

Горнист скликает пожарных. Строятся. Маршируют через театр, выкрикивая.

Пожарные

Товарищи и граждане,
водка — яд.
Пьяные
республику
зазря спалят!
Живя с каминами,
живя с примусáми,
сожжете дом
и сгорите сами!
Случайный
сон —
причина пожаров,—
на сон
не читайте
Надсóна и Жарова!

V

Огромный до потолка зал заседаний, вздымающийся амфитеатром. Вместо людских голосов — радиораструбы, рядом несколько висящих рук по образцу высовывающихся из автомобилей. Над каждым раструбом цветные электрические лампы, под самым потолком экран. Посредине трибуна с микрофоном. По бокам трибуны распределители и регуляторы голосов и света. Два механика — старик и молодой — возятся в темной аудитории.

Старый (*сдувая разлохмаченной щеткой из перьев пыль с раструбов*). Сегодня важное голосование. Смажь маслом и проверь голосовательный аппарат земледельческих районов. Последний раз была заминка. Голосовали со скрипом.

Молодой. Земледельческие? Хорошо! Центральные смажу. Протру замшей горло смоленским аппаратам. На

прошлой неделе опять похрипывали. Надо подвинтить руки служебным штатам столиц, а то у них какой-то уклончик: правая за левую цепляется.

Старый. Уральские заводы готовы. Металлургические курские включим, там провели новый аппарат на шестьдесят две тысячи голосов второй группы электростанции Запорожья. С ними ничего, работа легка.

Молодой. А ты еще помнишь, как раньше было? Смешно, должно быть?

Старый. Меня раз мамка на руках на заседание носила. Народу совсем мало — человек тысячу скопилось, сидят, как дармоеды, и слушают. Вопрос был какой-то важный и громкий, одним голосом прошел. Мать была против, а проголосовать не могла, потому что меня на руках держала.

Молодой. Ну конечно! Кустарничество!

Старый. Раньше такой аппарат и не годился бы. Бывало, человеку *первому* руку поднять надо, чтоб его заметили, так он ее под нос председателю тычет, к самой ноздре подносит обе, жалеет только, что не древняя богиня Изида, а то б в двенадцать рук голосовал. А многие спасались. Про одного рассказывали, что он какую-то важную дискуссию всю в уборной просидел — голосовать боялся. Сидел и задумывался, шкуру, значит, служебную берег.

Молодой. Уберег?

Старый. Уберег!.. Только по другой специальности назначили. Видят любовь к уборным, так его там главным назначили при мыле и полотенцах. Готово?

Молодой. Готово!

Сбегают вниз к распределительным доскам и проводам. Человек в очках и бородке, распахнув дверь, прямым шагом входит на эстраду, спиной к аудитории, поднимает руки.

Оратор. Включить одновременно все районы федерации!

Старший и младший. Есть!

Одновременно загораются все красные, зеленые и синие лампочки аудитории.

Оратор. Алло! Алло! Говорит председатель института человеческих воскрешений. Вопрос опубликован телеграммами, обсужден, прост и ясен. На перекрестке 62-й улицы и 17-го проспекта бывшего Тамбова прорывающая фундамент бригада на глубине семи метров обнаружила засыпанный землей обледеневший погреб. Сквозь лед феномена просвечивает замороженная человеческая фигура. Инсти-

тут считает возможным воскрешение индивидуума, замерзшего пятьдесят лет назад.

Урегулируем разницу мнений.

Институт считает, что каждая жизнь рабочего должна быть использована до последней секунды.

Просвечивание показало на руках существа мозоли, бывшие полстолетия назад признаком трудящегося. Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших федерацию земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна. Довожу до вашего сведения возражения эпидемической секции, боящейся угрозы распространения бактерий, наполнявших бывшие существа бывшей России. С полным сознанием ответственности приступаю к решению. Товарищи, помните, помните и еще раз помните:

Мы
голосуем
человеческую жизнь!

Лампы тушатся, пронзительный звонок, на экране загорается резолюция, повторяемая оратором.

«Во имя исследования трудовых навыков рабочего человечества, во имя наглядного сравнительного изучения быта требуем воскрешения».

Голоса половины раструбов: «Правильно, принять!», часть голосов: «Долой!» Голоса смолкают мгновенно. Экран тухнет. Второй звонок, загорается новая резолюция. Оратор повторяет:

«Резолюция санитарно-контрольных пунктов металлургических и химических предприятий Донбасса. Во избежание опасности распространения бактерий подхалимства и чванства, характерных для двадцать девятого года, требуем оставить экспонат в замороженном виде».

Голоса раструбов: «Долой!» Одинокие выкрики: «Правильно!»

Есть ли еще резолюции и дополнения?

Загорается третий экран, оратор повторяет:

«Земледельческие районы Сибири просят воскрешать осенью, по окончании полевых работ, для облегчения возможности присутствия широких масс желающих».

Подавляющее количество голосов-труб: «Долой!», «Отклонить!» Лампы загораются.

Ставлю на голосование: кто за первую резолюцию, прошу поднять руки!

Подымается подавляющее большинство железных рук.

Опустить! Кто за поправку Сибири?

Подымаются две редких руки.

Собрание федерации приняло: «Вос-кре-сить!»

Рев всех раструбов: «Ура!!!» Голоса молкнут.

Заседание закрыто!

Из двух распахнувшихся дверей врываются репортеры. Оратор прорывается, бросая радостно во все стороны:

Воскресить! Воскресить!! Воскресить!!!

Репортеры вытаскивают из карманов микрофоны, на ходу крича:

1-й репортер. Алло!!! Волна $472^1/_2$ метра... «Чукотские известия»... Воскресить!

2-й репортер. Алло! Алло!!! Волна 376 метров... «Витебская вечерняя правда»... Воскресить!

3-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 211 метров... «Варшавская комсомольская правда»... Воскресить!

4-й репортер. «Армавирский литературный понедельник». Алло! Алло!!!

5-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 44 метра. «Известия чикагского совета»... Воскресить!

6-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 115 метров... «Римская красная газета»... Воскресить!

7-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 78 метров... «Шанхайская беднота»... Воскресить!

8-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 220 метров... «Мадридская батрачка»... Воскресить!

9-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 11 метров... «Кабульский пионер»... Воскресить!

Газетчики врываются с готовыми оттисками.

1-й газетчик

Разморозить
или не разморозить?
Передовицы
в стихах и в прозе!

2-й газетчик

Всемирная анкета
по важнейшей теме —

о возможности заноса
подхалимских эпидемий!

3-й газетчик

Статьи про древние
гитары и романсы
и прочие
способы
одурачивания массы!

4-й газетчик

Последние новости!!! Интервью! Интервью!

5-й газетчик

Научный вестник,
пожалуйста, не пугайтесь!
Полный перечень
так называемых ругательств!

6-й газетчик

Последнее радио!

7-й газетчик

Теоретическая постановка
исторического вопроса:
может ли
слона
убить папироса!

8-й газетчик

Грустно до слез,
смешно до колик:
объяснение
слова «алкоголик»!

VI

Матовая стеклянная двухстворчатая дверь, сквозь стены просвечивают металлические части медицинских приборов. Перед стеной старый профессор и пожилая ассистентка, еще сохранившая характерные черты Зои Березкиной. Оба в белом, больничном.

Зоя Березкина. Товарищ! Товарищ профессор, прошу вас, не делайте этого эксперимента. Товарищ профессор, опять пойдет буза...

Профессор. Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое «буза»? *(Ищет в словаре.)* Буза... Буза... Буза... Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков... Буза — это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности...

Зоя Березкина. Эта его «деятельность» пятьдесят лет назад чуть не стоила мне жизни. Я даже дошла до... попытки самоубийства.

Профессор. Самоубийство? Что такое «самоубийство»? *(Ищет в словаре.)* Самообложение, самодержавие, самореклама, самоуплотнение... нашел «самоубийство». *(Удивленно.)* Вы стреляли в себя? Приговор? Суд? Ревтрибунал?

Зоя Березкина. Нет... Я сама.

Профессор. Сама? От неосторожности?

Зоя Березкина. Нет... От любви.

Профессор. Чушь... От любви надо мосты строить и детей рожать... А вы... Да! Да! Да!

Зоя Березкина. Освободите меня, я, право, не могу.

Профессор. Это и есть... Как вы сказали... Буза. Да! Да! Да! Да! Буза! Общество предлагает вам выявить все имеющиеся у вас чувства для максимальной легкости преодоления размораживаемым субъектом пятидесяти анабиозных лет. Да! Да! Да! Да! Ваше присутствие очень, очень важно. Я рад, что вы нашлись и пришли. Он — это он! А вы — это она! Скажите, а ресницы у него были мягкие? На случай поломки при быстром размораживании.

Зоя Березкина. Товарищ профессор, как же я могу упомнить ресницы, бывшие пятьдесят лет назад...

Профессор. Как? Пятьдесят лет назад? Это вчера!.. А как я помню цвет волос на хвосте мастодонта полмиллиона лет назад? Да! Да! Да!.. А вы не помните, — он сильно раздувал ноздри при вдыхании в возбужденном обществе?

Зоя Березкина. Товарищ профессор, как же я могу помнить?! Уже тридцать лет никто не раздувает ноздрей в подобных случаях.

Профессор. Так! Так! Так! А вы не осведомлены относительно объема желудка и печени, на случай выделения возможного содержания спирта и водки, могущих воспламениться при необходимом высоком вольтаже?

Зоя Березкина. Откуда я могу запомнить, товарищ профессор! Помню, был какой-то живот...

П р о ф е с с о р. Ах, вы ничего не помните, товарищ Березкина! По крайней мере, был ли он порывист?

З о я Б е р е з к и н а. Не знаю... Возможно, но... только не со мной.

П р о ф е с с о р. Так! Так! Так! Я боюсь, что мы отмораживаем его, а отмерзли пока что вы. Да! Да! Да!.. Ну-с, приступаем.

Нажимает кнопку, стеклянная стена тихо расходится. Посредине, на операционном столе, блестящий оцинкованный ящик человечьих размеров. У ящика краны, под кранами ведра. К ящику электропроводки. Цилиндры кислорода. Вокруг ящика ш е с т ь в р а ч е й, белых и спокойных. Перед ящиком на авансцене шесть фонтанных умывальников. На невидимой проволоке, как на воздухе, шесть полотенец.

П р о ф е с с о р *(переходя от врача к врачу, говорит)*. *(Первому.)* Ток включить по моему сигналу. *(Второму.)* Доведите теплоту до 36,4 — пятнадцать секунд каждая десятая. *(Третьему.)* Подушки кислорода наготове? *(Четвертому.)* Воду выпускать постепенно, заменяя лед воздушным давлением. *(Пятому.)* Крышку открыть сразу. *(Шестому.)* Наблюдать в зеркало стадии оживления.

Врачи наклоняют головы в знак ясности и расходятся по своим местам.

Начинаем!

Включается ток, вглядываются в температуру. Каплет вода. У маленькой правой стенки с зеркалом впившийся доктор.

6-й в р а ч. Появляется естественная окраска!

Пауза.

Освобожден ото льда!

Пауза.

Грудь вибрирует!

Пауза.

(Испуганно.) Профессор, обратите внимание на неестественную порывистость...

П р о ф е с с о р *(подходит, вглядывается, успокоительно)*. Движения нормальные, чешется,— очевидно, оживают присущие подобным индивидуумам паразиты.

6-й в р а ч. Профессор, непонятная вещь: движением левой руки отделяется от тела...

П р о ф е с с о р *(вглядывается)*. Он сросся с музыкой, они называли это «чуткой душой». В древности жили Страдивариус и Уткин. Страдивариус делал скрипки, а это делал Уткин, и называлось это гитарой.

Профессор оглядывает термометр и аппарат, регистрирующий давление крови.

1-й врач. 36,1.

2-й врач. Пульс 68.

6-й врач. Дыхание выровнено.

Профессор. По местам!

Врачи отходят от ящика. Крышка мгновенно откинулась, из ящика подымается взъерошенный и удивленный Присыпкин, озирается, прижав гитару.

Присыпкин. Ну и выспался! Простите, товарищи, конечно, выпимши был! Это какое отделение милиции?

Профессор. Нет, это совсем другое отделение! Это — отделение ото льда кожных покровов, которые вы отморозили...

Присыпкин. Чего? Это вы чевой-то отморозили. Еще посмотрим, кто из нас были пьяные. Вы, как спецы-доктора, всегда сами около спиртов третесь. А я себя, как личность, всегда удостоверить сумею. Документы при мне. *(Выскакивает, выворачивает карманы.)* 17 руб. 60 коп. при мне. В МОПР? Уплатил. В Осоавиахим? Внес. «Долой неграмотность»? Пожалуйста. Это что? Выписка из загса! *(Свистнул.)* Да я же вчера женился! Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Ну и всыплют мне дома! Расписка шаферов здесь. Профсоюзный билет здесь. *(Взгляд падает на календарь, трет глаза, озирается в ужасе.)* 12 мая 1979 года! Это ж за сколько у меня в профсоюз не плочено! Пятьдесят лет! Справок-то, справок спросют! Губотдел! ЦК! Господи! Жена!!! Пустите! *(Обжимает окружающим руки, бросается в дверь.)*

За ним беспокоящаяся Березкина. Доктора́ окружают профессора. Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

Хором. Это что он такое руками делал? Совал и тряс, тряс и совал...

Профессор. В древности был такой антисанитарный обычай.

Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

Присыпкин *(натыкаясь на Зою)*. Какие вы, граждане, собственно, есть? Кто я? Где я? Не матушка ли вы Зои Березкиной будете?

Рев сирены обернул присыпкинскую голову.

Куда я попал? Куда меня попали? Что это?.. Москва?.. Париж?? Нью-Йорк?! Извозчик!!!

Рев автомобильных сирен.

Ни людей, ни лошадей! Автодоры, автодоры, автодоры!!! *(Прижимается к двери, почесывается спиной, ищет пятерней, оборачивается, видит на белой стене переползающего с воротничка клопа.)* Клоп, клопик, клопуля!!! *(Перебирает гитару, поет.)* Не уходи, побудь со мною... *(Ловит клопа пятерней; клоп уполз.)* Мы разошлись, как в море корабли... Уполз!.. Один! Но нет ответа мне, снова один я... Один!!! Извозчик, автодоры... Улица Луначарского, 17! Без вещей!!! *(Хватается за голову, падает в обморок на руки выбежавшей из двери Березкиной.)*

VII

Середина сцены — треугольник сквера. В сквере три искусственных дерева. Первое дерево — на зеленых квадратах-листьях — огромные тарелки, на тарелках мандарины. Второе дерево — бумажные тарелки, на тарелках яблоки. Третье — зеленое, с елочными шишками, — открытые флаконы духов. Бока — стеклянные и облицованные стены домов. По сторонам треугольника — длинные скамейки. Входит репортер, за ним четверо: мужчины и женщины.

Репортер. Товарищи, сюда, сюда! В тень! Я вам расскажу по порядку все эти мрачные и удивительные происшествия. Во-первых... Передайте мне мандарины. Это правильно делает городское самоуправление, что сегодня деревья мандаринятся, а то вчера были одни груши — и не сочно, и не вкусно, и не питательно...

Девушка снимает с дерева тарелку с мандаринами, сидящие чистят, едят, с любопытством наклоняясь к репортеру.

1-й мужчина. Ну, скорей, товарищ, рассказывайте все подробно и по порядку.

Репортер. Так вот... Какие сочные ломтики! Не хотите ли?.. Ну хорошо, хорошо, рассказываю. Подумаешь, нетерпение! Конечно, мне как президенту репортажа, известно все... Так вот, видите, видите?..

Быстрой походкой проходит человек с докторским ящиком с термометрами.

Это — ветеринар. Эпидемия распространяется. Будучи оставлено одно, это воскрешенное млекопитающее вступило в общение со всеми домашними животными небоскреба, и теперь все собаки взбесились. Оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат. Животные пристают ко всем обедающим, подласкиваются и подлизываются. Врачи говорят, что люди, покусан-

ные подобными животными, приобретут все первичные признаки эпидемического подхалимства.

Сидящие. О-о-о!!!

Репортер. Смотрите, смотрите!

Проходит шатающийся человек, нагруженный корзинками с бутылками пива.

Проходящий
(напевает)

В девятнадцатом веке
чу́дно жили человеки —
пили водку, пили пиво,—
сизый нос висел, как слива!

Репортер. Смотрите, конченый, больной человек! Это один из ста семидесяти пяти рабочих второй медицинской лаборатории. В целях облегчения переходного существования врачами было предписано поить воскресшее млекопитающее смесью, отравляющей в огромных дозах и отвратительной в малых, так называемым пивом. У них от ядовитых испарений закружилась голова, и они по ошибке глотнули этой прохладительной смеси. И с тех пор сменяют уже третью партию рабочих. Пятьсот двадцать рабочих лежат в больницах, но страшная эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги.

Сидящие. А-а-а-а!!!

Мужчина *(мечтательно и томительно)*. Я б себя принес в жертву науке,— пусть привьют и мне эту загадочную болезнь!

Репортер. Готов! И этот готов! Тихо... Не спугните эту лунатичку...

Проходит девушка, ноги заплетаются в «па» фокстрота и чарльстона, бормочет стихи по книжице в двух пальцах вытянутой руки. В двух пальцах другой руки воображаемая роза, подносит к ноздрям и вдыхает.

Несчастная, она живет рядом с ним, с этим бешеным млекопитающим, и вот ночью, когда город спит, через стенку стали доноситься к ней гитарные рокотанья, потом протяжные, душу раздирающие придыхания и всхлипы нараспев, как это у них называется? «Романсы», что ли? Дальше — больше, и несчастная девушка стала сходить с ума. Убитые горем родители собирают консилиумы. Профессора говорят, что это приступы острой «влюбленности»,— так называлась древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разум-

но распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе, ведя к безрассудным и невероятным поступкам.

Девушка (*закрывает глаза руками*). Я лучше не буду смотреть, я чувствую, как по воздуху разносятся эти ужасные влюбленные микробы.

Репортер. Готова, и эта готова... Эпидемия океанится...

30 гёрлс проходят в танце.

Смотрите на эту тридцатиголовую шестидесятиножку! Подумать только — и это вздымание ног они (*к аудитории*) обзывали искусством!

Фокстротирующая пара.

Эпидемия дошла... дошла... до чего дошла? (*Смотрит в словарь.*) До а-по-гея, ну... это уже двуполое четвероногое.

Вбегает директор зоологического сада с небольшим стеклянным ларчиком в руках. За директором толпа, вооруженная зрительными трубами, фотоаппаратами и пожарными лестницами.

Директор (*ко всем*). Видали? Видали? Где он? Ах, вы ничего не видали!! Отряд охотников донес, что его видели здесь четверть часа тому назад: он перебирался на четвертый этаж. Считая среднюю его скорость в час полтора метра, он не мог уйти далеко. Товарищи, немедленно обследуйте стены!

Наблюдатели развинчивают трубы, со скамеек вскакивают, вглядываются, заслоняя глаза. Директор распределяет группы, руководит поисками.

Голоса.

— Разве его найдешь!.. Нужно голого человека на матраце в каждом окне выставить — он на человека бежит...

— Не орите, спугнете!!!

— Если я найду, я никому не отдам...

— Не смеешь: он коммунальное достояние...

Восторженный голос. Нашел!!! Есть! Ползет!..

Бинокли и трубы уставлены в одну точку. Молчание, прерываемое щелканием фото- и киноаппаратов.

Профессор (*придушенным шепотом*). Да... Это он! Поставьте засады и охрану. Пожарные, сюда!!!

Люди с сетками окружают место. Пожарные развинчивают лестницу, люди карабкаются гуськом.

Директор (*опуская трубу, плачущим голосом*). Ушел... На соседнюю стену ушел... SOS! Сорвется — убьется! Смельчаки, добровольцы, герои!!! Сюда!!!

Развинчивают лестницу перед второй стеной, вскарабкиваются. Зрители замирают.

Восторженный голос сверху. Поймал! Ура!!!

Директор. Скорей!!! Осторожней!!! Не упустите, не помни́те животному лапки...

По лестнице из рук в руки передают зверя, наконец очутившегося в директорских руках. Директор запрятывает зверя в ларец и подымает ларец над головой.

Спасибо вам, незаметные труженики науки! Наш зоологический сад осчастливлен, ошедеврен... Мы поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия насекомого. Наш город может гордиться — к нам будут стекаться ученые и туристы... Здесь, в моих руках, единственный живой «клопус нормалис». Отойдите, граждане: животное уснуло, животное скрестило лапки, животное хочет отдохнуть! Я приглашаю вас всех на торжественное открытие в зоопарк. Важнейший, тревожнейший акт поимки завершен!

VIII

Гладкие опаловые, полупрозрачные стены комнаты. Сверху из-за карниза ровная полоса голубоватого света. Слева большое окно. Перед окном рабочий чертежный стол. Радио. Экран. Три-четыре книги. Справа выдвинутая из стены кровать, на кровати, под чистейшим одеялом, грязнейший Присыпкин. Вентиляторы. Вокруг Присыпкина угол обгрязнен. На столе окурки, опрокинутые бутылки. На лампе обрывок розовой бумаги. Присыпкин стонет. Врач нервно шагает по комнате.

Профессор (*входит*). Как дела больного?

Врач. Больного — не знаю, а мои отвратительны! Если вы не устроите смену каждые полчаса, — он перезаразит всех. Как дыхнет, так у меня ноги подкашиваются! Я уж семь вентиляторов поставил: дыхание разгонять.

Присыпкин. О-о-о!

Профессор бросается к Присыпкину.

Профессор, о профессор!!!

Профессор тянет носом и отшатывается в головокружении, ловя воздух руками.

Опохмелиться...

Профессор наливает пива на донышко стакана, подает.

(Приподнимается на локтях. Укоризненно.) Воскресили... и издеваются! Что это мне — как слону лимонад!..

Профессор. Общество надеется развить тебя до человеческой степени.

Присыпкин. Черт с вами и с вашим обществом! Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно! Во!!!

Профессор. Не понимаю, о чем ты говоришь! Наша жизнь принадлежит коллективу, и ни я, ни кто другой не могут эту жизнь...

Присыпкин. Да какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить? Все кнопки об проклятое стекло обламываются... Товарищ профессор, дайте опохмелиться.

Профессор *(наливает стакан)*. Только не дышите в мою сторону.

Зоя Березкина входит с двумя стопками книг. Врачи переговариваются с ней шепотом, выходят.

Зоя Березкина *(садится около Присыпкина, распаковывает книги)*. Не знаю, пригодится ли это. Про что ты говорил, этого нет, и никто про это не знает. Есть про розы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе сновидений. Вот две интереснейшие книги приблизительно того времени. Перевод с английского: Хувер — «Как я был президентом».

Присыпкин *(берет книгу, отбрасывает)*. Нет, это не для сердца, надо такую, чтоб замирало...

Зоя Березкина. Вот вторая — какого-то Муссолини: «Письма из ссылки».

Присыпкин *(берет, откидывает)*. Нет, это ж не для души. Отстаньте вы с вашими грубыми агитками. Надо, чтоб щипало...

Зоя Березкина. Не знаю, что это такое? Замирало, щипало... щипало, замирало...

Присыпкин. Что ж это? За что мы старались, кровь проливали, когда мне, гегемону, значит, в своем обществе в новоизученном танце и растанцеваться нельзя?

Зоя Березкина. Я показывала ваше телодвижение даже директору центрального института движений. Он говорит, что видал такое на старых коллекциях парижских открыток, а теперь, говорит, про такое и спросить не у кого.

Есть пара старух — помнят, а показать не могут по причинам ревматическим.

Присыпкин. Так для чего ж я себе преемственное изящное образование вырабатывал? Работать же я ж и до революции мог.

Зоя Березкина. Я возьму тебя завтра на танец десяти тысяч рабочих и работниц, будут двигаться по площади. Это будет веселая репетиция новой системы полевых работ.

Присыпкин. Товарищи, я протестую!!! Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили. *(Срывает одеяло, вскакивает, схватывает свернутую кипу книг и вытряхивает ее из бумаги. Хочет изодрать бумагу и вдруг вглядывается в буквы, перебегая от лампы к лампе.)* Где? Где вы это взяли?..

Зоя Березкина. На улицах всем раздавали... Должно быть, в библиотеке в книги вложили.

Присыпкин. Спасен!!! Ура!!! *(Бросается к двери, как флагом развевая бумажкой.)*

Зоя Березкина *(одна)*. Я прожила пятьдесят лет вперед, а могла умереть пятьдесят лет назад из-за такой мрази.

IX

Зоологический сад. Посредине на пьедестале клетка, задрапированная материями и флагами. Позади клетки два дерева. За деревьями клетки слонов и жирафов. Слева клетки трибуна, справа возвышение для почетных гостей. Кругом музыканты. Группами подходят зрители. Распорядители с бантами расставляют подошедших — по занятиям и росту.

Распорядитель. Товарищи иностранные корреспонденты, сюда! Ближе к трибунам! Посторонитесь и дайте место бразильцам! Их аэрокорабль сейчас приземляется на центральном аэродроме. *(Отходит, любуется.)* Товарищи негры, стойте вперемежку с англичанами красивыми цветными группами, англосаксонская белизна еще больше оттенит вашу оливковость... Учащиеся вузов, — налево, к вам направлены три старухи и три старика из союза столетних. Они будут дополнять объяснения профессоров рассказами очевидцев.

Въезжают в колясках старики и старухи.

1-я старуха. Как сейчас помню...

1-й старик. Нет — это я помню, как сейчас!

2-я старуха. Вы помните, как сейчас, а я помню, как раньше.

2-й старик. А я как сейчас помню, как раньше.

3-я старуха. А я помню, как еще раньше, совсем, совсем рано.

3-й старик. А я помню и как сейчас и как раньше.

Распорядитель. Тихо, очевидцы, не шепелявьте! Расступитесь, товарищи, дорогу детям! Сюда, товарищи! Скорее! Скорее!!

Дети

(маршируют колонной с песней)

Мы здо́рово
учимся
на бывшее «ять»!
Зато мы
и лучше всех
умеем
гулять.
Иксы
и игреки
давно
сданы.
Идем
туда,
где тигрики
и где
слоны!
Сюда,
где звери многие,
и мы
с людьём
в сад
зоологии
идем!
идем!!
идем!!!

Распорядитель. Граждане, желающие доставлять экспонатам удовольствия, а также использовать их в научных целях, благоволят приобретать дозированные экзотические продукты и научные приборы только у официальных служителей зоосада. Дилетантство и гипербола в дозах —

смертельны. Просим пользоваться только этими продуктами и приборами, выпущенными центральным медицинским институтом и городскими лабораториями точной механики.

По саду и театру идут служители зоосада.

1-й служитель

В кулак
бактерии
рассматривать глупо!
Товарищи,
берите
микроскопы и лупы!

2-й служитель

Иметь
советует
доктор Тоболкин
на случай оплевания
раствор карболки.

3-й служитель

Кормление экспонатов —
незабываемая
картина!
Берите
дозы
алкоголя и никотина!

4-й служитель

Пойте алкоголем,
и животные обеспечены
подагрой,
идиотизмом
и расширением печени.

5-й служитель

Гвоздика огня
и дымная роза
гарантируют
100
процентов
склероза.

6-й служитель

Держите
уши
в полном вооружении.
Наушники
задерживают
грубые выражения.

Распорядитель (*расчищает проход к трибуне горсовета*). Товарищ председатель и его ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем дорогих товарищей!

Все аплодируют, проходит группа с портфелями, степенно раскланиваясь и напевая.

Все

Службы
бремя
не сморщило нас.
Делу —
время,
потехе —
час!
Привет вам
от города,
храбрые ловцы!
Мы вами
гóрды,
мы —
города отцы!!!

Председатель (*входит на трибуну, взмахивает флагом, все затихает*). Товарищи, объявляю торжество открытым. Наши года чреваты глубокими потрясениями и переживаниями внутреннего порядка. Внешние события редки. Человечество, истомленное предыдущими событиями, даже радо этому относительному покою. Однако мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. Прискорбные случаи в нашем городе, явившиеся результатом неосмотрительного допущения к пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи, теплящиеся слабым напоминанием прошлого, подчеркивают ужас поверженного времени и мощь и трудность культурной борьбы рабочего человечества.

Да закалятся ду́ши и сердца нашей молодежи на этих зловещих примерах!

Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору, разгадавшему смысл странных явлений и сделавшему из пагубных явлений научное и веселое препровождение времени.

Ура!!!

Все кричат «ура», музыка играет туш, на трибуну влазит раскланивающийся директор зоологического сада.

Директор. Товарищи! Я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая и свое участие, я не могу все же не принести благодарности преданным труженикам союза охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору института воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Хотя я и не могу не указать, что первая ошибка уважаемого профессора была косвенной причиной известных бедствий. По внешним мимикрийным признакам — мозолям, одежде и прочему — уважаемый профессор ошибочно отнес размороженное млекопитающее к «гомо сапиенс» и к его высшему виду — к классу рабочих. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию. Мне помог случай. Неясная, подсознательная надежда твердила: «Напиши, дай, разгласи объявления». И я дал:

«Исходя из принципов зоосада, ищу живое человечье тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему, нормальных условиях».

Голос из толпы. Ах, кой южас!

Директор. Я понимаю, что ужас, я сам не верил собственному абсурду, и вдруг... существо является! Его внешность почти человеческая... Ну, вот как мы с вами...

Председатель совета (*звонит в звонок*). Товарищ директор, я призываю вас к порядку!

Директор. Простите, простите! Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более что они вам сейчас откроются в этой в полном смысле поразительной клетке.

Их двое — разных размеров, но одинаковых по существу: это знаменитые «клопус нормалис» и... и «обывателиус вульгарис». Оба водятся в затхлых матрацах времени.

«Клопус нормалис», разжирев и упившись на теле одного человека, падает по́д кровать.

«Обывателиус вульгарис», разжирев и упившись на теле всего человечества, падает на́ кровать. Вся разница!

Когда трудящееся человечество революции обчесывалось и корчилось, соскребая с себя грязь, они свивали себе в этой самой грязи гнезда и домики, били жен и клялись Бебелем, и отдыхали и благодушествовали в шатрах собственных галифе. Но «обывателиус вульгарис» страшнее. С его чудовищной мимикрией он завлекает обкусываемых, прикидываясь то сверчком-стихоплетом, то романсоголосой птицей. В те времена даже одежда была у них мимикрирующая — птичье обличье — крылатка и хвостатый фрак с белой-белой крахмальной грудкой. Такие птицы свивали гнезда в ложах театров, громоздились на дубах опер, под «Интернационал» в балетах чесали ногу об ногу, свисали с веточек строк, стригли Толстого под Маркса, голосили и зазывали в возмутительных количествах и... простите за выражение, но мы на научном докладе... гадили в количествах, не могущих быть рассматриваемыми, как мелкая птичья неприятность.

Товарищи! Впрочем... убеждайтесь сами!

Делает знак, служители обнажают клетку; на пьедестале клопий ларец, за ним возвышение с двуспальной кроватью. На кровати Присыпкин с гитарой. Сверху клетки свешивается желтая абажурная лампа. Над головой Присыпкина сияющий венчик — веер открыток. Бутылки стоят и валяются на полу. Клетка окружена плевательными урнами. На стенах клетки — надписи, с боков фильтры и озонаторы. Надписи: 1. «Осторожно — плюется!» 2. «Без доклада не входить!» 3. «Берегите уши — оно выражается». Музыка сыграла туш; освещение бенгальское; отхлынувшая толпа приближается, онемев от восторга.

Присыпкин

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой темной лестницей,
с завешенным окном!..

Директор. Товарищи, подходите, не бойтесь, оно совсем смирное. Подходите, подходите! Не беспокойтесь: четыре фильтра по бокам задерживают выражения на внутренней стороне клетки, и наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными служителями в противогазах. Смотрите, оно сейчас будет так называемое «курить».

Голос из толпы. Ах, какой ужас!

Директор. Не бойтесь — сейчас оно будет так называемое «вдохновляться». Скрипкин,— опрокиньте!

Скрипкин тянется к бутылке с водкой.

Голос из толпы. Ах, не надо, не надо, не мучайте бедное животное!

Директор. Товарищи, это же совсем не страшно: оно ручное! Смотрите, я его выведу сейчас на трибуну. *(Идет к клетке, надевает перчатки, осматривает пистолеты, открывает дверь, выводит Скрипкина, ставит его на трибуну, поворачивает лицом к местам почетных гостей.)* А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку.

Скрипкин *(покорно становится, покашливает, подымает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зрительный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится восторженным. Скрипкин отталкивает директора, швыряет гитару и орет в зрительный зал)*. Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..

Голоса гостей.

— Детей, уведите детей...
— Намордник... намордник ему...
— Ах, какой ужас!
— Профессор, прекратите!
— Ах, только не стреляйте!

Директор с вентилятором, в сопровождении двух служителей вбегает на эстраду. Служители оттаскивают Скрипкина. Директор проветривает трибуну. Музыка играет туш. Служители задергивают клетку.

Директор. Простите, товарищи... Простите... Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится... Тихо, граждане, расходитесь, до завтра.

Музыка, марш!

Конец

1928—1929

БАНЯ

Драма в шести действиях
с цирком и фейерверком

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Товарищ Победоносиков — главный начальник по управлению согласованием, главначпупс.
Поля — его жена.
Товарищ Оптимистенко — его секретарь.
Исак Бельведонский — портретист, баталист, натуралист.
Товарищ Моментальников — репортер.
Мистер Понт Кич — иностранец.
Товарищ Ундертон — машинистка.
Растратчик Ночкин.
Товарищ Велосипедкин — легкий кавалерист.
Товарищ Чудаков — изобретатель.
Мадам Мезальянсова — сотрудница ВОКС.
Товарищ Фоскин, Товарищ Двойкин, Товарищ Тройкин — рабочие.
Просители.
Преддомком.
Режиссер.
Иван Иванович.
Учрежденская толпа.
Милиционер.
Капельдинер.
Фосфорическая женщина.

I ДЕЙСТВИЕ

Справа стол, слева стол. Свисающие отовсюду и раскиданные везде чертежи. Посредине товарищ Фоскин запаивает воздух паяльной лампой. Чудаков переходит от лампы к лампе, пересматривая чертеж.

В е л о с и п е д к и н *(вбегая)*. Что, всё еще в Каспийское море впадает подлая Волга?

Ч у д а к о в *(размахивая чертежом)*. Да, но это теперь ненадолго. Часы закладывайте и продавайте.

В е л о с и п е д к и н. Хорошо, что я их еще и не купил.

Ч у д а к о в. Не покупай! Не покупай ни в коем случае! Скоро эта тикающая плоская глупость станет смешней, чем лучина на Днепрострое, беспомощней, чем бык в Автодоре.

В е л о с и п е д к и н. Унасекомили, значит, Швейцарию?

Ч у д а к о в. Да не щелкай ты языком на мелких сегодняшних политических счетах! Моя идея грандиознее. Волга человечьего времени, в которую нас, как бревна в сплав, бросало наше рождение, бросало барахтаться и плыть по течению,— эта Волга отныне подчиняется нам. Я заставлю время и стоять и мчать в любом направлении и с любой скоростью. Люди смогут вылазить из дней, как пассажиры из трамваев и автобусов. С моей машиной ты можешь остановить секунду счастья и наслаждаться месяц, пока не надоест. С моей машиной ты можешь взвихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи, и над тобой, не задевая и не раня, сто раз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные дни. Смотри, фейерверочные фантазии Уэльса, футуристический мозг Эйнштейна, звериные навыки спячки медведей и йогов — всё, всё спрессовано, сжато и слито в этой машине.

В е л о с и п е д к и н. Почти ничего не понимаю и во всяком случае совсем ничего не вижу.

Ч у д а к о в. Да напяль же ты очки! Тебя слепят эти планки платины и хрусталя, этот блеск лучевых сплетений. Видишь? Видишь?..

В е л о с и п е д к и н. Ну, вижу...

Ч у д а к о в. Смотри, ты призаметил эти две линейки, горизонтальную и вертикальную, с делениями, как на весах?

В е л о с и п е д к и н. Ну, вижу...

Ч у д а к о в. Этими линейками ты отмеряешь куб необходимого пространства. Смотри, ты видишь этот колесный регулятор?

В е л о с и п е д к и н. Ну, вижу...

Ч у д а к о в. Этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения и вот этими странноватыми рычажками включаешь скорость и направление времени.

В е л о с и п е д к и н. Понимаю! Здóрово! Необычайно!!! Это значит — собирается, например, всесоюзный съезд по

вопросу об успокоении возбуждаемых вопросов, ну, и, конечно, предоставляется слово для приветствия от Государственной академии научных художеств государственному товарищу Когану, и как только он начал: «Товарищи, сквозь щупальцы мирового империализма красной нитью проходит волна...» — я его отгораживаю от президиума и запускаю время со скоростью полтораста минут в четверть часа. Он себе потеет, приветствует, приветствует и потеет часа полтора, а публика глядит: академик только рот разинул — и уже оглушительные аплодисменты. Все облегченно вздохнули, подняли с кресел свеженькие зады и айда работать. Так?

Чудаков. Фу, какая гадость! Чего ты мне какого-то Когана суешь? Я тебе объясняю это дело вселенской относительности, дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из ноумена в реальность, подлежащую химическому и физическому воздействию.

Велосипедкин. А я что говорю? Я это и говорю: ты себе построй реальную станцию с полным химическим и физическим воздействием, а мы от нее проведем провода, ну скажем, на все куриные инкубаторы, в пятнадцать минут будем взращивать полупудовую курицу, а потом ей под крылышко штепсель, выключим время — и сиди, курица, и жди, пока тебя не поджарили и не съели.

Чудаков. Какие инкубаторы, какие курицы?!! Я тебе...

Велосипедкин. Да ладно, ладно, ты думай себе хоть про слонов, хоть про жирафов, если тебе про мелкую скотину и думать унизительно. А мы все это к нашим серменький цыплятам сами приспособим...

Чудаков. Ну, что за пошлятина! Я чувствую, что ты со своим практическим материализмом скоро из меня самого курицу сделаешь. Чуть я размахнусь и хочу лететь — ты из меня перья выщипываешь.

Велосипедкин. Ну, ладно, ладно, не горячись. А если я у тебя даже какое перо и выщипал, ты извини, я тебе его обратно вставлю. Летай, пари, фантазируй, мы твоему энтузиазму помощники, а не помеха. Ну, не злись, парнишка, запускай, закручивай свою машину. Чего помочь-то?

Чудаков. Внимание! Я только трону колесо, и время рванется и пустится сжимать и менять пространство, заключенное нами в клетку изоляторов. Сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей.

Велосипедкин. Постой, Чудаков, дай я стану сюда, может, я через пять минут выйду из комсомольца в этакие бородатые Марксы. Или нет, буду старым большевиком с трехсотлетним стажем. Я тебе тогда всё сразу проведу.

Чудаков (*оттягивая, испуганно*). Осторожно, сумасшедший! Если в идущих годах здесь проляжет стальная ферма подземной дороги, то, вмещаясь своим щуплым тельцем в занятое сталью пространство, ты моментально превратишься в зубной порошок. И может быть, в грядущем вагоны свер́зятся с рельс, а здесь небывалым времятрясением в тысячу баллов к чертовой бабушке разворотит весь подвал. Сейчас опасно пускаться туда, надо подождать идущих оттуда. Поворачиваю медленно-медленно — всего в минуту пять лет...

Фоскин. Постой, товарищ, обожди минуточку. Тебе все равно крутить машину. Сделай одолжение, сунь в твою машину мою облигацию,— не зря я в нее вцепился и не продаю,— может, она через пять минут уже сто тысяч выиграет.

Велосипедкин. Догадался! Тогда туда весь Наркомфин с Брюхановым засунуть надо, а то же ж ты выиграешь, а они все равно тебе не поверят — таблицу спросят.

Чудаков. Ну вот, я вам в будущее дверь пробиваю, а вы на рубли сползли... Фу, исторические материалисты!

Фоскин. Дура, я ж для тебя с выигрышем тороплюсь. У тебя на твой опыт есть деньги?

Чудаков. Да... Деньги есть?

Велосипедкин. Деньги?

Стук в дверь. Входят Иван Иванович, Понт Кич, Мезальянсова и Моментальников.

Мезальянсова (*Чудакову*). Ду ю спик инглиш? [1] Ах, так шпрехен зи дейч? [2] Парле ву франсе [3], наконец? Ну, я так и знала! Это утомительно очень. Я принуждена делать традюксион с нашего на рабоче-крестьянский. Мосье Иван Иванович, товарищ Иван Иванович! Вы, конечно, знаете Иван Ивановича?

Иван Иванович. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ! Не стесняйтесь! Я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимыч. Я сам иног-

[1] Говорите ли вы по-английски? (*англ.*— Do you speak English?)
[2] Говорите ли вы по-немецки? (*нем.*— Sprechen sie deutsch?)
[3] Говорите ли вы по-французски? (*фр.*— Parlez-vous français?)

да... но, понимаете, эта нагрузка! Нам, рабочим и крестьянам, очень, очень нужен свой, красный Эдисон. Конечно, кризис нашего роста, маленькие недостатки механизма, лес рубят — щепки летят... Еще одно усилие — и это будет изжито. У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Ну, я скажу Николаю Ивановичу, он не откажет. Но если он откажет, можно пойти к самому Владимиру Панфилычу, он, конечно, пойдет навстречу. Ведь даже и Семен Семенович мне постоянно говорит: «Нужен,— говорит,— нам, рабочим и крестьянам, нужен красный, свой, советский Эдисон». Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!
Аппетит наш невелик.
Лишь зад-да-да-да-данье нам дадите,—
всё исполним в тот же миг.

Мезальянсова. Мосье Моментальникóв, товарищ Моментальников! Сотрудник! Попутчик! Видит — советская власть идет,— присоединился. Видит — мы идем,— зашел. Увидит — они идут,— уйдет.

Моментальников. Совершенно, совершенно верно,— сотрудник! Сотрудник *до*революционной и *по*революционной прессы. Вот только революционная у меня, понимаете, как-то выпала. Здесь белые, там красные, тут зеленые, Крым, подполье... Пришлось торговать в лавочке. Не моя,— отца или даже, кажется, просто дяди. Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции моего толка. Эчеленца, прикажите,— аппетит наш невелик!

Понт Кич. Кхе! Кхе!

Мезальянсова. Пардон! Простите! Мистер Понт Кич, господин Понт Кич. Британский англосакс.

Иван Иванович. Вы были в Англии? Ах, я был в Англии!.. Везде англичане... Я как раз купил кепку в Ливерпуле и осматривал дом, где родился и жил Антидюринг. Удивительно интересно! Надо открыть широкую кампанию.

Мезальянсова. Мистер Понт Кич, известный, известный и в Лондоне и в Сити филателист. Филателист

(сконапель[1], марколюб — по-русски), и он очень, очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень, очень культурный и общительный человек. Даже меценат. Сконапель... ну, как это вам перевести?.. помогает, там, киноработникам, изобретателям... ну такой, такой вроде как будто РКИ, только наоборот... Ву компрэнэ?[2] Он уже смотрел на Москву с небоскреба «Известий» (Нахрихтен), он уже был у Анатоль Васильча, а теперь, говорит, к вам... Такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал.

Фоскин. Носатая сволочь: с нюхом!

Мезальянсова. Плиз[3], сэр!

Понт Кич. Ай Иван в дверь ревел, а звери обедали. Ай шел в рай менекен, а енот в Индостан, переперчил ой звери изобретейшен.

Мезальянсова. Мистер Понт Кич хочет сказать на присущем ему языке, что на его туманной родине все, от Макдональда до Черчилля, совершенно как звери, заинтересованы вашим изобретением, и он очень, очень просит...

Чудаков. Ну, конечно, конечно! Мое изобретенье принадлежит всему человечеству, и я, конечно, сейчас же... Я очень, очень рад. *(Отводит иностранца, доставшего блокнот, показывает и объясняет.)* Это вот так. Да... да... да... Здесь два рычажка, а на параллельной хрустальной измерительной линейке... Да... да... да... вот сюда! А это вот так... Ну да...

Велосипедкин *(отводя Ивана Ивановича)*. Товарищ, надо помочь парню. Я ходил всюду, куда «без доклада не входить», и часами торчал везде, где «кончил дело...» и так далее, и почти ночевал под вывеской «если вы пришли к занятому человеку, то уходите»—и никакого толку. Из-за волокиты и трусости ассигновать десяток червонцев гибнет, может быть, грандиозное изобретенье. Товарищ, вы должны с вашим авторитетом...

Иван Иванович. Да, это ужасно! Лес рубят — щепки летят. Я сейчас же прямо в Главное управление по согласованию. Я скажу сейчас же Николаю Игнатьевичу... А если он откажет, я буду разговаривать с самим Павлом Варфоломеичем... У вас есть телефон? Ах, у вас нет теле-

---

[1] что называется *(фр.*— ce qu'on appelle).
[2] Понимаете? *(фр.*— Vous comprenez?)
[3] пожалуйста *(англ.*— please).

фона! Маленькие недостатки механизма... Ах, какие механизмы в Швейцарии! Вы бывали в Швейцарии? Я был в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!

Понт Кич *(кладя блокнот в карман и пожимая Чудакову руку)*. Дед свел в рай трам из двери в двери лез и не дошел туго. Дуй Иван. Червонцли?..

Мезальянсова. Мистер Понт Кич говорит, что если вам нужны червонцы...

Велосипедкин. Ему? Ему не нужны, ему наплевать на червонцы. Я только что для него сбегал в Госбанк и пришел весь в червонцах. Даже противно. Сквозь карман жмут. Вот тут натыканы купюры по два, вот тут по три, а в этих двух карманах так одни десятичервонцевые. Ол райт! Гуд бай! *(Трясет Кичу руку, обнимает его обеими руками и восхищенно проводит к дверям.)*

Мезальянсова. Я очень прошу вас чуточку такта: с вашими комсомольскими замашками назреет, если еще не назрел, громадный международный конфликт. Гуд бай — до свидания!

Иван Иванович *(похлопывая по плечу Чудакова и прощаясь)*. Я тоже в ваши годы... Лес рубят — щепки летят. Нам нужен, нужен советский Эдисон. *(Уже из дверей.)* У вас нет телефона? Ну ничего, я обязательно скажу Никандру Пирамидоновичу.

Моментальников *(семенит, напевая)*. Эчеленца, прикажите...

Чудаков *(к Велосипедкину)*. Это хорошо, что есть деньги.

Велосипедкин. Денег нет!

Чудаков. То есть как же это, нет денег? Я не понимаю, зачем тогда хвастаться и говорить... А тем более отказываться, когда делаются солидные предложения со стороны иностранных...

Велосипедкин. Хоть ты и гений, а дурак! Ты хочешь, чтобы твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии прозрачным, командующим временами дредноутом невидимо бить по нашим заводам и Советам?

Чудаков. А ведь верно, верно... Как же это я ему все рассказал? А он еще в блокнот вписывал! А ты чего же меня не одернул? Сам еще к двери ведешь, обнимаешься!

Велосипедкин. Дура, я его недаром обнимал. Бывшая беспризорщина пригодилась. Я не его — я карман его

обнимал. Вот он, блокнот английский. Потерял блокнот англичанин.

Чудаков. Браво, Велосипедкин! Ну, а деньги?

Велосипедкин. Чудаков, я пойду на все. Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что щеки будут летать в воздухе. Я убеждал, я орал на этого Оптимистенко. Он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте только начальство отражается, и то вверх ногами. Я почти разагитировал бухгалтера Ночкина. Но что можно сделать с этим проклятым товарищем Победоносиковым? Он просто плющит каждого своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На вопрос: «Что делал до 17 года?» — в анкетах ставил: «Был в партии». В какой — неизвестно, и неизвестно, что у него, «бе» или «ме» в скобках стояло, а может, и ни бе, ни ме не было. Потом он утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А сейчас, через двадцать пять лет, само время засыпало ему глаза табаком мелочей и минут, глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что можно увидеть такими глазами? Социализм? Нет, только чернильницу да пресс-папье.

Фоскин. Товарищи, что же я слюной буду запаивать, что ли? Тут еще двух поставить надо. Двести шестьдесят рублей минимаксом.

Поля *(вбегает, размахивая пачкой)*. Деньги—смешно!

Велосипедкин *(Фоскину, передает деньги, Фоскин выбегает)*. Ну, гони! На такси гони! Хватай материал, помощников — и обратно. *(К Поле.)* Ну, что, уговорила начальство по семейной линии?

Поля. Разве с ним можно просто? Смешно! Он шипит бумажным удавом каждый раз, когда возвращается домой, беременный резолюциями. Не смешно. Это Ночкин... это такой бухгалтерчик в его учреждении, я его и вижу-то первый раз... Прибегает сегодня в обед, пакет сует, передайте, говорит... секретно... Смешно! А мне, говорит, к ним нельзя... по случаю возможности подозрения в соучастии. Не смешно.

Чудаков. Может быть, эти деньги...

Велосипедкин. Да. Тут есть над чем подумать, что-то мне кажется... Ладно! Все равно! Завтра разберемся.

Входят Фоскин, Двойкин и Тройкин.

Готово?

Фоскин. Есть!

Велосипедкин (*сгребая всех*). Ну, айда! Валяй, товарищи!

Чудаков. Так, так... Проводки спаяны. Изоляционные перегородки в порядке. Напряжение выверено. Кажется, можно. Первый раз в истории человечества... Отойдите! Включаю... Раз, два, три!

Бенгальский взрыв, дым. Отшатываются, через секунду приливают к месту взрыва. Чудаков выхватывает, обжигаясь, обрывок прозрачной стеклянистой бумаги с отбитым, рваным краем.

Прыгайте! Гогочите! Смотрите на *это! Это* — письмо! Это написано пятьдесят лет тому вперед. Понимаете — *тому вперед!!!* Какое необычайнейшее слово! Читайте!

Велосипедкин. Чего читать-то?.. «Бе дэ 5—24—20». Это что, телефон, что ли, какого-то товарища Бедэ?

Чудаков. Не «бе дэ», а «бу-ду». Они пишут одними согласными, а 5 — это указание порядковой гласной А — е — и — о — у: «Буду». Экономия двадцать пять процентов на алфавите. Понял? 24 — это завтрашний день. 20— это часы. *Он, она, оно* — будет здесь завтра — в восемь вечера. Катастрофа? Что?.. Ты видишь, видишь этот обожженный, снесенный край? Это значит — на пути времени встретилось препятствие, тело, в один из пятидесяти годов занимавшее это сейчас пустое пространство. Отсюда и взрыв. Немедля, чтоб не убить идущее оттуда, нужны люди и деньги... Много! Надо немедля вынести опыт возможно выше, на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину. Но завтра все будет решено.

Товарищи, вы со мной!

Бросаются к двери.

Велосипедкин. Пойдем, товарищи, возьмем их за воротник, заставим! Я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы.

Дверь распахивается навстречу.

Преддомкома. Я сколько раз вам говорил: выметайтесь вы отсюда с вашей частной лавочкой. Вы воняете вверх ответственному съемщику, товарищу Победоносикову. (*Замечает Полю.*) И... и... вы-ы... здесь? Я говорю, бог на помощь вашей общественной деятельности. У меня для вас отложен чудный вентиляторчик. До свиданьица.

II ДЕЙСТВИЕ

Канцелярская стена приемной. Справа дверь со светящейся вывеской «Без доклада не входить». У двери за столом Оптимистенко принимает длинный, во всю стену, ряд просителей. Просители копируют движения друг друга, как валящиеся карты. Когда стена освещается изнутри, видны только черные силуэты просителей и кабинет Победоносикова.

Оптимистенко. В чем дело, гражданин?

Проситель. Я вас прошу, товарищ секретарь, увяжите, пожалуйста, увяжите!

Оптимистенко. Это можно. Увязать и согласовать — это можно. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть отношение?

Проситель. Есть отношение... такое отношение, что прямо проходу не дает. Материт и дерется, дерется и материт.

Оптимистенко. Это кто же, вопрос вам проходу не дает?

Проситель. Да не вопрос, а Пашка Тигролапов.

Оптимистенко. Виноват, гражданин, как же это можно Пашку увязать?

Проситель. Это верно, одному его никак не можно увязать. Но вдвоем-втроем, ежели вы прикажете, так его и свяжут и увяжут. Я вас прошу, товарищ, увяжите вы этого хулигана. Вся квартира от его стонет...

Оптимистенко. Тьфу! Чего же вы с такими мелочами в крупное государственное учреждение лезете? Обратитесь в милицию... Вам чего, гражданочка?

Просительница. Согласовать, батюшка, согласовать.

Оптимистенко. Это можно — и согласовать можно и увязать. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть заключение?

Просительница. Нет, батюшка, нельзя ему заключение давать. В милиции сказали, можно, говорят, его на неделю заключить, а я чего, батюшка, кушать-то буду? Он из заключения выйдет, он ведь опять меня побьет.

Оптимистенко. Виноват, гражданочка, вы же заявляли, что вам согласовать треба. А чего ж вы мне мужем голову морочите?

Просительница. Меня с мужем-то и надо, батюшка, согласовать, несогласно мы живем, нет, пьет он очень вдумчиво. А тронуть его боимся, как он партейный.

Оптимистенко. Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное государственное учреждение. Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется — фордизмы разные, то, сё...

Вбегают Чудаков и Велосипедкин.

О! А вы ж куда ж?

Велосипедкин (*пытаясь отстранить Оптимистенко*). К товарищу Победоносикову экстренно, срочно, немедленно!

Чудаков (*повторяет*). Срочно... немедленно...

Оптимистенко. Ага-га! Я вас узнаю́. Это вы сами или ваш брат? Тут ходил молодой человек.

Чудаков. Это я сам и есть.

Оптимистенко. Да нет... Он же ж без бороды.

Чудаков. Я был даже и без усов, когда начал толкаться к вам. Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Мы идем к самому главначпупсу, нам нужен сам Победоносиков.

Оптимистенко. Не треба. Не треба вам его беспокоить. Я же ж вас могу собственнолично вполне удовлетворить. Всё в порядке. На ваше дело имеется полное решение.

Чудаков (*переспрашивает радостно*). Вполне удовлетворить? Да?

Велосипедкин (*переспрашивает радостно*). Полное решение? Да? Сломили, значит, бюрократов? Да? Здо́рово!

Оптимистенко. Да что вы, товарищ! Какой же может быть бюрократизм перед чисткой? У меня всё на индикаторе без входящих и исходящих, по новейшей карточной системе. Раз — нахожу ваш ящик. Раз — хватаю ваше дело. Раз — в руках полная резолюция — вот, вот!

Все втыкаются.

Я ж говорил — полное решение. Вот! От-ка-зать.

Первый план тухнет. Внутренность кабинета.

Победоносиков (*перелистывает бумаги, дозванивается по вертушке. Мимоходом диктует*). «...Итак, товарищи, этот набатный, революционный призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы Ильича свяжут «Площадь имени десятилетия советской медицины» с бывшим оплотом буржуазии, «Сенным рынком»... (*К телефону.*)

Да. Алло, алло!.. *(Продолжает.)* «Кто ездил в трамвае до 25 октября? Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за пять копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек. Итак, товарищи...» *(Звонок по телефону. В телефон.)* Да, да, да. Нету? На чем мы остановились?

Машинистка Ундертон. На «Итак, товарищи...».

Победоносиков. Да, да... «Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой — величайший и незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий — Большая Медведица. Лев Толстой...»

Ундертон. Простите, товарищ Победоносиков. Вы там про трамвай писали, а здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу впустили. Насколько можно понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил.

Победоносиков. Что? Какой трамвай? Да, да... С этими постоянными приветствиями и речами... Попрошу без замечаний в рабочее время! Для самокритики вам отведена стенная газета. Продолжаем... «Даже Лев Толстой, даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: «Не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения». И в эти дни юбилея...» Безобразие! Кошмар! Вызвать мне сюда товарища... гражданина бухгалтера Ночкина.

Кабинет Победоносикова тухнет. Опять очередь у кабинета. Врывающиеся Чудаков и Велосипедкин.

Велосипедкин. Товарищ Оптимистенко, это издевательство!

Оптимистенко. Да нет же ж, никакого издевательства нема. Слушали — постановили: отказать. Не входит ваше изобретение в перспективный план на ближайший квартал.

Велосипедкин. Так ведь не на одном твоем ближайшем квартале социализм строится.

Оптимистенко. Да не мешайте вы со своими фантазиями нашей государственной деятельности! *(К вошедше-*

му Бельведонскому.) Пожалте! Валяйте! Распространяйтесь! *(К Чудакову.)* Ваше предложение не увязано с НКПС и не треба широчайшим рабочим и крестьянам.

Велосипедкин. При чем тут НКПС? Что за головотяпство!

Чудаков. Конечно, нельзя предугадать всей грандиозности последствий, и возможно, возможно со временем применить с пользой мое изобретенье и к транспортным задачам — при максимальной быстроте и почти вне времени...

Велосипедкин. Ну, да, да, можно и с НКПС увязать. Например, садитесь вы в три часа ночи, а в пять утра — уже в Ленинграде.

Оптимистенко. Ну вот, а я что сказал? Отказать! Нежизненно. И зачем нам быть в пять утра в Ленинграде, когда все учреждения еще же ж закрыты? *(Загорается красная лампочка телефона. Слушает, кричит.)* Ночкина — к товарищу Победоносикову!

Отстраняясь от бросившихся к нему Чудакова и Велосипедкина, к дверям Победоносикова трусит рысцой Ночкин. Кабинет Победоносикова.

Победоносиков *(крутя и дуя в вертушку)*. Тьфу! Иван Никанорыч? Здóрово, Иван Никанорыч! Я тебя попрошу два билета. Ну да, международным. Как, уже не заведуешь? Тьфу! С этой нагрузкой просто отрываешься от масс. Нужен билет, так неизвестно, кому телефонить! Алло, алло! *(К машинистке.)* На чем остановились?

Ундертон. «Итак, товарищи...»

Победоносиков. «Итак, товарищи, Александр Семеныч Пушкин, непревзойденный автор как оперы «Евгений Онегин», так и пьесы того же названия...»

Ундертон. Простите, товарищ Победоносиков, но вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин—без всякой трамвайной остановки.

Победоносиков. Какой Толстой? При чем трамвай?! Ах да, да! С этими постоянными приветствиями... Попрошу без возражений! Я здесь выдержанно и усовершенствованно пишу на одну тему и без всяких уклонов в сторону, а вы... И Толстой, и Пушкин, и даже, если хотите, Байрóн — это всё хотя и в разное время, но союбилейщики, и вообще. Я, может, напишу одну общую руководящую статью, а вы могли бы потом, без всяких извращений самокритики, разрезать статью по отдельным вопросам, если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете про покрасить губки и припудриться, и вам не место в моем уч-

реждении. Давно пора за счет молодых комсомолок оработить секретариат. Попрошу-с сегодня же...

Входит Бельведонский.

Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Бельведонский! Задание выполнено? В ударном порядке?

Бельведонский. Выполнено, конечно, выполнено. Почти не смыкая глаз, так сказать, в социалистическом соревновании с самим с собой, но выполнено все согласно социальному заказу и авансу на все триста процентов. Изволите, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель?

Победоносиков. Продемонстрируйте!

Бельведонский. Извольте! Вы, разумеется, знаете и видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных Луёв. Вот это Луи Каторз Четырнадцатый, прозванный так французами после революции сорок восьмого года за то, что шел непосредственно после тринадцатого. Затем вот это Луи Жакоп, и, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мове Гу.

Победоносиков. Стили ничего, чисто подобраны. А как цена?

Бельведонский. Все три Луя́ приблизительно в одну цену.

Победоносиков. Тогда, я думаю, мы остановимся на Луе Четырнадцатом. Но, конечно, в согласии с требованием РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить под мореный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах.

Бельведонский. Восхитительно! Свыше пятнадцати Людовиков было, а до этого додуматься не могли, а вы сразу—по-большевицки, по-революционному! Товарищ Победоносиков, разрешите мне продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, а также распределителя кредитов. Тюрьма и ссылка по вас плачет, журнал, разумеется. Музей революции по вас плачет,— оригинал туда — оторвут с руками! А копии с небольшой рассрочкой и при удержании из жалования расхватают признательные сослуживцы. Позвольте?

Победоносиков. Ни в каком случае! Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу, но если необходимо для полноты истории и если на ходу, не прерывая работы, то пожалуйста. Я сяду здесь, за письменным столом, но ты изобрази меня ретроспективно, то есть как будто бы на лошади.

Бельведонский. Лошадь вашу я уже дома нарисовал по памяти, вдохновлялся на бегах и даже, не поверите, в нужных местах сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Разрешите отодвинуть в сторону корзиночку с бумажками. Какая скромность при таких заслугах! Очистите мне линию вашей боевой ноги. Как сапожок чисто блестит, прямо—хоть лизни. Только у Микель Анжéло встречалась такая чистая линия. Вы знаете Микель Анжéло?

Победоносиков. Анжелов, армянин?

Бельведонский. Итальянец.

Победоносиков. Фашист?

Бельведонский. Что вы!

Победоносиков. Не знаю.

Бельведонский. Не знаете?

Победоносиков. А он меня знает?

Бельведонский. Не знаю... Он тоже художник.

Победоносиков. А! Ну, он мог бы и знать. Знаете, художников много, главначпупс — один.

Бельведонский. Карандаш дрожит. Не передать диалектику характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое! Блесните глазами через правое плечо и через самопишущую ручку-с. Позвольте увековечить это мгновение.

Победоносиков. Войдите!

Входит Ночкин.

Вы?!!

Ночкин. Я...

Победоносиков. Двести тридцать?

Ночкин. Двести сорок.

Победоносиков. Пропили?..

Ночкин. Проиграл.

Победоносиков. Чудовищно! Непостижимо! Кто? Растратчик! Где? У меня! В какое время? В то время, когда я веду мое учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса и согласно предписаниям центра...

Ночкин. Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал.

Победоносиков. Карл Маркс? В карты? Никогда!!!

Ночкин. Ну вот, никогда... А что писал Франц Меринг? Что он писал на семьдесят второй странице своего капитального труда «Карл Маркс в личной жизни»? Играл! Играл наш великий учитель...

Победоносиков. Я, конечно, читал и знаю Меринга. Во-первых, он преувеличивает, а во-вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры.

Ночкин. А вот одноклассник, знаток и современник, известный Людвиг Фейербах, пишет, что и в азартные.

Победоносиков. Ну да, я читал, конечно, товарища Фейербахова. Карл Маркс иногда играл и в азартные, но не на деньги...

Ночкин. Нет... На деньги.

Победоносиков. Да, но на свои, а не на казенные.

Ночкин. Положим, каждый, штудировавший Маркса, знает, что был, правда, однажды, памятный случай и с казенными.

Победоносиков. Конечно, этот исторический случай заставит нас, ввиду исторического прецедента, подойти внимательнее к вашему проступку, но все же...

Ночкин. Да бросьте вы вола вертеть! Не играл никогда Карл Маркс ни в какие карты. Да что мне вам рассказывать! Разве вы человека поймете? Вам только чтоб образцам да параграфам соответствовало. Эх ты, портфель набитый! Клипса канцелярская!

Победоносиков. Что?! Издеваться? И над своим непосредственным, ответственным начальством и над посредственной... да нет, что я говорю! над безответственной тенью Маркса... Не пускать! Задержать!!!

Ночкин. Товарищ Победоносиков, не утруждайте себя звонками, я сам в МУУР сообщу.

Победоносиков. Прекращу! Не позволю!!!

Бельведонский. Товарищ Победоносиков! Мгновение! Сохраните позу, как таковую. Дайте увековечить это мгновеньице.

Ундертон. Ха-ха-ха!

Победоносиков. Сочувствие? Растратчику? Смеяться? Да еще накрашенными губами?.. Вон! *(Один, накручивая вертушку.)* Алло, алло! Фу, фу!.. Кто это! Александр Петрович. Да я ж тебя три дня... Прошел? Поздравляю. Ну еще бы, еще бы! Какие могут быть сомнения!.. Как всегда, целыми днями, целыми ночами... Да, наконец сегодня... Два билета. Мягкие. Первый. Со стенографисткой. При чем тут РКИ? Необходимо додиктовать отчет. Какое имеют значение двести сорок рублей туда и обратно? Да, проведем их как суточные или еще какие-нибудь. В ударном порядке, с курьером... Ну, конечно, твое продвину... Вот,

вот! Зеленый Мыс... Мне. Ну, жму руку, с ответственным приветом. *(Бросает трубку. Мотивом тореадора.)* Алло, алло!

Приемная. Чудаков и Велосипедкин наступают.

Оптимистенко. Да куда же ж вы прете, наконец? Имейте ж уважение к трудам и деятельности государственного персонала.

Входит Мезальянсова. Снова рванулись Чудаков и Велосипедкин.

Нет, нет... Вне очереди, согласно телефонограмме... *(Проводит под ручку, выговаривая.)* Все готово... А як же ж. Я ему рассказал со значением, что супруга его по комсомольцам пошла. Он спервоначалу как рассердится! Не потерплю, говорит, невоздержанные ухаживания без сериозного стажа и служебного базиса, а потом даже обрадовался. Секретаршу уже ликвидировал по причинам неэтичности губ. Идите прямо, не бойтесь! И под каждым ей листком был уже готов местком...

Мезальянсова уходит.

Чудаков. Ну, вот, теперь эту пропустили! Товарищ, да поймите ж вы — никакая научная, никакая нечистая сила уже не может остановить надвигающееся. Если мы не вынесем опыт в пространство над городом, то может даже быть взрыв.

Оптимистенко. Взрыв? Ну, ето вы оставьте! Не угрожайте государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться невдобно, а когда будет взрыв, тогда и заявим на вас куда следует.

Велосипедкин. Да пойми ты, дурья голова!.. Это тебя надо распрозаявить и куда следует и куда не следует. Люди горят работать на всю рабочую вселенную, а ты, слепая кишка, канцелярскими разговорами мочишься на их энтузиазм. Да?

Оптимистенко. Попрошу-с не упирать на личность! Личность в истории не играет особой роли. Это вам не царское время. Это раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас исторический материализм, и никакого энтузиазму с вас не спрашивается.

Мезальянсова входит.

Расходитесь, граждане, прием закрыт.

Мезальянсова *(с портфелем)*. О баядера, перед твоей красотой! Тара-рам-тара-рам...

III ДЕЙСТВИЕ

Сцена — продолжение театральных рядов. В первом ряду несколько свободных мест. Сигнал: «Начинаем». Публика смотрит в бинокли на сцену, сцена смотрит в бинокли на публику. Начинаются свистки, топанье, крики: «Время!»

Режиссер. Товарищи, не волнуйтесь! На несколько минут придется задержать третье действие по независящим обстоятельствам.

Минута, снова крики: «Время!»

Одну минуту, товарищи! *(В сторону.)* Ну что, идут? Неудобно так затягивать. Переговорить, наконец, можно и потом; пройдите в фойе, как-нибудь вежливо намекните. А, идут!.. Пожалте, товарищи. Нет, что вы! Очень приятно! Ну, несущественно, одну минуту, даже полчаса, это ж не поезд, всегда можно задержать. Каждый понимает, в такое время живем. Могут быть всякие там государственные, даже планетарные дела. Вы смотрели первый и второй акт? Ну, как, как? Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд...

Победоносиков. Ничего, ничего! Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено. Подмечено. Но все-таки это как-то не то...

Режиссер. Так ведь это все можно исправить, мы всегда стремимся. Вы только сделайте конкретные указания,— мы, конечно... оглянуться не успеете...

Победоносиков. Сгущено все это, в жизни так не бывает... Ну, скажем, этот Победоносиков. Неудобно все-таки... Изображен, судя по всему, ответственный товарищ, и как-то его выставили в таком свете и назвали еще как-то «главначпупс». Не бывает у нас таких, ненатурально, нежизненно, непохоже! Это надо переделать, смягчить, опоэтизировать, округлить...

Иван Иванович. Да, да, это неудобно! У вас есть телефон? Я позвоню Федору Федоровичу, он, конечно, пойдет навстречу... Ах, во время действия неудобно? Ну, я потом. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников.

Эчеленца, прикажите!
Аппетит наш невелик.
Только слово, слово нам скажите,—
изругаем в тот же миг.

Режиссер. Что вы! Что вы, товарищи! Ведь это в порядке опубликованной самокритики и с разрешения Гублита выведен только в виде исключения литературный отрицательный тип.

Победоносиков. Как вы сказали? «Тип»? Разве ж так можно выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про какого-нибудь совсем беспартийного прощелыгу. Тип! Это все-таки не «тип», а как-никак поставленный руководящими органами главначпупс, а вы — тип!! И если в его действиях имеются противозаконные нарушения, надо сообщить куда следует на предмет разбирательства и, наконец, проверенные прокуратурой сведения — сведения, опубликованные РКИ, претворить в символические образы. Это я понимаю, но выводить на общее посмешище в театре...

Режиссер. Товарищ, вы совершенно правы, но ведь это по ходу действия.

Победоносиков. Действия? Какие такие действия? Никаких действий у вас быть не может, ваше дело показывать, а действовать, не беспокойтесь, будут без вас соответствующие партийные и советские органы. А потом, надо показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например...

Иван Иванович. Да, да, да! Вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений — конвейер. Настоящий уголок социализма. Удивительно интересно!

Режиссер. Но, товарищ, позвольте...

Победоносиков. Не позволю!!! Не имею права и даже удивляюсь, как это вообще вам позволили! Это даже дискредитирует нас перед Европой. *(Мезальянсовой.)* Это вы не переводите, пожалуйста...

Мезальянсова. Ах, нет, нет, ол райт! Он только что поел икры на банкете и теперь дремлет.

Победоносиков. А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя? А что он изобрел? Тормоз Вестингауза он изобрел? Самопишущую ручку он выдумал? Трамвай без него ходит? Рациолярию он канцеляризировал?

Режиссер. Как?

Победоносиков. Я говорю, канцелярию он рационализировал? Нет! Тогда об чем толк? Мечтателей нам не нужно! Социализм — это учет!

Иван Иванович. Да, да. Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии — везде цифры и цифры, и маленькие, и большие, самые разные, а под конец все друг с другом сходятся. Учет! Удивительно интересно!

Режиссер. Товарищ, не поймите нас плохо. Мы можем ошибаться, но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят — и заработают, посмотрят — и взбудоражатся, посмотрят — и разоблачат.

Победоносиков. А я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не будоражить. Подумаешь, будильник! Вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить, ваше дело ласкать глаз, а не будоражить.

Мезальянсова. Да, да, ласкать...

Победоносиков. Мы хотим отдохнуть после государственной и общественной деятельности. Назад, к классикам! Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого. Сколько раз я вам говорил. Помните, как пел поэт:

После разных заседаний —
нам не радость, не печаль,
нам в грядущем нет желаний,
нам, тарам, тарам, не жаль...

Мезальянсова. Ну, конечно, искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь, красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение. Даже если это нужно для агитации, то и танец живота. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Показать, например, на сцене, что у них в Париже женотдела нет, а зато фокстрот, или какие юбки нового фасона носит старый одряхлевший мир — сконапель — бо монд [1]. Понятно?

Иван Иванович. Да, да! Сделайте нам красиво! В Большом театре нам постоянно делают красиво. Вы были на «Красном маке»? Ах, я был на «Красном маке». Удивительно интересно! Везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и... сифилиды.

Режиссер. Сильфиды, вы хотели сказать?

---

[1] высший свет (*фр.*— beau monde).

Иван Иванович. Да, да, да! Это вы хорошо заметили — сильфиды. Надо открыть широкую кампанию. Да, да, да, летают разные эльфы... и цвельфы... Удивительно интересно!

Режиссер. Простите, но эльфов было уже много, и их дальнейшее размножение не предусмотрено пятилеткой. Да и по ходу пьесы они нам как-то не подходят. Но относительно отдыха я вас, конечно, понимаю, и в пьесу будут введены соответствующие изменения в виде бодрых и грациозных дополнительных вставок. Вот, например, и так называемый товарищ Победоносиков, если дать ему щекотящую тему,— может всех расхохотать. Я сейчас же сделаю пару указаний, и роль просто разалмазится. Товарищ Победоносиков, возьмите в руки какие-нибудь три-четыре предмета, например, ручку, подпись, бумагу и партмаксимум, и сделайте несколько жонглерских упражнений. Бросайте ручку, хватайте бумагу — ставьте подпись, берите партмаксимум, ловите ручку, берите бумагу — ставьте подпись, хватайте партмаксимум. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сов-день — парт-день — бю-ро-кра-та. Сов-день — парт-день — бю-ро-кра-та. Доходит?

Победоносиков *(восторженно)*. Хорошо! Бодро! Никакого упадочничества — ничего не роняет. На этом можно размяться.

Мезальянсова. Вуй, сэ трэ педагожи́к [1].

Победоносиков. Легкость телодвижений, нравоучительная для каждого начинающего карьеру. Доступно, просто, на это можно даже детей водить. Между нами, мы — молодой класс, рабочий — это большой ребенок. Оно, конечно, суховато, нет этой округленности, сочности...

Режиссер. Ну, если вам это нравится, здесь горизонты фантазии необъятны. Мы можем дать прямо символистическую картину из всех наличных актерских кадров. *(Хлопает в ладоши.)*

Свободный мужской персонал — на сцену! Станьте на одно колено и согнитесь с порабощенным видом. Сбивайте невидимой киркой видимой рукой невидимый уголь. Лица, лица мрачнее... Темные силы вас злобно гнетут. Хорошо! Пошло́!..

Вы будете капитал. Станьте сюда, товарищ капитал. Танцуйте над всеми с видом классового господства. Воображаемую даму обнимайте невидимой рукой и пейте вооб-

---

[1] Да, это очень педагогично (*фр.*— Oui, c'est très pédagogique).

ражаемое шампанское. Пошло́! Хорошо! Продолжайте! Свободный женский состав — на сцену!

Вы будете — свобода, у вас обращение подходящее. Вы будете — равенство, значит, все равно, кому играть. А вы — братство,— другие чувства вы все равно не вызовете. Приготовились! Пошли! Подымайте воображаемым призывом воображаемые массы. Заражайте, заражайте всех энтузиазмом! Что вы делаете?!

Выше вздымайте ногу, симулируя воображаемый подъем. Капитал, подтанцовывайте налево с видом Второго Интернационала. Чего руками размахались! Протягивайте щупальцы империализма... Нет щупальцев? Тогда нечего лезть в актеры. Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством танцующих дам. Дамы, отказывайтесь резким движением левой руки. Так, так, так! Воображаемые рабочие массы, восстаньте символистически! Капитал, красиво падайте! Хорошо!

Капитал, издыхайте эффектно!

Дайте красочные судороги!

Превосходно!

Мужской свободный состав, сбрасывайте воображаемые оковы, вздымайтесь к символу солнца. Размахивайте победоносно руками. Свобода, равенство и братство, симулируйте железную поступь рабочих когорт. Ставьте якобы рабочие ноги на якобы свергнутый якобы капитал.

Свобода, равенство и братство, делайте улыбку, как будто радуетесь.

Свободный мужской состав, притворитесь, что вы — «кто был ничем», и вообразите, что вы — «тот станет всем». Взбирайтесь на плечи друг друга, отображая рост социалистического соревнования.

Хорошо!

Постройте башню из якобы могучих тел, олицетворяя в пластическом образе символ коммунизма.

Размахивайте свободной рукой с воображаемым молотом в такт свободной стране, давая почувствовать пафос борьбы.

Оркестр, подбавьте в музыку индустриального грохота.

Так! Хорошо!

Свободный женский состав — на сцену!

Увивайте воображаемыми гирляндами работников вселенной великой армии труда, символизируя цветы счастья, расцветшие при социализме.

Хорошо! Извольте! Готово!

Отдохновенная пантомима на тему —

«Труд и капитал
актеров напитал».

Победоносиков. Браво! Прекрасно! И как вы можете с таким талантом размениваться на злободневные мелочи, на пустяшные фельетоны? Вот это подлинное искусство — понятно и доступно и мне, и Ивану Ивановичу, и массам.

Иван Иванович. Да, да, удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню... Кому-нибудь позвоню. Прямо душа через край. Это заражает! Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!
Аппетит наш невелик.
Только хлеба-зрелищ нам дадите,—
всё похвалим в тот же миг.

Победоносиков. Очень хорошо! Всё есть! Вы только введите сюда еще самокритику, этаким символистическим образом, теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик, и пусть себе статьи пишет, пока вы здесь своим делом занимаетесь. Спасибо, до свидания! Я не хочу опошлять и отяжелять впечатления после такой изящной концовочки. С товарищеским приветом!

Иван Иванович. С товарищеским приветом! Кстати, как фамилия этой артисточки, третья сбоку? Очень красивое и нежное... дарование... Надо открыть широкую кампанию, а можно даже и узкую, ну так... я и она. Я позвоню по телефону. Или пускай она позвонит.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!
Стыд природный невелик.
Только адрес, адрес нам дадите,—
стелефоним в тот же миг.

Два капельдинера останавливают лезущего в первый ряд Велосипедкина.

Капельдинер. Гражданин, а гражданин, вас вежливо просют, убирайтесь вы отсюда! Куда вы прете?

Велосипедкин. Мне нужно в первый ряд...

Капельдинер. А бесплатных пирожных вам не нужно? Вас вежливо просют, гражданин, а гражданин? У вас билет в рабочей полосе, а вы в чистую публику прете.

Велосипедкин. Я иду в первый ряд к товарищу Победоносикову по делу.

Капельдинер. Гражданин, а гражданин, в театр для удовольствий ходют, а не по делу. Вам вежливо говорят, катитесь отсюда колбасой!

Велосипедкин. Удовольствие дело послезавтрашнее, а я по делу по сегодняшнему, и, если будет надо, не только первый — мы вам все ряды переворотим с ложами.

Капельдинер. Гражданин, вам вежливо говорят, выметайтесь отсюда! За гардероб не платили, программу не купили, да еще без билета!

Велосипедкин. Да я не смотреть пришел. С моим делом я и по партийному билету сюда пройду... Я к вам, товарищ Победоносиков!

Победоносиков. Чего вы кричите? И кто это такой? Какой-то Победоносиков?!!

Велосипедкин. Шутки в сторону, бросьте играться. Вы и есть он, и я к вам, который и есть главначпупс Победоносиков.

Победоносиков. Надо-с узнать если не имя-отчество, то хотя бы фамилию, прежде чем обращаться к вышесидящему ответственному товарищу.

Велосипедкин. Так как ты ответственный, ты и отвечай, почему у тебя в канцелярии замораживают изобретение Чудакова? В нашем распоряжении минуты. Несчастие будет непоправимо. Отпустите немедленно деньги, вынесем опыт на максимально возвышенное место и...

Победоносиков. Что за чепуха?! Какой Чудаков? Какие возвышенности? И я вообще сам сегодня выезжаю на возвышенности Кавказа.

Велосипедкин. Чудаков — это изобретатель...

Победоносиков. Изобретателей много, а я один, и вообще прошу не беспокоить меня хотя бы в редкие, урегулированные подлежащими инстанциями минуты отдыха. Зайдите в пятницу.

Режиссер усиленно машет рукой Велосипедкину.

Велосипедкин. К тебе зайдут — и не в пятницу, а сегодня, и не я, а...

Победоносиков. Пускай заходит кто угодно, и не ко мне, а к моему заместителю. Если в приказе объявлено о моем отпуске, значит, меня нет. Надо понимать конструкцию нашей конституции.

Это безобразие!

Велосипедкин (*к Ивану Ивановичу*). Втолкуйте ему, втелефонируйте ему, вы же обещали!

Иван Иванович. Приставать с делами к лицу, находящемуся в отпуску!!! Удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню Николаю Александровичу. Надо беречь здоровье старых ответственных, пока они еще молоды.

Режиссер. Товарищ Велосипедкин, умоляю вас, не устраивайте скандала! Он же ж не из пьесы. Он просто похож, и умоляю вас, чтобы они не догадались. Вы получите полное удовлетворение по ходу действия.

Победоносиков. Прощайте, товарищи! Нечего сказать, называетесь ррреволюционным театром, а сами раздражаете... как это вы сказали?.. будоражите, что ли, ответственных работников. Это не для масс, и рабочие и крестьяне этого не поймут, и хорошо, что не поймут, и объяснять им этого не надо. Что вы из нас каких-то действующих лиц делаете? Мы хотим быть бездейственными... как они называются? — зрителями. Не-еет! В следующий раз я пойду в другой театр!

Иван Иванович. Да, да, да! Вы видали «Вишневую квадратуру»? А я был на «Дяде Турбиных». Удивительно интересно!

Режиссер (*Велосипедкину*). Что вы наделали? Вы чуть не сорвали весь спектакль. Пожалте на сцену!

Пьеса продолжается!

IV ДЕЙСТВИЕ

Сцена переплетена входными лестницами. Углы лестниц, площадки и двери квартир. На верхнюю площадку выходит одетый и с чемоданом Победоносиков. Пытается плечом придавить дверь, но Поля распахивает дверку и выбегает на площадку. Кладет руку на чемодан.

Поля. Что ж, я так и останусь?.. Не смешно!

Победоносиков. Я прошу тебя прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство! Каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя, именно себя, а не тебя, из привычной среды, ну и я еду восстано-

вить важный государству организм, укрепить его в разных гористых местностях.

Поля. Я же знаю, ну, видела,— тебе принесли два билета. Я могла думать... Ну, чем, чем я тебе мешаю? Смешно!

Победоносиков. Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Мне на лодках кататься некогда. Это мелкие развлечения для разных секретарей. Плыви, моя гондола! У меня не гондола, а государственный корабль. Я тебе не загорать еду. Я всегда обдумываю текущий момент, а потом там... доклад, отчет, резолюция — социализм. По моему общественному положению мне законом присвоена стенографистка.

Поля. Когда я твоей стенографии мешала? Смешно! Ну, хорошо, ты перед другими ханжишь, стараешься, но чего ты меня обманываешь? Не смешно. Чего ты меня ширмой держишь?! Пусти ты меня, ради бога, и стенографируй хоть всю ночь! Смешно!

Победоносиков. Тсс... Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками. «Ради бога». Тсс... Внизу живет Козляковский, он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьичем.

Поля. Чего скрывать? Смешно!

Победоносиков. Тебе, тебе нужно скрывать, скрывать твои бабьи мещанские, упадочные настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся! Я — и ты! Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого, цепь старого быта!

Поля. Я тебе мешаю? Чем? Смешно! Это ты из меня сделал ощипанную наседку.

Победоносиков. Тсс!!! Довольно этой ревности! Сама шляешься по чужим квартирам. Комсомольские удовольствия, да? Думаешь, я не знаю? Не могла себе даже хахалей найти сообразно моему общественному положению. Шкодливая юбконосица!

Поля. Замолчи! Не смешно!

Победоносиков. Тсс!!! Я тебе сказал, внизу живет

Козляковский. Зайдем в квартиру. Это надо, наконец, кончить!

Хлопает дверью, вталкивая Полю в квартиру. На нижней ступеньке показывается Велосипедкин, за ним Чудаков, груженный невидимой машиной. Невидимую машину поддерживают Двойкин и Тройкин.

Велосипедкин. Нажимай, товарищи! Еще ступенек двадцать. Тащи тихо! Чтоб он не спрятался опять за секретарей и бумажки. Пускай эта бомба времени разорвется у него.

Чудаков. Боюсь, не успеем донести. Просчет в десятую секунды даст разницу в целый час по нашему времени.

Двойкин. Ты чувствуешь, как нагреваются части под рукой? Стекло закипает.

Тройкин. С моей стороны планка накаляется до невозможности. Плита! Честное слово, плита! С трудом держусь, чтоб не разжать ладонь.

Чудаков. Тяжесть машины увеличивается с каждой секундой. Я почти могу поручиться, что в машине материализуется постороннее тело.

Двойкин. Товарищ Чудаков, топай скорей! Поддерживать нет возможности. Огонь несем!!!

Велосипедкин *(подбегает и поддерживает, обжигаясь)*. Товарищи, не сдавайтесь. Еще ступенек десять — пятнадцать, он сейчас же здесь, наверху. О, черт, адово пламя! *(Отрывает обожженную руку.)*

Чудаков. Тащить дальше нельзя. Видимо, остаются секунды. Скорее! Хотя б до площадки! Сваливайте здесь!

Из двери выбегает Победоносиков, дверь захлопывает, потом стучит. Дверь приоткрывается, показывается Поля.

Победоносиков. Ты, конечно, не волнуйся... Ты, Полечка, помни, что ты *сама* можешь понять, что нашу жизнь, мою жизнь может устроить только твое доброе желание.

Поля. Мое? Сама? Не смешно!

Победоносиков. Кстати, я забыл спрятать браунинг. Он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен, и, чтоб выстрелить, надо только отвесть вот этот предохранитель. Прощай, Полечка!

Захлопывает дверь, прижимает ухо к замочной скважине, прислушивается. На нижней ступеньке показывается Мезальянсова.

Мезальянсова. Носик, ты скоро?

Победоносиков. Т-с-с-с!!!

Грохот, взрыв, выстрел. Победоносиков распахивает дверь и бросается в квартиру. На нижней площадке фейерверочный огонь. На месте поставленного аппарата светящаяся женщина со свитком в светящихся буквах. Горит слово «Мандат». Общее остолбенение. Выскакивает Оптимистенко, на ходу подтягивает брюки, в ночных туфлях на босы ноги, вооружен.

Оптимистенко. Где? Кого?!

Фосфорическая женщина. Привет, товарищи! Я делегатка 2030 года. Я включена на двадцать четыре часа в сегодняшнее время. Срок короткий, задания чрезвычайные. Проверьте полномочия и оповеститесь.

Оптимистенко *(бросается к делегатке, всматривается в мандат, скороговоркой проборматывая текст)*. «Институт истории рождения коммунизма...» Так... «Даны полномочия...» Правильно... «Отобрать лучших...» Ясно... «для переброски в коммунистический век...» Что делается-то! Что делается, господи!.. *(Бросается вверх по ступенькам.)*

На пороге появляется раздраженный Победоносиков.

Товарищ Победоносиков, к вам делегат из центру.

Победоносиков снимает кепку, роняет чемодан, растерянно пробегает мандат, потом торопливо приглашает рукой в квартиру. К Оптимистенко шепотом, потом к Фосфорической женщине.

Победоносиков *(к Оптимистенко)*. Накрути хвост вертушке. Справься там, знаешь у кого, возможная ли эта вещь, сообразно ли это с партэтикой и мыслимо ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления. *(К Фосфорической женщине.)* Я, конечно, уже в курсе этого дела, и мною оказано всемерное содействие. Ваши компетентные органы поступили вполне продуманно, направив вас ко мне. У нас этот вопрос уже прорабатывается в комиссии и сейчас же за получением руководящих директив будет с вами согласован. Пройдите прямо в мой кабинет, не обращая внимания на некоторое мещанство вследствие неувязки равенства культурного уровня супружества. *(К Велосипедкину.)* Пожалуйста! Я ж вам говорил — заходите прямо ко мне!

Победоносиков пропускает Фосфорическую женщину, постепенно охлаждающуюся и приходящую в нормальный вид.

(К подбежавшему Оптимистенко.) Ну, что, что?

Оптимистенко. Оне смеются и говорят, что это за границей человеческого понимания.

Победоносиков. Ах, за границей! Значит, надо с ВОКСом увязать. Самую мельчайшую вещь надо растолковывать. Сами ни малейшей инициативы не могут проявить. Товарищ Мезальянсова, стенография откладывается. Подымайтеся вверх для немедленной сверхурочной культурной связи.

V ДЕЙСТВИЕ

Установка второго действия, только беспорядочная. Надпись: «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век». Вдоль стены сидят Мезальянсова, Бельведонский, Иван Иванович, Кич, Победоносиков. Оптимистенко секретарствует на приеме. Победоносиков входит недовольный, придерживая двумя руками два портфеля.

Оптимистенко. В чем дело, гражданин?

Победоносиков. Нет, так это продолжаться не может! Я об этом еще поговорю. Я и в стенную газету про это напишу. Обязательно напишу!!! С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди!

Оптимистенко. Товарищ Победоносиков, да какой же может быть бюрократизм перед проверкой и перед отбором? Не треба вам ее беспокоить. Идите себе вне очереди. Вот очередь пройдет, и валяйте прямо сами по себе и без всякой очереди.

Победоносиков. Мне нужно сейчас!

Оптимистенко. Сейчас? Пожалуйста, сейчас! Только же ж у вас часы с ихними часами не согласованы. У нее же ж, товарищ, время другое, и как она мне скажет, вы сейчас же ж и пойдете...

Победоносиков. Так ведь мне ж надо в связи с переброской выяснить массу дел: и оклад, и квартиру, и прочее.

Оптимистенко. Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное госучреждение! Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется: фордизмы разные, машины времени, то, сё...

Иван Иванович. Вы когда-нибудь бывали в очереди? Я первый раз бываю в очереди. Удивительно неинтересно!

Бывший кабинет Победоносикова полон. Приподнятость и боевой беспорядок первых октябрьских дней. Фосфорическая женщина говорит.

Фосфорическая женщина. Товарищи, сегодняшняя встреча — наспех. Со многими мы проведем года. Я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Едва разнеслась весть о вашем опыте, ученые установили дежурство. Они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились сегодня. Вы сами не видите всей грандиозности ваших дел. Нам виднее: мы знаем, что́ вошло в жизнь. Я с удивлением оглядывала квартирки, исчезнувшие у нас и тщательно реставрируемые музеями, и я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас высятся у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившие буквы легенд о вашей борьбе — борьбе против всего вооруженного мира паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой, но я рада сказать вам о вашем величии.

Чудаков. Товарищ, простите, я вас перебью. Но времени остается наших шесть часов, и мне нужны ваши последние указания. Сколько будет отправлено, год назначения, быстрота?

Фосфорическая женщина. Направление — бесконечность, скорость — секунда — год, место — 2030 год, сколько и кто — неизвестно. Известна только станция назначения. Здесь — ценность неясна. Будущему прошлое — ладонь. Примут тех, кто сохранится в ста годах. Приступайте, товарищ! Кто с вами?

Фоскин. Я!

Двойкин. Я!

Тройкин. Я!

Фосфорическая женщина. А кто из математиков — для чертежей и руководства?

Фоскин. Мы!

Двойкин. Мы!

Тройкин. Мы!

Фосфорическая женщина. Как? Вы и рабочие, вы и математики?

Велосипедкин. Очень просто! Мы и рабочие, мы и вузовцы.

Фосфорическая женщина. Для нас просто. Я не знала, прост ли для вас переход от конвейера к управлению, от рашпиля к арифмометру.

Двойкин. Не такие переходы делали, товарищ. Мы броненосцы делали, потом зажигалки, с зажигалками кончили — штыки начали, штыков наделали — на трактора перешли, да еще всякую учебу на вуз наматывали. И у нас многие не верили, только мы это неверие в рабочий класс ликвидировали. Когда вы наше время изучали, у вас небольшой просчетец вышел. Вы, кажется, про прошлый год думаете?

Фосфорическая женщина. Я вижу, с вашим подвижным курьерским мозгом встать бы прямо в наши ряды и в нашу работу.

Велосипедкин. Этого мы и боимся, товарищ. Машину мы пустим и, конечно, пойдем, если ячейка пошлет. Но, пожалуйста, лучше пока не берите нас никуда. У нас как раз наш цех на непрерывку переходит — очень важно и интересно знать, выполним ли мы пятилетку в четыре года.

Фосфорическая женщина. Обещаю одно. Остановимся на станции 1934 год для получения справок. Но если таких, как вы, много, то и справок не надо.

Чудаков. Идем, товарищи!

Стена канцелярии. Пробегают Чудаков, Велосипедкин, Двойкин, Тройкин, Фоскин, на ходу сверяя планы. Победоносиков семенит за Чудаковым. Чудаков отмахивается.

Победоносиков (*возбужденно размахивая*). Подумаешь, какой-то Чудаков пользуется тем, что изобрел какой-то аппаратишко времени и познакомился с этой бабой, ответ-женщиной, раньше. Я еще не уверен вообще, что здесь не просто бытовое разложение и вообще связи фридляндского порядка. Пол и характер! Да! Да! (*К Оптимистенко.*) Подчиненный товарищ Оптимистенко, вы же должны понять, что вопрос касается важнейшей вещи о поездке моей, ответственного работника, во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку.

Оптимистенко. Да не согласовано ваше путешествие!

Победоносиков. То есть как это не согласовано? Я уже с утра себе и литеры и мандаты выписал!

Оптимистенко. Ну, видите, а с НКПС не увязано.

Победоносиков. Но при чем же тут НКПС? Это же головотяпство! Это же ж не поезд. Тут в одну секунду

сорок человек или восемь лошадей мчат вперед на целый год.

Оптимистенко. Отказать! Нежизненно! Кто же ж согласится ездить в командировку, когда ему за сто лет суточных треба, а ему секундочные выписывать будут?

Кабинет Победоносикова.

Фосфорическая женщина. Товарищи...

Поля. Прошу слова! Простите за навязчивость, я без всякой надежды, какая может быть надежда! Смешно! Я просто за справкой, что такое социализм. Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал, но все это как-то не смешно.

Фосфорическая женщина. Вам недолго осталось ждать. Вы поедете вместе с мужем, с детьми.

Поля. С детьми? Смешно, у меня нет детей. Муж говорит, что в наше боевое время лучше не связываться с таким несознательным не то элементом, не то алиментом.

Фосфорическая женщина. Хорошо. Вас не связывают дети, но ведь вас связывает многое другое, раз вы живете с мужем.

Поля. Живу? Смешно! Я не живу с мужем. Он живет с другими, равными ему умом, развитостью. Не смешно!

Фосфорическая женщина. Почему же вы называете его мужем?

Поля. Чтобы все видели, что он против распущенности. Смешно!

Фосфорическая женщина. Понимаю. Значит, он просто заботится о вас, чтобы у вас все было?

Поля. Да... он заботится, чтобы у меня ничего не было. Он говорит, что обрастание меня новым платьем компрометирует его в глазах товарищей. Смешно!

Фосфорическая женщина. Не смешно!

Стена канцелярии. Проходит Поля.

Победоносиков. Поля? Ты как здесь? Доносила? Жаловалась?!

Поля. Жаловалась? Смешно!

Победоносиков. Ты ей, главное, рассказала, как мы шли вместе, плечо к плечу, навстречу солнцу коммунизма? Как мы боролись со старым бытом? Женщины любят сентиментальность. Ей это понравилось? Да?

Поля. Вместе? Смешно!

Победоносиков. Ты смотри, Поля! Ты не должна запятнать мою честь как члена партии с выдающимся

стажем. Ты должна помнить про партийную этику и не выносить сора из избы. Кстати, ты пошла бы в избу, то есть в квартирку, и убрала бы, вынесла сор и уложила вещи. Я еду. Я против совместительства и пока поеду один, а тебя выпишу, когда вообще буду выписывать родственников. Иди домой, Поля, а то...

Поля. Что «а то»? Не смешно!

Кабинет Победоносикова.

Фосфорическая женщина. Выбор на ваше учреждение пал случайно, как и изобретения кажутся случайными. Пожалуй, лучшие образцы людей в том учреждении, в котором работают Тройкины и Двойкины. Но у вас на каждой пяди стройка, хорошие экземпляры людей можно вывезти и отсюда.

Ундертон. Скажите, а мне можно с вами?

Фосфорическая женщина. Вы отсюда?

Ундертон. Пока ниоткуда.

Фосфорическая женщина. Как так?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Что это значит?

Ундертон. Губы, говорят, красила.

Фосфорическая женщина. Кому?

Ундертон. Себе.

Фосфорическая женщина. Больше ничего не делали?

Ундертон. Перестукивала. Стенографировала.

Фосфорическая женщина. Хорошо?

Ундертон. Хорошо.

Фосфорическая женщина. Отчего ж ниоткуда?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Почему?

Ундертон. Губы красила.

Фосфорическая женщина. Кому?

Ундертон. Да себе ж!

Фосфорическая женщина. Так какое ж им дело?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Почему?

Ундертон. Губы, говорят, красила!

Фосфорическая женщина. Так зачем же вы красили?

Ундертон. Не покрасить, тогда и совсем не примут.

Фосфорическая женщина. Не понимаю. Ес-

ли б вы еще кому-нибудь другому, скажем, приходящим за справками на работе красили б, ну, тогда б могли сказать — мешает, посетители обижаются. А так...

Ундертон. Товарищ, вы меня извините за губы. Что мне делать? В подполье я не была, а нос у меня в веснушках, на меня только и внимание обратят, что я губами бросаюсь. Если у вас и без этого на людей смотрят, вы скажите, только покажите вашу жизнь — хоть краешком! Конечно, там у вас все важные... с заслугами, там Победоносиковы разные. Я им на глаза попадаться не буду, но все-таки пустите... Если не подойду, я обратно вернусь... вышлете сейчас же. А в дороге я могу кой-чего поделать, впечатления будете диктовать или отчет в израсходовании — я настукаю.

Ночкин. А я подсчитаю. Я лучше у вас в МУУР заявлю, а то пока здесь суды разберутся...

Стена приемной.

Победоносиков. Запишите, занесите в протокол! В таком случае я должен заявить, что я снимаю с себя всякую ответственность, и если вследствие незнакомства с предшествующей перепиской, а также неудачного подбора личного состава произойдет катастрофа...

Оптимистенко. Ну, ето вы оставьте!.. Не угрожайте крупному государственному учреждению, нам нервничать и волноваться невдобно. А если произойдет катастрофа, мы тогда и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола.

Проходит Ночкин, прячась за Ундертон.

Победоносиков *(останавливая Ночкина и меряя Ундертон глазами)*. Как? Еще в учреждении?! Еще на свободе?!! Товарищ Оптимистенко! Почему не приняты меры? Но, впрочем, раз вы еще на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы. Надо сообразно с моими командировками выписать подъемные и суточные, исходя из нормального понятия о времени и среднего заработка за сто лет, ну и там командировочные и подотчетные... В случае порчи машины, может, где-нибудь придется простоять, на каком-нибудь глухом полугодии, лет двадцать, тридцать, надо все это предусмотреть и принять во внимание. Нельзя так неорганизованно катиться...

Ночкин. А ты организованно катись колбасой!!! *(Скрывается.)*

Иван Иванович. Колбасой? Вы бывали на заседаниях? Я бывал на заседаниях. Везде бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой — удивительно интересно!

Победоносиков (*один, разваливается в кресле*). Ну, хорошо, я уйду! При таком отношении я скажу, что я ухожу в отставку. Пускай потом изучают меня по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу, но вам же, товарищи, хуже!

Выходит Фосфорическая женщина.

Оптимистенко. Прием закрыт! Придите завтра, в порядке живой очереди.

Фосфорическая женщина. Какой прием? Какое завтра? Какая очередь?!!

Оптимистенко (*указывая на вывеску «Без доклада не входить»*). Согласно с основными законами.

Фосфорическая женщина. А, вы эту глупость снять забыли?!

Победоносиков (*вскакивая и идя рядом с Фосфорической женщиной*). Здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Простите, что я опоздал, но эти дела... Я все-таки к вам заехал на минутку. Я отказывался. Но никто и слушать не хочет. Езжай, говорят, представительствуй. Ну, раз коллектив просит,— пришлось согласиться. Только имейте в виду, товарищ, я работник центрального значения, пускай другие колхозятся. Вы это учтите заранее и снеситесь. Товарищ Оптимистенко может дать молнией за наш счет. Вы, конечно, сами понимаете, что мне придется предоставить должность согласно стажу и общественному положению как крупнейшему работнику в своей области.

Фосфорическая женщина. Товарищ, я никого никуда не определяю, я явилась к вам только для убедительности. Не сомневаюсь, что с вами поступят так, как вы заслуживаете.

Победоносиков. Инкогнито́? Понимаю! Но между нами, как облеченными обоюдным доверием, не может быть тайн. И я, как старший товарищ, должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит. Чудаков — пьет, должно быть, пьет сообразно с фантазией. Должен сказать и про жену, не смею утаить от организации,— мещанка и привержена к новым связям и к новым юбкам, совокупно именуемым старым бытом.

Фосфорическая женщина. Ну какое вам дело? Работают зато...

Победоносиков. Ну что ж, что зато? Я тоже за то, но я зато не пью, не курю, не даю «на чай», не загибаю влево, не опаздываю, не... *(наклоняется к уху)* не предаюсь излишествам, не покладаю рук...

Фосфорическая женщина. Это вы говорите про все, чего вы «не, не, не»... Ну а есть что-нибудь, что вы «да, да, да»?

Победоносиков. Да, да, да? Ну да! Директивы провожу, резолюции подшиваю, связь налаживаю, партвзносы плачу́, партмаксимум получаю, подписи ставлю, печать прикладываю... Ну, просто уголок социализма. У вас там, должно быть, циркуляция бумажек налажена, конвейер, а?

Фосфорическая женщина. Не знаю, про что вы говорите, но, конечно, бумага для газет подается в машину исправно.

Входят Понт Кич и Мезальянсова.

Понт Кич. Кхе, кхе!

Мезальянсова. Плиз, сэр.

Понт Кич. Асеев, бегемот, дай в долг, лик избит, и стоимость снизилась май пуд часейшен...

Мезальянсова. Мистер Понт Кич хочет сказать, что он может по сходной государственной цене скупить, ввиду полной ненадобности, все часы, и тогда он поверит в коммунизм.

Фосфорическая женщина. Понятно и без перевода. Сначала признайте — выгоды потом! Товарищи! Приходи́те вовремя,— ровно в двенадцать часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени.

VI ДЕЙСТВИЕ

Подвал Чудакова. С двух сторон невидимой машины возятся Чудаков и Фоскин, Велосипедкин и Двойкин. Фосфорическая женщина сверяет с планом невидимую машину. Тройкин хранит двери.

Фосфорическая женщина. Товарищ Фоскин! Щиты, ослабляющие ветер, ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости. Переход почти не будет заметен.

Ф о с к и н. Стекло сменю. Полмиллиметра. Небьющееся.

Ф о с ф о р и ч е с к а я ж е н щ и н а. Товарищ Двойкин! Проверьте рессоры. Смотрите, чтобы не трясло на ухабах праздников. Непрерывка избаловала плавным ходом.

Д в о й к и н. Пройдем плавно, только б не валялись водочные бутылки на дороге.

Ф о с ф о р и ч е с к а я ж е н щ и н а. Товарищ Велосипедкин! Следите за манометром дисциплины. Отклонившихся срежет и снесет.

В е л о с и п е д к и н. Ничего! Подтянем струною!

Ф о с ф о р и ч е с к а я ж е н щ и н а. Товарищ Чудаков, готово?

Ч у д а к о в. Отметим линию стояния, и можно пускать пассажиров.

Белая лента-рулон размотана между колесами невидимой машины.

В е л о с и п е д к и н. Тройкин, пускай!

С четырех сторон с плакатами под «Марш времени» вливаются пассажиры.

Марш времени

Взвивайся, песня,
                    рей, моя,
над маршем
            красных рот!
Впе-
    ред,
        вре-
            мя!
Вре-
    мя,
        вперед!
Вперед, страна,
                скорей, моя,
пускай
        старье
            сотрет!
Впе-
    ред,
        вре-
            мя!
Вре-
    мя,
        вперед!

Шагай, страна,
быстрей, моя,
коммуна —
у ворот!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
На пятилетке
премией
мы —
сэкономим год!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Наляг, страна,
скорей, моя,
на непрерывный ход!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Сильней, коммуна,
бей, моя,
пусть вымрет
быт-урод!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!

Взвивайся, песня,
рей, моя,
над маршем
красных рот!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!

Оптимистенко *(отделяясь от толпы, к Чудакову)*. Товарищ, я вас должен конфиденциально спросить — буфет будет? Так и знал! А почему не оповещено приказом? Забыли? Ну, ничего, питья хватит, с едой перебьемся. Заходите в наше купе. Которое местечко-то?

Чудаков. Становитесь рядом. Плечо к плечу. Об усталости не беспокойтесь. Только поворот вот этого колеса — и через секунду...

Победоносиков *(входит в сопровождении Мезальянсовой)*. Звонка еще не было? Можно давать. Сразу второй! *(К Двойкину.)* Товарищ, ты партийный? Да? Не в службу, а в дружбу,— помоги там с вещами. Документы важные, о-о-о!!! Нельзя доверять разным беспартийным носильщикам, носящим только за деньги, а тебе, как выдвиженцу, пожалуйста,— неси! Доверяю!.. Кто здесь завглавнач посадки? Где мое купе? Мое место, конечно, нижнее...

Фосфорическая женщина. Машина времени еще не вполне оборудована. Вам, как пионерам этого вида транспорта, придется стоять со всеми.

Победоносиков. При чем тут пионеры? Пионерский слет закончен, и попрошу никогда больше не надоедать мне с пионерами. Эта кампания проведена! Я просто не поеду! Черт знает что такое! Надо наконец научиться беречь старого гвардейца, а то я уйду из гвардии. Наконец я требую компенсации за неиспользованный отпуск! Одним словом, где вещи?

Двойкин толкает вагонетку с перевязанными кипами бумаг, шляпными картонками, портфелями, охотничьими ружьями и шкафом-сундуком Мезальянсовой. С четырех углов вагонетки четыре сеттера. За вагонеткой Бельведонский, с чемоданом, ящиком, кистями, портретом.

Фосфорическая женщина. Товарищ, это что за громадный универмаг?

Оптимистенко. Да нет же ж. Это малюсенькое обрастание.

Фосфорическая женщина. Ну, зачем вам? Хоть часть оставьте!

Оптимистенко. Конечно, товарищ, почтой дошлете.

Победоносиков. Попрошу без замечаний! Развесьте себе стенную газету и замечайте там. Я должен представить циркуляры, литеры, копии, тезисы, перекопии, поправки, выписки, справки, карточки, резолюции, отчеты, протоколы и прочие оправдательные документы при хотя бы вещественных собаках. Я мог спросить дополнительный вагон-бис, но я не спрашиваю сообразно со скромностью в личной жизни. Не теряйте политику дальнего прицела. Вам это тоже очень и очень пригодится. Получив штаты, я переведу канцелярию в общемировой масштаб. Расширив штаты, я переведу масштаб в междупланетный. Надеюсь, вы не хотите обесканцелярить и дезорганизовать планету?

Оптимистенко *(Фосфорической женщине)*. Не возражайте, гражданка. Жалко же ж планету.

Фосфорическая женщина. Только возитесь быстрее!

Победоносиков. Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком! Попрошу не забывать — это мои люди, и пока я не снят, я здесь распронанглавный. Мне это надоело! Я буду жаловаться всем на все действия решительно всех, как только вступлю в бразды. Посторонитесь, товарищи! Ставьте вещи сюда. Где портфель светло-желтого молодого теленка с монограммой? Оптимистенко, сбегайте! Не волнуйтесь, подождут! Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков.

Оптимистенко бросается, навстречу Поля с портфелем.

Поля. Пожалуйста, не шипи! Я прибирала дома, как ты велел,— сейчас вернусь, доприбираюсь. Вижу — забыл. Думаю — важное! Смешно! Прибежала — пожалуйста! *(Передает портфель.)*

Победоносиков. Принимаю портфель и принимаю к сведению. Надо напоминать раньше! В следующий раз я буду рассматривать это как прорыв и ослабление супружеской дисциплины. Провожатые, выйдите! Прощай, Поля! Когда я устроюсь, я тебе буду присылать треть чего-нибудь в согласии с практикой суда и вплоть до изменения устаревшего законодательства.

Понт Кич (*входя и останавливаясь*). Кхе, кхе!

Мезальянсова. Плиз, сэр!

Понт Кич. Вор нагл драл с лип жасмин дай нам плюньте биллетер...

Мезальянсова. Мистер Кич хочет сказать и говорит, что он без билета, потому что не знал, какой нужен — партийный или железнодорожный, но что он согласен врастать в любой социализм, только чтоб это ему было доходно...

Оптимистенко. Плиз, плиз, сэр. Доро́гой договоримся.

Иван Иванович. Привет! Наше вам и вашим и нашим достижениям. Еще одно последнее усилие — и всё будет изжито. Вы видали социализм? Я сейчас увижу социализм — удивительно интересно.

Победоносиков. Итак, товарищи... Почему и на чем мы остановились?

Ундертон. Мы остановились на «Итак, товарищи...»

Победоносиков. Да! Прошу слово! Беру слово! Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате изобретен аппарат времени. Этот аппарат освобожденного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий. А так как в стоячем моменте неизвестно, где заключается начало и где наступает конец, то я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное. Аппарат прекрасный, аппарату рад — рад и я и мой аппарат. Мы рады потому, что, раз мы едем раз в год в отпуск и не пустим вперед год, мы можем быть в отпуску каждый год два года. И наоборот, теперь мы получаем жалованье один день в месяц, но раз мы можем пропустить весь месяц в один день, то мы можем получать жалованье каждый день весь месяц. Итак, товарищи...

Голоса.

— Долой!

— Довольно!!

— Валяй без молебнов!!!

— Чудаков, выключи ему время!

Чудаков подкручивает Победоносикова. Победоносиков продолжает жестикулировать, но уже совсем не слышен.

Оптимистенко. В свою очередь беру слово от лица всех и скажу вам прямо в лицо, невзирая на лица, что нам

все равно, какое лицо стоит во главе учреждения, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стоит. Но скажу нелицеприятно, что каждому лицу приятно, что это опять ваше приятное лицо. Поэтому от лица всех подношу вам эти часы, так как эти идущие часы будут к лицу именно вам, как лицу, стоящему во главе...

Голоса.

— Долой!!!

— Посолите ему язык!!

— Закрути ему кран, Чудаков!

Чудаков выключает Оптимистенко. Оптимистенко тоже жестикулирует, но и его не слышно.

Фосфорическая женщина. Товарищи! По первому сигналу мы мчим вперед, перервав одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны,— радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью. Удесятерим и продолжим пятилетние шаги. Держитесь массой, крепче, ближе друг к другу. Летящее время сметет и срежет балласт, отягченный хламом, балласт опустошенных неверием.

Победоносиков. Отойди, Поля!

Ночкин *(вбегает, преследуемый)*. Мне бы только добежать до социализма, уж там разберут.

Милиционер *(догоняет, свистя)*. Держи!!!

Вскакивают в машину.

Фосфорическая женщина. Раз, два, три!

Бенгальский взрыв. «Марш времени». Темнота. На сцене Победоносиков, Оптимистенко, Бельведонский, Мезальянсова, Понт Кич, Иван Иванович, скинутые и раскиданные чертовым колесом времени.

Оптимистенко. Слезай, приехали!

Победоносиков. Поля, Полечка! Пощупай меня, осмотри меня со всех сторон. Кажется, меня переехало временем. Полина!.. Увезли?! Задержать, догнать и перегнать! Который час? *(Смотрит на дареные часы.)*

Оптимистенко. Отдавайте, отдавайте часы, гражданин! Бытовая взятка нам не к лицу как таковая, коль скоро я один от лица всех месячное жалованье в эти часы вложил. Мы найдем себе другое лицо, чтобы подносить часы и уважать.

Иван Иванович. Лес рубят — щепки летят. Маленькие... большие недостатки механизма. Надо пойти привлечь советскую общественность. Удивительно интересно!

Победоносиков. Художник, лови момент, изобрази живого человека в смертельном оскорблении!

Бельведонский. Не-е-ет! Ракурс у вас какой-то стал неудачный. На модель надо смотреть, как утка на балкон. У меня только снизу вверх получается вполне художественно.

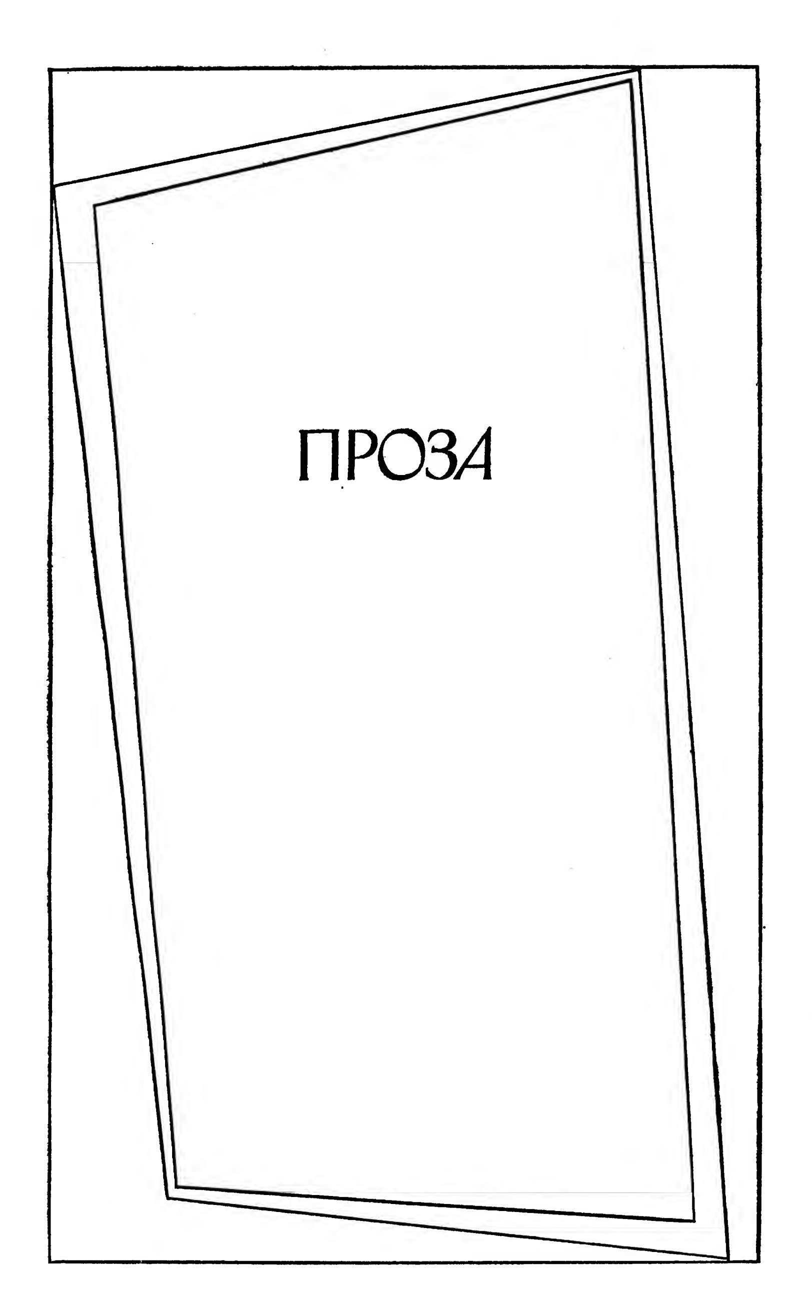
Победоносиков (*Мезальянсовой*). Хорошо, хорошо, пускай попробуют, поплавают без вождя и без ветрил! Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания. Пойдем, я с тобой, твой Носик!

Мезальянсова. Я уже с носиком, и даже с носом, и даже с очень большим. Ни социализма не смогли устроить, ни женщину. Ах вы, импо... зантная фигурочка, нечего сказать! Гуд бай, адье, ауфвидерзейн, прощайте!!! Плиз, май Кичик, май Пончик! *(Уходит с Понтом Кичем.)*

Победоносиков. И она, и вы, и автор — что вы этим хотели сказать,— что я и вроде не нужны для коммунизма?!?

Конец

1929—1930



ПРОЗА

УМЕР АЛЕКСАНДР БЛОК

Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого.

Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию.

Некоторые до сих пор не могут вырваться из его завораживающих строк — взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство. Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами — кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем и другим одинаково любовно памятен Блок.

Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, изящным словам символиста не под силу было выдержать и поднять ее тяжелые реальнейшие, грубейшие образы. В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме «Двенадцать» Блок надорвался.

Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?»—«Хорошо»,— сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».

Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей.

Поэмой зачитывались белые, забыв, что «хорошо», поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что

«библиотека сгорела». Символисту надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Славить ли это «хорошо» или стенать над пожарищем,— Блок в своей поэзии не выбрал.

Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме,— дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла.

1921

В. В. ХЛЕБНИКОВ

Умер Виктор Владимирович Хлебников.

Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения.

Всего из сотни читавших — пятьдесят называли его просто графоманом, сорок читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого ничего не получается, и только десять (поэты-футуристы, филологи «ОПОЯЗа») знали и любили этого Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами.

Хлебников — не поэт для потребителей. Его нельзя читать. Хлебников — поэт для производителя.

У Хлебникова нет поэм. Законченность его напечатанных вещей — фикция. Видимость законченности чаще всего дело рук его друзей. Мы выбирали из вороха бросаемых им черновиков кажущиеся нам наиболее ценными и сдавали в печать. Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове, вызывая веселое недоумение Хлебникова. К корректуре его нельзя было подпускать,— он перечеркивал все, целиком, давая совершенно новый текст.

Принося вещь для печати, Хлебников обыкновенно прибавлял: «Если что не так — переделайте». Читая, он обрывал иногда на полуслове и просто указывал: «Ну и так далее».

В этом «и т. д.» весь Хлебников: он ставил поэтическую задачу, давал способ ее разрешения, а пользование решением для практических целей — это он предоставлял другим.

Биография Хлебникова равна его блестящим словесным построениям. Его биография — пример поэтам и укор поэтическим дельцам.

Хлебников и слово.

Для так называемой новой поэзии (наша новейшая), особенно для символистов, слово — материал для писания стихов (выражения чувств и мыслей), материал, строение, сопротивление, обработка которого были неизвестны. Материал бессознательно ощупывался от случая к случаю. Аллитерационная случайность похожих слов выдавалась за внутреннюю спайку, за неразъединимое родство. Застоявшаяся форма слова почиталась за вечную, ее старались натягивать на вещи, переросшие слово.

Для Хлебникова слово — самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей. Отсюда — углубление в корни, в источник слова, во время, когда название соответствовало вещи. Когда возник, быть может, десяток коренных слов. а новые появлялись как падежи корня (склонение корней по Хлебникову)— напр., «бык»— это тот, *кто* бьет; «бок»— это то, *куда* бьет (бык). «Лыс» то, чем стал «лес»; «лось», «лис» — те, кто живут в лесу.

Хлебниковские строки —

> Леса лысы.
> Леса обезлосили. Леса обезлисили —

не разорвешь — железная цепь.

А как само расползается —

> Чуждый чарам черный челн
>
> *Бальмонт.*

Слово в теперешнем его смысле — случайное слово, нужное для какой-нибудь практики. Но слово точное должно варьировать любой оттенок мысли.

Хлебников создал целую «периодическую систему слова». Беря слово с неразвитыми, неведомыми формами, сопоставляя его со словом развитым, он доказывал необходимость и неизбежность появления новых слов.

Если развитый «пляс» имеет производное слово «плясунья» — то развитие авиации, «лёта», должно дать «летунья». Если день крестин — «крестины»,— то день лета — «летины». Разумеется, здесь нет и следа дешевого славянофильства с «мокроступами»; не важно, если слово «летунья» сейчас не нужно, сейчас не привьется — Хлебников дает только метод правильного словотворчества.

Хлебников мастер стиха.

Я уже говорил, что у Хлебникова нет законченных произведений. В его, напр., последней вещи «Зангези» ясно чувствуется два напечатанные вместе различные варианта. Хлебникова надо брать в отрывках, наиболее разрешающих поэтическую задачу.

Во всех вещах Хлебникова бросается в глаза его небывалое мастерство. Хлебников мог не только при просьбе немедленно написать стихотворение (его голова работала круглые сутки только над поэзией), но мог дать вещи самую необычайную форму. Например, у него есть длиннейшая поэма, читаемая одинаково с двух сторон —

Кони. Топот. Инок.
Но не речь, а черен он
и т. д.

Но это, конечно, только сознательное штукарство — от избытка. Штукарство мало интересовало Хлебникова, никогда не делавшего вещей ни для хвастовства, ни для сбыта.

Филологическая работа привела Хлебникова к стихам, развивающим лирическую тему одним словом.

Известнейшее стихотворение «Заклятие смехом», напечатанное в 1909 г., излюблено одинаково и поэтами, новаторами и пародистами, критиками:

О, засмейтесь, смехачи,
Что смеются смехами,
Что смеянствуют смеяльно,
О, иссмейся рассмеяльно смех
Усмейных смеячей
и т. д.

Здесь одним словом дается и «смейево», страна смеха, и хитрые «смеюнчики», и «смехачи» — силачи.

Какое словесное убожество по сравнению с ним у Бальмонта, пытавшегося также построить стих на одном слове «любить»:

Любите, любите, любите, любите,
Безумно любите, любите любовь
и т. д.

Тавтология. Убожество слова. И это для сложнейших определений любви! Однажды Хлебников сдал в печать шесть страниц производных от корня «люб». Напечатать нельзя было, т. к. в провинциальной типографии не хватило «Л».

От голого словотворчества Хлебников переходил к применению его в практической задаче, хотя бы описание кузнечика:

Крылышкуя золотописьмом тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Премного разных трав и вер.
Пинь-пинь-пинь — тарарахнул зензивер.

О неждарь вечерней зари!
О неждал!
Озари!

И наконец классика:

У колодца
Расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце
С позолотцей
Отразились повода.
Мчась, как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица
Убегать и расходиться,
Чтоб ценой работы добыты
Зеленее стали чоботы
Черноглазые ее.
Шепот, топот, неги стон,
Краска темная стыда,
Окна избы с трех сторон,
Краска темная стыда.

Оговариваюсь: стихи привожу на память, могу ошибиться в деталях и вообще не пытаюсь этим крохотным очерком очертить всего Хлебникова.

Еще одно: я намеренно не останавливаюсь на огромнейших фантастико-исторических работах Хлебникова, так как в основе своей — это поэзия.

Жизнь Хлебникова.

Хлебникова лучше всего определяют его собственные слова:

Сегодня снова я пойду
Туда — на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок.

Я знаю Хлебникова двенадцать лет. Он часто приезжал в Москву, и тогда, кроме последних дней, мы виделись с ним ежедневно.

Меня поражала работа Хлебникова. Его пустая комната всегда была завалена тетрадями, листами и клочками, исписанными его мельчайшим почерком. Если случайность не подворачивала к этому времени издание какого-нибудь сборника и если кто-нибудь не вытягивал из вороха печатаемый листок — при поездках рукописями набивалась наволочка, на подушке спал путешествующий Хлебников, а потом терял подушку.

Ездил Хлебников очень часто. Ни причин, ни сроков его поездок нельзя было понять. Года три назад мне уда-

лось с огромным трудом устроить платное печатание его рукописей (Хлебниковым была передана мне небольшая папка путанейших рукописей, взятых Якобсоном в Прагу, написавшим единственную прекраснейшую брошюру о Хлебникове). Накануне сообщенного ему дня получения разрешения и денег я встретил его на Театральной площади с чемоданчиком.

«Куда вы?» — «На юг, весна!..» — и уехал.

Уехал на крыше вагона; ездил два года, отступал и наступал с нашей армией в Персии, получал за тифом тиф. Приехал он обратно этой зимой, в вагоне эпилептиков, надорванный и ободранный, в одном больничном халате.

С собой Хлебников не привез ни строчки. Из его стихов этого времени знаю только стих о голоде, напечатанный в какой-то крымской газете, и присланные ранее две изумительнейших рукописных книги — «Ладомир» и «Царапина по небу».

«Ладомир» сдан был в Гиз, но напечатать не удалось. Разве мог Хлебников пробивать лбом стену?

Практически Хлебников — неорганизованнейший человек. Сам за всю свою жизнь он не напечатал ни строчки. Посмертное восхваление Хлебникова Городецким приписало поэту чуть не организаторский талант: создание футуризма, печатание «Пощечины общественному вкусу» и т. д. Это совершенно неверно. И «Садок судей» (1908 г.) с первыми стихами Хлебникова, и «Пощечина» организованы Давидом Бурлюком. Да и во все дальнейшее приходилось чуть не силком вовлекать Хлебникова. Конечно, отвратительна непрактичность, если это прихоть богача, но у Хлебникова, редко имевшего даже собственные штаны (не говорю уже об акпайках), бессеребренничество принимало характер настоящего подвижничества, мученичества за поэтическую идею.

Хлебникова любили все знающие его. Но это была любовь здоровых к здоровому, образованнейшему, остроумнейшему поэту. Родных, способных самоотверженно ухаживать за ним, у него не было. Болезнь сделала Хлебникова требовательным. Видя людей, не уделявших ему все свое внимание, Хлебников стал подозрителен. Случайно брошенная даже без отношения к нему резкая фраза раздувалась в непризнание его поэзии, в поэтическое к нему пренебрежение.

Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от свое-

го имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе.

После смерти Хлебникова появились в разных журналах и газетах статьи о Хлебникове, полные сочувствия. С отвращением прочитал. Когда, наконец, кончится комедия посмертных лечений?! Где были пишущие, когда живой Хлебников, оплеванный критикой, живым ходил по России? Я знаю живых, может быть, не равных Хлебникову, но ждущих равный конец.

Бросьте, наконец, благоговение столетних юбилеев, почитания посмертными изданиями! Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым!

1922

ПАРИЖ

БЫТ

Этот очерк — о быте Парижа. Я не был во Франции до войны, бывшие утверждают — внешность Парижа за эти годы изменилась мало: толпа, свет, магазины — те же. Поэтому буду говорить только о сегодняшних черточках.

ОТНОШЕНИЕ К НАМ

Германия пережила медовый месяц любви к РСФСР. Эта любовь перешла в спокойную дружбу. Иногда даже ревнивую, со сценами. Так было, например, во время поездки Эррио по России. Некоторые газеты пытались видеть в этом измену — роман с француженкой.

Париж видит сейчас первых советских русских. Красная паспортная книжечка РСФСР — достопримечательность, с которой можно прожить недели две, не иметь никаких иных достоинств и все же оставаться душой общества, вечно показывая только эту книжечку.

Всюду появление живого советского производит фурор с явными оттенками удивления, восхищения и интереса (в полицейской префектуре тоже производит фурор, но без оттенков). Главное — интерес: на меня даже установилась некоторая очередь. По нескольку часов расспрашивали, начиная с вида Ильича и кончая весьма распространенной версией о «национализации женщин» в Саратове.

Компания художников (казалось бы, что́ им!) 4 часа слушала с непрерываемым вниманием о семенной помощи Поволжью. Так как я незадолго перед этим проводил агитхудожественную кампанию по этому вопросу, у меня остались в голове все цифры.

Этот интерес у всех, начиная с метельщика в Галле, с уборщика номера, кончая журналистом и депутатом.

Конечно, главные вопросы о Красной Армии.

Один француз, владелец художественного магазина, серьезно убеждал меня, что не стоит пытаться завоевать Францию, так как, во-первых, это невозможно (Жоффр!), а во-вторых, надо сохранить латинскую культуру. И закончил с истинно парижскою любезностью: «Ваше красное вино нужно немного смешать с нашей водой, и тогда это будет напиток и для французского обеда».

Пришлось указать, что меню для него будут составлять французские рабочие без моего непосредственного участия.

Этот интерес не только любезность к гостю.

Так, например, на банкете, устроенном по случаю моего приезда художниками Монмартра, известный французский критик Вольдемар Жорж первый тост предложил за Советскую Россию. Предприятие в парижской обстановке не очень безвредное.

Даже мне приходилось все время вводить публичные разговоры исключительно в художественное русло, так как рядом с неподдельным восторгом Жоржа всегда фимиамился восторг агентов префекта полиции, ищущих предлога для «ускорения» моего отъезда.

Интерес растет во всем. Начинается, конечно, с искусства. Парижские издатели ищут для переводов писателей РСФСР. Пианист Орлов играет у м-м Мильеран. Мадам Мильеран входит в комитет помощи детям, официально устраивающий советскую выставку живописи. Для выставки этой отводится лучшее помещение — комната Лувра.

Кончается упрочением и расширением влияния т. Скобелева, от чуть ли не заложника, до неофициального, но все-таки торгового и пр. представителя Советов.

ОТНОШЕНИЕ К ЭМИГРАЦИИ

С возрастанием интереса к людям РСФСР, естественно, падает «уважение» к белогвардейской эмиграции, переходя постепенно в презрение.

Это чувство становится всемирным — от отказа визирования белогвардейских паспортов Германией, до недвусмысленного указания на дверь «послу» Бахметьеву в Вашингтоне.

В Париже самая злостная эмиграция — так называемая идейная: Мережковский, Гиппиус, Бунин и др.

Нет помоев, которыми бы они не обливали все относящееся к РСФСР.

Вплоть до небольшого «театра для себя».

Мне рассказывал, напр., один парижский литератор о лекции Гиппиус на невинную тему о Блоке. Исчерпав все имеющиеся в стихах, в печатном материале указания на двойственность, на переменчивость его, на разный смысл «12»,— она вдруг заминается...

— Нет, нет, об этом я не стану говорить.

Из рядов встает Мережковский:

— Нет, обязательно скажите, тут не должно быть никаких недоговорок!

Гиппиус решительно отказывается:

— Это антиеврейские фразы из личной переписки, и их неудобно опубликовывать, нет. Нет, не могу...

Ничего достоверного, но тень на Блока — на лучшего из старописательской среды, приявшего революцию,— все-таки по мере возможности брошена.

«Идейность» эта вначале кое-что давала: то с бала Grand Prix[1] перепадет тысяч 200 франков, то дюшес де Клармонт устроит вечер. Это для верхушек эмиграции. Низы воют, получая только изредка обеденные карточки.

Впрочем, в связи с провалом «идейности» уменьшилось и количество «вещественных доказательств невещественных отношений».

Перед моим отъездом уже какая-то дюшесса выражалась так: надо устроить этот вечер, чтоб они хоть месяца два не лезли! Все-таки солидный шаг из русской интеллигенции в... в черт его знает во что!

Я ни слова не прибавляю в этих разговорах от своей ненависти. Это точная, записанная мною в книжечку характеристика самих низков парижской эмиграции.

Лично я с этими китами не встречался по понятным причинам, да и едва ли они мне б об этом рассказали.

Рядом с изменением «душевных» отношений меняется и правовое.

---

[1] Большой приз *(фр.)*.

При мне громом среди ясного неба прозвучал отказ германского посольства от визирования эмигрантских паспортов.

При постоянных поездках в низковалютную Германию для поправки денежных дел — это большой удар. Многие стали бешено наводить справки, где же им взять наш красный паспорт (на первое время, очевидно, решили иметь два), потом последовало, по настоянию французов, очевидно, разъяснение, что паспортов не визируют, но будут визировать бумажки. Все-таки с бумажками им много хуже — по себе знаю!

Зато в положительную радость привело германское консульство визирование в Париже первого, моего, советского паспорта. Я мирно заполнил анкету. Служащие засуетились. Побежали к консулу; вышел сам, прекраснейший и добрейший г-н Крепс, тут же велел не требовать никаких анкет от советских. В секунду заполнив все подписи, выдал мне визированной мою редкость.

ВНЕШНОСТЬ

Уличная, трактирная и кафейная жизнь Парижа во всех разгарах. Кафе эти самые через магазин, два — обязательно. До 12-ти — по кафе и ресторанам, после 12-ти и до 2-х — Монпарнас, и после всю ночь — Монмартр или отдельные шоферские кабачки на Монпарнасе. А под самое утро — особое рафинированное удовольствие парижан — идти смотреть в Центральный рынок Галль пробуждение трудового Парижа.

Париж не поражает особой нарядностью толпы, вернее, не кричит. На центральных улицах Берлина эта нарядность прет более вызывающе: во-первых, заметнее, наряду с массой ободранных берлинцев, во-вторых, в Берлин приезжают одеваться «средняки» из высоковалютных стран. С неделю перед отъездом носят все на себе, чтобы вещь слегка обносилась и не вызывала особой алчности таможенников.

Потрясает деятельно, очевидно, сохраняемая патриархальность парижского быта.

Где бы вы ни были: в метро, в ресторане, на рынке, в квартире — те же фигуры, давным-давно знакомые по рисуночкам к рассказикам Мопассана.

Вот в метро глухой поп уселся на самом неудобном кондукторском месте, положил у ног свои религиозные манатки, уперся глазами в молитвенник. Полная непоколеби-

мость. По окончании молитвы — ошеломляющее сведение: проехал две станции за своей церковкой. К аскету возвращается долго сдерживаемая страстность (еще бы — обратный путь новые 50 сантимов!), рвется на ходу прямо в тоннель, отбивается от хватающих за фалды спасителей, на остановке теряет шапчонку и, блестя тонзурой и размахивая крыльями пелерины, носится по перрону, призывая бога-отца со всеми его функциями разразить громом кондуктора.

Трактир. Двое усачей в штатском, но украшенные военными орденами и огромными усищами, привязав лошадей у входа, зашли запить прогулку по Булонскому лесу. Сидят с величественностью Рамзеса, всеми зубами штурмуют омара, отрываясь только на секунду ругнуть немцев или оглядеть вновь вошедшую даму.

А в Тюльерийском саду — ряды черных старух над всевозможнейшими вязаниями.

Только изредка взвизгом контраст: у остановки метро ободранная женщина, не могущая из-за тесноты попасть во второй класс и за отсутствием сантимов — в первый, кроет заодно и хозяев метрополитена и проклятую войну.

— Раньше, когда был жив муж, небось этого не сделали бы!

Сначала меня поразило, особенно после Берлина, полное отсутствие просящих нищих. Думал, «во человецех благоволение». Оказалось другое. Какая-то своеобразная этика парижских нищих (а может, и полицейская бдительность) не позволяет им голосить и протягивать руку. Но все эти мрачные фигуры, безмолвно стоящие сотнями у стен,— те же берлинские отблагодаренные Пуанкаре герои войны или осколки их семей.

ВЕСЕЛИЕ

В Париже нет специфических послевоенных удовольствий, захвативших другие города Европы.

Есть танцы. Увлечение тустепами большое, но нет этого берлинского — «восьмичасовой танцевальный день!» — чтобы все от 4 до 7 и от 9 до 2 ночи бежали толпами в «диле».

Нет и своеобразных американских игр: 200 часов беспрерывной игры на рояли, пока играющий не умрет или не сойдет с ума.

Нет и английской игры в «бивер». Разыскивают на улице бородача, и кто первый увидел и крикнул «бивер», тот выиграл очко (в Лондоне нет бородачей, только Бернар

Шоу да король Георг,— Бернар Шоу брить бороду не хочет, а Георг не может, «так как на почтовых марках 1/3 мира он с бородой»).

Веселие Парижа старое, патриархальное, по салонам, по квартирам, по излюбленным маленьким кабачкам, куда, конечно, идут только свои, только посвященные.

Уличное веселие тоже старое, патриархальное. В день моего отъезда был, напр., своеобразный парижский карнавал — день святой Екатерины, когда все оставшиеся в девушках до 30 лет разодеваются в венки и в цветы, демонстрируясь, поя и поплясывая по уличкам.

Европейские культурные удовольствия «для знатных иностранцев» запрятались на Монмартр.

Если бы наш Фореггер бросился сюда, ища «последний крик», «шумовую музыку» для огорошения москвича,— он был бы здорово разочарован. Даже все «тустепы» и «уанстепы» меркнут рядом с потрясающей популярностью... российских «гайда-троек». Танцуют под все русское. Под Чайковского (главным образом), под «Растворил я окно», под «Дышала ночь восторгом сладострастья», под «Барыню» даже! Играют без перерыва, переходя с мотива на мотив и от столика к столику за сбором франков. Раз, увидев протянутые мною 10 франков и, очевидно, угадав русского, маэстро живо перевел скрипку на «Боже, царя храни» (публика продолжала танцевать), видя, что я отдергиваю франки, дирижер с такою же легкостью перевел на «Камин потух».

И в каждом оркестре обязательно гармонь, немного, говорят, усовершенствованная, но все же настоящая гармонь.

Недаром русские не только в присутствующих, но и в служащих. Танцуют, видите ли. Хозяин нанимает пару дам и пару стройных мужчин, так вот эти мужчины из аристократов русской эмиграции. В одном кабачке вижу знакомое лицо.— Кто это? — Это — ваш москвич. Один из золотой молодежи, известный всей Москве по громкому процессу об убийстве жены.

И вот — Монмартрский кабак: 40 франков в вечер и бутерброд.

ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ

Рвусь осмотреть высший орган демократической свободной республики.

Перед зданием с минуту не могу вручить пропуск, все глаза устремлены на карету цугом, с длиннейшим эскортом.

Кто? Сержант козыряет, но едущего за жандармерией не разглядеть — не то новый английский посланник, не то сам Пуанкаре.

Бреду через десятки инстанций. Каждая «инстанция» пронзительно кричит, передавая другой, другая проверит и кричит дальше, пока не добредаю до галерки. Еще темно (одно верхнее окно — крыша); депутаты собираются ровно в два часа дня, но все хоры и ярусы уже заняты благоговейным шепотом переговаривающимися под бдительным оком медализированных капельдинеров парижанами.

— Сегодня скучно будет, разве что Пуанкаре будет говорить по бюджету, вот тогда дело другое, тогда пошумят.

Ждем долго. Рядом старик (какой-то русский генерал, всем рассказывающий о двух своих сыновьях) тихо и уверенно засыпает.

Передо мною трибуна в три яруса, секретарский стол внизу, выше — ораторская трибуна, и, наконец, самая вышка — председательский «трон». Пред — полукруг депутатских скамей, меж ними чинно расхаживающие, сияя цепями, пристава (большинство — почетные инвалиды войны). Зал наполняется туго: вопросы не интересные, да и интересные решаются не здесь — за кулисами. Из 650 депутатов еле набирается сотня. Сосед называет: вот на крайней правой седой, лысый — это Кастело — роялист, вот этот левее черный — Моро-Джафери, слева пусто. Узкая и без того коммунистическая полоска еще сузилась с отъездом коминтернцев в Москву. Ровно в два отдаленный бой барабана, пристава выстраиваются, меж их рядами пробегает и всходит, гордо закинув голову, на свое место председатель Пере. Вопрос для политиканов действительно скучный — какой-то депутат центра поддерживает свою статью бюджета — поддержка медицинских школ. Депутат — провинциал. Провинциал горячится. Очевидно, говорить ему не часто — говорит, стараясь произвести впечатление, с пафосом.

Но впечатление маленькое.

Г-н Пере читает бумаги, депутаты расхаживают, читают газеты, от времени до времени начинают на весь зал переругиваться между собой.

Г-н Пере лениво урезонивает депутатов, оратор мчит дальше. Депутаты дальше шумят. Словом — «у попа была собака».

Без всякого комплимента приходится установить — даже в наших молодых советах можно было бы поучить палату серьезности и отношению к делу.

Потеряв надежду на появление разнообразия в этом меланхолическом деле, расхожусь вместе со всей остальной расходящейся публикой.

ПОИСКИ ТЕХНИКИ

На обратном пути я стал бомбардировать руководителей моих просьбой избавить меня от политиканства депутатов и от искусства и показать что-нибудь новое из парижской «материальной культуры».

— Что у вас выстроили нового, покажите что-нибудь, что бы не служило или удовольствиям, или организации новых военных налетов.

Мои руководители задумались — таковового что-то не припомним. Такого что-то за последние годы не было.

Отношу это к неосведомленности моих руководителей, но все же это показательно. Ведь вот в Москве, что ни говори, а какую-нибудь стройку, хотя бы восстановление — для нас и это много — все же любой покажет.

Наконец, на другой день художник Делонэ (опять художник!), раздумав, предложил мне:

— Поедем в Бурже.

БУРЖЕ

Бурже — это находящийся сейчас же за Парижем колоссальный аэродром.

Здесь я получил действительно удовольствие.

Один за другим стоят стальные (еле видимые верхушками) аэропланные ангары. Провожающий нажимает кнопку, и легко, плавно электричество отводит невероятную несгораемую дверь. За дверью аккуратненькие, блестящие аэропланы — вот на шесть человек, вот на двенадцать, вот на двадцать четыре. Распахнутые «жилеты» открывают блестящие груди многосильнейших моторов. С каким сверхлуврским интересом лазим мы по прекраснейшим кабинкам, разглядываем исхищрения и изобретения, любезно демонстрируемые провожающим летчиком.

Рядом второй — ремонтный ангар. Показывают одни обломки,— вот в этом летели через Ла-Манш, и сошедший с ума, в первый раз влезший пассажир убил выстрелом из револьвера напозал пилота. Погибли все. С тех пор пилотов и пассажиров размещаем иначе.

Рядом обивают фанерой длинненькую летательную игрушку. С гордостью показывают особый холст на крыльях — не уступит алюминию, не секрет.

Переходим через аккуратную, небольшую таможню на гладко вымощенную площадку.

Грузятся два 24-местных аэроплана. Один в Лондон, а другой в Швейцарию.

Через минуту вынимают клинья из-под колес, аэропланы берут долгий разбег по полю, описывают полукруг, взвиваются и уже в небе разлучаются: один—на север, другой—на восток.

Хорошо-то хорошо, только бы если отнять у этих человеко-птиц их погромные способности.

Перед уходом мы, с трудом изъяснявшиеся все время с нашим любезным провожатым, пытаемся с тем же трудом его поблагодарить. Француз выслушал и потом ответил на чисто русском языке:

— Не стоит благодарности, для русских всегда рад, я сам русский, ушел с врангелевцами, а теперь видите...

Серьезную школу прошли! Где только русских не раскидало. Теперь к нам пачками возвращаются «просветленные».

Что ж, может быть, еще и РСФСР воспользуется его знаниями.

Вот Франция!

А за всем этим памфлетом приходится сказать — ругать, конечно, их надо, но поучиться у них тоже никому из нас не помешает. Какая ни на есть вчерашняя, но техника! Серьезное дело.

1923

СЕМИДНЕВНЫЙ СМОТР ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Смотр — иначе не назовешь мое семидневное знакомство с искусством Франции 22-го года.

За этот срок можно было только бегло оглядеть бесконечные ряды полотен, книг, театров.

Из этого смотра я выделяю свои впечатления о живописи. Только эти впечатления я считаю возможным дать книгой: во-первых, живопись — центральное искусство Парижа, во-вторых, из всех французских искусств живопись ока-

зывала наибольшее влияние на Россию, в-третьих, живопись — она на ладони, она ясна, она приемлема без знания тонкостей быта и языка, в-четвертых, беглость осмотра в большой степени искупается приводимыми в книге снимками и красочными иллюстрациями новейших произведений живописи. Я считаю уместным дать книге характер несколько углубленного фельетона. Меня интересовали не столько туманные живописные теории, философия «объемов и линий», сколько живая жизнь пишущего Парижа. Разница идей сегодняшней французской и русской живописи. Разница художественных организаций. Определение по живописи и по встречам размеров влияния Октября, РСФСР, на идеи новаторов парижского искусства. Считаю нужным выразить благодарность Сергею Павловичу Дягилеву, своим знанием парижской живописи и своим исключительно лояльным отношением к РСФСР способствовавшему моему осмотру и получению материалов для этой книги.

Вл. Маяковский

О ЧЕМ?

Эта книга о парижской живописи + кусочки быта.

До 14 года не стоило выпускать подобной книги.

В 22 году — необходимо.

До войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства.

Российские академии художеств слали своих лауреатов доучиваться в Париж.

Любой художник, побывший год в Париже и усвоивший хотя бы только хлесткость парижских картиноделателей,— удваивался в цене.

Меценаты России, напр., Щукин, совершенно не интересовались современной русской живописью, в то же время тщательно собирали искусство парижан.

Париж знали наизусть.

Можно не интересоваться событиями 4-й Тверской-Ямской, но как же не знать последних мазков сотен ателье улицы Жака Калло!

Сегодня — другое.

Больше знаем полюсы, чем Париж.

Полюс — он без Пуанкарей, он общительнее.

Еще политика и быт — описываются.

Товарищи, на неделю тайно въехавшие во Францию на съезд партии, на съезд профсоюзов, набрасываются на эти стороны французской жизни.

Искусство — в полном пренебрежении.

А в нем часто лучше и яснее видна мысль, виден быт сегодняшней Франции.

ИСКУССТВО ПАРИЖА

До войны Париж в искусстве был той же Антантой. Как сейчас министерства Германии, Польши, Румынии и целого десятка стран подчиняются дирижерству Пуанкаре, так тогда, даже больше, художественные школы, течения возникали, жили и умирали по велению художественного Парижа.

Париж приказывал:

«Расширить экспрессионизм! Ввести пуантиллизм!» И сейчас же начинали писать в России только красочными точками.

Париж выдвигал:

«Считать Пикассо патриархом кубизма!» И русские Щукины лезли вон из кожи и из денег, чтобы приобрести самого большого, самого невероятного Пикассо.

Париж прекращал:

«Футуризм умер!» И сразу российская критика начинала служить панихиды, чтоб завтра выдвинуть самоновейшее парижское «да-да», так и называлось: парижская мода.

Критики газет и журналов (как всегда: художники, отчаявшиеся выдвинуться в живописи) были просто ушиблены Парижем.

Революция, изобретения художников России были приговорены заочно к смерти: в Париже это давно и лучше.

Вячеслав Иванов так и писал о выставке первых русских импрессионистов — «Венок» (1907 г.) Д. Бурлюка:

Новаторы до Вержболова!
Что ново здесь, то там не ново.

Дело доходило до живописных скандалов.

В 1913 году в Москве открылась совместная выставка французских и русских художников. Известный критик «Утра России» Ал. Койранский в большой статье о выставке изругал русских художников жалкими подражателями. В противовес критик выхвалял один натюрморт Пикассо. По напечатании статьи выяснилось, что служитель случайно перепутал номера: выхваляемая картина была кисти В. Савинкова — начинающего ученичка. Положение было тем юмористичнее, что на натюрморте нарисованы были сельди и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немыслимая у Пикассо. Это был единственный случай возвеличения русских «подражателей». Это было

единственное низведение знаменитого Пабло в «жалкие». Было до того конфузно, что ни одна газета не поместила опровержения. Даже при упоминании об этом «недоразумении» на живописных диспутах Бубнового Валета — подымался всеми приближенными невообразимый шум, не дающий говорить.

Достаточно было раструбить по Парижу славу художественного предприятия — и беспрекословный успех в Америке обеспечен.

Успех — доллары.

Еще и сейчас Парижу верят.

Разрекламированные Парижем, даже провалившиеся в нем, напр. театр «Летучей мыши» Балиева, выгребают ведрами доллары из янки.

Но эта вера стала колебаться.

С тревогой учитывает Париж интерес Америки к таинственной, неведомой культуре РСФСР.

Выставка русской живописи едет из Берлина по Америке и Европе. Камерный театр грозит показать Парижу неведомые декоративные установки, идеи российских конструктивистов приобретают последователей среди первых рядов деятелей мирового искусства.

На месте, в РСФСР, в самой работе, не учтешь собственного роста.

Восемь лет Париж шел без нас. Мы шли без Парижа.

Я въезжал в Париж с трепетом. Смотрел с учащейся добросовестностью. С внимательностью конкурента. А что, если опять мы окажемся только Чухломою?

ЖИВОПИСЬ

Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве.

В жизни это устремило изобретательность парижан в костюм, дало так называемый «парижский шик».

В искусстве это дало перевес живописи над всеми другими искусствами—самое видное, самое нарядное искусство.

Живопись и сейчас самое распространенное и самое влиятельное искусство Франции.

В проектах меблировки квартир, выставленных в Салоне, видное место занимает картина.

Кафе, какая-нибудь Ротонда сплошь увешана картинами.

Рыбный ресторан — почему-то весь в пейзажах Пикабиа.

Каждый шаг — магазин-выставка.

Огромные домища — соты-ателье.

Франция дала тысячи известнейших имен в живописи. На каждого с именем приходится тысяча, имеющих только фамилию. На каждого с фамилией приходятся тысячи — ни имя, ни фамилия которых никого не интересуют, кроме консьержки.

Нужно заткнуть уши от жужжания десятка друг друга уничтожающих теорий, нужно иметь точное знакомство с предыдущей живописью, чтобы получить цельное впечатление, чтобы не попасть во власть картинок — бактерий какой-нибудь не имеющей ни малейшего влияния художественной школы.

Беру довоенную схему: предводитель кубизм, кубизм атакуется кучкой красочников «симультанистов», в стороне нейтралитет кучки беспартийных «диких», и со всех сторон океаном полотнища бесчисленных академистов и салонщиков, а сбоку — бросающийся под ноги всем какой-нибудь «последний крик».

Вооруженный этой схемой, перехожу от течения к течению, от выставки к выставке, от полотна к полотну. Думаю — эта схема только путеводитель. Надо раскрыть живописное лицо сегодняшнего Парижа. Делаю отчаянные вылазки из этой схемы. Выискиваю какое-нибудь живописное открытие. Жду постановки какой-нибудь новой живописной задачи. Заглядываю в уголки картин — ищу хотя бы новое имя. Напрасно.

Все на своих местах.

Только усовершенствование манеры, реже мастерства. И то у многих художников отступление, упадок.

По-прежнему центр — кубизм. По-прежнему Пикассо — главнокомандующий кубистической армией.

По-прежнему грубость испанца Пикассо «облагораживает» наиприятнейший зеленоватый Брак.

По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез.

По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче — объему.

По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ.

По-прежнему «дикие» Дерен, Матисс делают картину за картиной.

По-прежнему при всем при этом имеется последний крик. Сейчас эти обязанности несет всеотрицающее и всеутверждающее «да-да».

И по-прежнему... все заказы буржуа выполняются бесчисленными Бланшами. Восемь лет какой-то деятельнейшей летаргии.

Это видно ясно каждому свежеприехавшему.

Это чувствуется и сидящими в живописи.

С какой ревностью, с какими интересами, с какой жадностью расспрашивают о стремлениях, о возможностях России.

Разумеется, не о дохлой России Сомовых, не об окончательно скомпрометировавшей себя культуре моментально за границей переходящих к Гиппиусам Малявиных, а об октябрьской, о РСФСР.

Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе.

Не конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают ненужные сооруженьица. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни.

Здесь художникам-французам приходится учиться у нас.

Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место. Нужна октябрьская метла.

А какая почва для французского искусства? — Паркет парижских салонов!

ОСЕННИЙ САЛОН

2395 номеров (не считая художественной промышленности).

А ведь Осенний салон — это только одна из многочисленных выставок Парижа.

Считая в году приблизительно 4 выставки, это 10 000 картин. Примите во внимание, что выставляется не более 10% производства. Получится солидная цифра: 100 000 ежегодных картин.

Еще сто лет — и у каждого француза будет собственный Луврик. Луврики — больше ничего: самые здоровые, самые молодые люди вместо работы сидят и удваивают свое имущество сомнительным живописным путем. Раньше была одна жена, а теперь две: одна в натуре, другая на картинке (как живая!), а живая и работать не может, потому что позирует. Раньше была одна собачка, а теперь две, и т. д. и т. д.

Слабоватая промышленность!

Хотя, может быть, и это имеет значение: посещение Са-

лона дает иллюзию занятий бесконечным выфранченным бездельникам.

Все время существования Салона — тысячные толпы.

Прохожу раз по бесчисленным комнатам, просто чтобы найти вещь, приковывающую гуляющее внимание парижан.

Только в одном месте настоящая давка, настоящая толпа.

Это номер 870, картина художника японца Фужита — «Ню». Разлегшаяся дама. Руки заложены за голову. Голая. У дамы открытые настежь подмышки. На подмышке волосики. Они-то и привлекают внимание. Волосики сделаны с потрясающей добросовестностью. Не каким-нибудь общим мазком, а каждый в отдельности. Прямо хоть сдавай их на учет в Центрощетину по квитанции. Ни один не пропадет — считанные.

Еще одна толпа, уже меньше. Сюжет не такой интересный. Это 1885 номер. Елена Пердрио. Тоже дама, но в рубашке. Рубашка сеткой. Вот эту сетку, сделанную бог весть чем, но, безусловно, чем-то самым тонким, и рассматривают.

Мимо остального плывут плавно.

Прохожу еще раз медленно, хочу, чтобы меня остановила сама живопись. Но живопись висит спокойно, как повешенная. Приходится прибегнуть к каталогу, стараясь по именам искать картины.

Ищу кубистов.

Вот Брак. 18 солидных вещей. Останавливаюсь перед двумя декоративными панно. Какой шаг назад! Определенно содержательные. Так и лезут кариатиды. Гладенький-гладенький. Серо-зелено-коричневый. Не прежний Брак, железный, решительный, с исключительным вкусом, а размягченный, облизанный Салоном.

Леже. Его сразу выделишь яркостью, каким-то красочным антиэстетизмом. Но и его антиэстетизм, в его мастерской кажущийся революционной силой, здесь тоже рассалонен и выглядит просто живописной манеркой.

Смотришь на соседние, уже совсем приличные академические картинки и думаешь: если все это вставить в одну раму и чуточку подтушевать края, не сольется ли все это в одну благоприличную картиночную кашу? Кубизм стал совсем комнатным, совсем ручным.

Нажегшись на школах, перехожу к отдельным.

Матисс. Дряблый. Незначительный. Головка и фигурка... Испытываю легкую неприятность, будто стоишь около картинок нашего отечественного Бодаревского.

Ван-Донжен. Картина «Нептун». Еще невероятнее: оперный старик с трезубцем. Желто-зеленого цвета — яичница с луком. Сзади пароход. Плохонькая живопись, дешевенькая аллегорийка.

Остальное еще унылее.

Некоторое исключение представляет Пикабиа. Его картина — «Принцип французской живописи» — черный мужчина на белом фоне и белая женщина на черном фоне — интересна. Но это формализм даже по заданию. Во всяком случае, это не разрешение задачи живописью.

Из «национальной вежливости» разыскиваю русских. Нелегкое занятие. Уже найдя, должен не выпускать его из глаз ни на минуту (лучше всего держаться рукой за раму), а то сейчас же забудешь и спутаешь с соседом.

Григорьев. Хороший? Нет. Плохой? Нет. Какой же он? Какой был, такой и есть. Повернет карандаш боком и водит по бумаге. От долгой практики выучился таким образом всякие фигурки делать. А так как кисть уже сама по себе повернута боком, то тут на манере не отыграешься, приходится сюжетом брать. Какой же может быть сюжет для нашего тамбовца, приехавшего в первый раз в Париж? Разумеется, Монмартр и апаши. Мне скучно. Скучно французам. Григорьеву тоже. Ноет: в Москву! Интересуется: пустят ли? Напоминаю ему картинку его на какой-то заграничной выставке—какая-то непроходимая физиономия, и подпись— комиссар. Григорьев кается: это я нашего парижского фотографа рисовал, а название «комиссар» ему уже на выставке устроители для эффекта присовокупили.

Хороший пример высасывания из пальца антисоветской агитации.

Шухаев. Академическая баба. Думаю, как это он за это время успел в Африку съездить. Баба самая реальная, черная негритянка. Приглядываюсь. Оказывается, ошибся. Это тени наложены. Этим и славится — светотенью.

Яковлев. Портрет. Сидит дама. Живая. В руках и на столе книжки: Кузьмин «Вторник Мери», Ахматова «Подорожник». Заглавийки книжек выведены с потрясающей добросовестностью. Удивительно. Зачем делать от руки то, что можно напечатать (на то и Европа, на то им и техника). По причине избегания ими меня сей вопрос остался невыясненным.

До полного цинизма дошел Сорин. Портрет Павловой. Настоящий куаферо-маникюрщик. Раскрашивает щечки, растушевывает глазки, полирует ноготочки. Раньше при-

влекали вывески — «Парикмахер Жан из Парижа», теперь, очевидно, привлекают — «Парикмахер Савелий из Петербурга».

Адмирал Битти заказал ему портрет. Недалеко уедешь там, где вкусом правит этакий адмирал. Хорош был бы английский флот, если бы адмиралов к нему подбирал Сорин.

Я знаю, эстеты Парижа, русские тоже, обидятся на мой «отчет». Сам, мол, столько говорил о форме, а подходит со стороны сюжетца, как старый репортер «Биржевки».

Скажут:

Вы, говорящий о нашем стоянии, разве вы не видите это совершенство работы, это качество: Qualité[1] (модное сейчас словечко французов). Может быть, в вашей Чухломе есть лучшие мастера картин?! Назовите! Покажите!

О нет! Я меньше чем кто-нибудь из русских искусства, блещу квасным патриотизмом. Любую живописную идею Парижа я приветствовал так же, как восторгаюсь новой идеей в Москве. Но ее нет!

Я вовсе не хочу сказать, что я не люблю французскую живопись. Наоборот.

Я ее *уже* любил. От старой любви не отказываюсь, но она уже перешла в дружбу, а скоро, если вы не пойдете вперед, может ограничиться и простым знакомством.

Посмотрите приводимые здесь иллюстрации Салона. Они взяты из проспекта, даваемого при каталоге, ясно подчеркивая гордость выставки.

Обычное ню, где интерес голизны не менее живописного интереса.

Приглаженный, красивенький быт идеализированных рыбаков.

Пейзаж до Сезана и до Ван-Гога.

Композиция: Матисс в ботичеллевской обработке, и т. д.

Но, конечно, российское производство картинок не ровня парижскому. Париж выше на много голов. Париж первый.

Конечно, я отдал бы весь наш бубнововалетский стиль за одну вариацию из этого цикла Пикассо или Брака.

Дело не в этом.

Дело в том, что время выдвинуло вопрос о существовании картинок. И их мастеров вообще. Выдвинуло вопрос о существовании общества, удовлетворяющегося художест-

---

[1] Качество *(фр.)*.

венной культуркой украшения картинами Салона. Эта культура уже изжила себя. Я охотно отдаю французам первенство в писании картин.

Я говорю: наши пентры должны бросить писать картины, потому что французы пишут лучше. Но и французы должны бросить писать, потому что они лучше не напишут.

Мелкота картиночной работы выступает со всей ясностью, когда от картин Салона переходишь к промышленно-художественному отделу.

Здесь тоже номеров пятьсот.

Книжные обложки. Драгоценнейшие. Под стеклом. Пергаменты. На всех тоненькие виньеточки и рисуночки. Многоцветные. Костер, золотой, от него голубенький дымок, разворачивающий загогулинки по всей книге, а на фоне розовые облачишки. И никакой работы ни над новым шрифтом, ни над ясностью, ни над старанием типографски подчеркнуть сказанное в книге.

Вот убранство квартирок, столики и шкафики в ампире. На дверцах бронзовые веночки, со шкафов и с полочек спущена парча с бурбонскими лилиями. На подставочке, разумеется, бюст Наполеона. И все в этом стиле. Никакого придумывания, никакого изобретения, никакой конструкции. Механическое варьирование обломков старых, великих, но изживших себя и ненужных стилей.

Попробуй, обставь дом — общежитие на тысячи рабочих — этими шкафиками.

С удовольствием выхожу из салонного гроба к автомобилям Елисейских полей.

Салоном не исчерпывается французская живопись. Это средний обывательский вкус.

Чтобы знать водителей вкуса, нужно пройти по галереям частных торговцев и по мастерским художников.

Эстеты кричат о свободе творчества! Каждый ребенок в Париже знает, что никто не вылезет к славе, если ее не начнет делать тот или иной торговец. Этот торговец всесилен. Даже Салон подбирает он. Так и делятся художники и картины. Это художники Симона, это художники Леона.

КУПЦЫ

Париж весь кишит художественными лавочками. Осматриваю две наиболее значительные из них,— это лавочка Симона Розенберга и Леона Розенберга. Конечно, фран-

цузское ухо резали бы эти слова — купец, лавочка. Для него эти купцы — носители вкуса, носители художественных идей Франции. Лучшие картины художников отдаются этим купцам. У них выставлены лучшие Пикассо, лучшие Браки и т. д. Большинство приводимых мной иллюстраций — снимки с ихних галерей.

Эти купцы делают славу художникам. Это они намечают гения, покупают у него картины за бесценок, скапливают их в своих подвалах и после смерти через тысячи состоящих на службе рецензентов раструбливают славу умерших и за многие десятки и сотни тысяч франков распродают шедевры.

Эти купцы поддерживают славу Пикассо. Эти купцы заставляют изо дня в день интересоваться им весь мир. Это купец, в отместку другому купцу, вдруг начинает выдвигать какого-нибудь молодого Сюрважа и каждой пришедшей даме, покровительнице искусств, каждому пришедшему коллекционеру старается в лучшем освещении, с лучшими рекомендациями, с передачей лучших отзывов показать какую-нибудь весьма сомнительную картинку. Если нет живых, купцы извлекают мертвых.

Злые языки утверждают, что повышенный интерес к Энгру, этому посредственному ложноклассическому рисовальщику, объясняется тем, что у одного из этих Леонов скопилось большое количество рисунков. Во французском искусстве сразу поворот к классицизму. Это, конечно, схематическое, памфлетное изображение настроений, но франк в этой схеме все же играет первенствующую роль. Для этих купцов, или чтобы перепрыгнуть через них, прорваться сквозь их блокаду, работают все французские художники.

МАСТЕРСКИЕ

Чтобы понять действительные двигающие силы того или другого направления, того или другого художника, надо пройти закулисную лабораторию — мастерские. Здесь искание, здесь изобретаются направления, здесь в отдельных штрихах, в отдельных мазках еще можно найти элементы революционного искусства, сейчас же за дверью ателье тщательно обрезываемого вкусом Салона, вкусом купца. Здесь настоящая борьба художников, борьба направлений; здесь Пикассо небрежным кивком отстраняет вопросы о Делонэ; здесь Делонэ с пеной у рта кроет «спекулянтом» Пикассо; здесь видишь то, чего никогда не увидишь в магазинчиках.

ПИКАССО

Первая мастерская, в которую нужно пойти в Париже, это, конечно, мастерская Пикассо. Это самый большой живописец и по своему размаху и по значению, которое он имеет в мировой живописи. Среди квартиры, увешанной давно знакомыми всем нам по фотографиям картинами, приземистый, хмурый, энергичный испанец. Характерно и для него и для других художников, у которых я был, это страстная любовь к Руссо. Все стены увешаны им. Очевидно, глаз изощрившегося француза ищет отдыха на этих абсолютно бесхитростных, абсолютно простых вещах. Один вопрос интересует меня очень—это вопрос о возврате Пикассо к классицизму. Помню, в каких-то русских журналах приводились последние рисунки Пикассо с подписью: «Возврат к классицизму». В статейках пояснялось, что если такой новатор, как Пикассо, ушел от своих «чудачеств», то чего же у нас в России какие-то отверженные люди еще интересуются какими-то плоскостями, какими-то формами, какими-то цветами, а не просто и добросовестно переходят к копированию природы.

Пикассо показывает свою мастерскую. Могу рассеять опасения. Никакого возврата ни к какому классицизму у Пикассо нет. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо-реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом. Его большие так называемые реальные полотна, эти женщины с огромными круглыми руками — конечно, не возврат к классицизму, а если уж хотите употреблять слово «классицизм» — утверждение нового классицизма. Не копирование природы, а претворение всего предыдущего кубического изучения ее. В этих перескакиваниях с приема на прием видишь не отход, а метание из стороны в сторону художника, уже дошедшего до предела формальных достижений в определенной манере, ищущего приложения своих знаний и не могущего найти приложение в атмосфере затхлой французской действительности.

Смотрю на каталог русской художественной выставки в Берлине, валяющийся у него на столе. Спрашиваю: неужели вас удовлетворяет снова в тысячный раз разложить скрипку, сделать в результате скрипку из жести, на которой нельзя играть, которую даже не покупают и которая только

предназначается для висенья и для услаждения собственных глаз художника?

Вот в каталоге русский Татлин. Он давно уже зовет к переходу художников, но не к коверканию прекрасной жести и железа, а к тому, чтобы все это железо, дающее сейчас безвкусные постройки, оформилось художниками.

— Почему,— спрашиваю,— не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов? Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее.

Пикассо молча покачивает головой.

— Вам хорошо, у вас нет сержантов мосье Пуанкаре.

— Плюньте на сержантов,— советую я ему,— возьмите ночью ведра с красками и пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас Страстной!

У жены мосье Пикассо, хоть и мало верящей в возможность осуществления моего предложения, все же глаза слегка расцвечиваются ужасом. Но спокойная поза Пикассо, уже, очевидно, освоившегося с тем, что кроме картин он ничего никогда не будет делать, успокаивает «быт».

ДЕЛОНЭ

Делонэ — весь противоположность Пикассо. Он симультанист. Он ищет возможности писать картины, давая форму не исканием тяжестей и объемов, а только расцветкой. (Это духовный отец наших отечественных Якуловых.) Он весь в ожесточении. Кубизм, покрывший все полотна французских живописцев, не дает ему покоя. Купцы не охотятся за ним. Ему негде и не для чего приобретать классицизм. Он весь, даже спина, даже руки, не говоря о картинах, в лихорадочном искании. Он видит — невозможно пробить стены вкуса французских салонов никакими речами, и какими-то косыми путями подходит тоже к революции. В картинах, разворачиваемых им, даже старых, 13 и 14 года, например, известной всем по снимкам Эйфелевой башни, рушащейся на Париж, между буревыми облаками, он старается найти какое-то предчувствие революции.

С завистью слушает он рассказы о наших праздниках, где художнику дается дом, где направлению дается квартал, и художник его может расфантазировать так, как ему хочется. Идея эта близка ему. Его картины даже в его мастерской выглядят не полотнами, а стенами, настолько они многосаженные. Его расцветка иллюминаций так не нужна, так не подходяща к серым стенам мастерской, но ее не вынесешь

на улицу: кроме сержанта через дорогу еще и серое здание Академии художеств, откуда, по утверждению Делонэ, при проходе на него замахиваются кулаками.

Художественными путями он тоже пришел к признанию величия русской революции. Он пишет какие-то десятки адресов с просьбой передать, корреспондировать, обмениваться с ним художеством России. Он носится с мыслью приехать в РСФСР, открыть какую-то школу, привезти туда в омолаживание живопись французов.

А пока что и к его ноге привязано ядро парижского быта, и он разрешает вспышки своего энтузиазма раскрашиванием дверей собственного ателье. Тоже кусок жизни.

Не думаю, чтоб он делал это «от души». Во всяком случае, он определенно завидовал моему возврату в страну революции, он просил передать привет от революционеров французского искусства русским, он просил сказать, что это — те, кто с нами, он просил русскую, московскую аэростанцию принять в подарок два его огромных полотна, наиболее понравившихся мне: цветной воздух, рассекаемый пропеллерами.

БРАК

Брак — самый продающийся (фактически, а не иносказательно) художник Парижа. Во всем — в обстановке, фигуре, старание охранить классическое достоинство пентра. Он все время балансирует, надо отдать ему справедливость — с большим вкусом, между Салоном и искусством. Темперамент революционного французского кубизма сдавлен в приличные, принимаемые всеми формы. Есть углы, но не слишком резкие, кубистические. Есть световые пятна, но не слишком решительные и симультанистические. На все мои вопросы, а что же можно было бы получить из последнего, чтобы показать России, у него горделивое извинение: «Фотографий нет, у купца такого-то... Картин нет, извиняюсь, проданы». Этому не до революции.

ЛЕЖЕ

Леже — художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства,— произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый, вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназ-

наченный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни. Осматриваю его значительную живопись. Радует его эстетика индустриальных форм, радует отсутствие боязни перед самым грубым реализмом. Поражает так не похожее на французских художников мастеровое отношение к краске — не как к средству передачи каких-то воздухов, а как материалу, дающему покраску вещам. В его отношении к российской революции тоже отсутствие эстетизма, рабочее отношение. Радует, что он не выставляет вперед свои достижения и достиженьица, не старается художественно втереть вам очки своей революционностью, а, как-то отбросив в сторону живопись, расспрашивает о революции русской, о русской жизни. Видно, что его восторг перед революцией не художественная поза, а просто «деловое» отношение. Его интересует больше не вопрос о том, где бы и как бы он мог выставиться по приезде в Россию, а технический вопрос о том, как ему проехать, к чему в России его уменье может быть приложено в общем строительстве.

Как только я заикнулся о том, что товарищей моих может заинтересовать его живопись, то увидел не дрожащего над своими сокровищами купца-художника, а простое:

— Берите всё. Если что через дверь не пролезет, я вам через окно спущу.

— До свидания,— выучился он по-русски на прощание,— скоро приеду.

Этими вот четырьмя перечисленными художниками исчерпываются типы художников Парижа.

ГОНЧАРОВА И ЛАРИОНОВ

Русские художники не играют, во всяком случае об этом не говорят, особой роли в живописи Франции. Правда, влияние их несомненно. Когда смотришь последние вещи Пикассо, удивляешься красочности, каким-то карусельным тонам его картин, его эскизов декораций. Это несомненно влияние наших красочников Гончаровой и Ларионова. Высокомерное отношение победившей Франции к каким-то не желающим признавать долгов русским сказывается и в этом. Не хотим считаться ни с какими фактами. Париж во всем лучше.

В лавках купцов Парижа вы не найдете картин Гончаровой или Ларионова. Зато на заграничных выставках, при свободной конкуренции, в Америке, в Испании или в Голландии — сразу бросается в глаза непохожесть этих русских, их особенный стиль, их исключительная расцветка. Поэтому они продаются в Америке. Поэтому у Гончаровой десятки учеников американцев и японцев, и, конечно, хочет-не хочет Пикассо, а влияние русской живописи просачивается. Но когда дело переходит на работу в Париже, сразу видишь, как художественный темперамент этих русских облизывают салоны. Их макеты и костюмы до неприятности сливаются с Бакстом.

Радует отношение этих художников к РСФСР, не скулящее и инсинуирующее отношение эмигрантов. Деловое отношение. Свое, давно ожидаемое и ничуть не удивившее дело. Никаких вопросов о «сменах вех». Приезд в Россию — техническая подробность.

Приятно констатировать на этом примере, что революционеры в области искусства остаются таковыми до конца.

БАРТ

Если высокомерное отношение Франции не отразилось на Ларионове и Гончаровой, сумевших продвинуться в другие страны, то русским без энергии Париж — крышка. Я был в мастерской Барта, очень знакомого нам художника до войны, человека серьезного, с большим талантом,— в его крохотном поднебесном ателье я видел десятки работ несомненно интересных и по сравнению с любым французом.

Он голоден. Ни один купец никогда не будет носиться с его картинами.

Эта группа уже с подлинным энтузиазмом относится к РСФСР. Барт рассказывает мне грустную повесть о том, как он был единственным офицером, не соглашавшимся после Октября с культурной манерой французов хоронить не желающих идти против революционной России в африканских ямах. Худоба и нервное подергивание всем телом — доказательство результатов такого свободолюбия. Эти, конечно, нагрузившись жалким скарбом своих картин, при первой возможности будут у нас, стоит только хоть немножко рассеять веселенькие французские новеллы о том, что каждый переехавший русскую границу не расстреливается ГПУ только потому, что здесь же на границе съедается вшами без остатка.

ВЫВОД

Начало двадцатого века в искусстве — разрешение исключительно формальных задач.

Не мастерство вещей, а только исследование приемов, методов этого мастерства.

Поэты видели свою задачу только в исследовании чистого слова: отношение слова к слову, дающее образ, законы сочетания слова со словом, образа с образом, синтаксис, организация слов и образов — ритм.

Театр — вне пьес разрешается формальное движение.

Живопись: форма, цвет, линия, их разработка как самодовлеющих величин.

Водители этой работы были французы.

Если взять какую-нибудь отвлеченную задачу — написать человека, выявив его форму простейшими плоскостными обобщениями,— конечно, здесь сильнее всех Пикассо.

Если взять какое-то третье измерение натюрморта, показывая его не в кажущейся видимости, а в сущности, развертывая глубину предмета, его скрытые стороны,— конечно, здесь сильнейший — Брак.

Если взять цвет в его основе, не загрязненной случайностями всяких отражений и полутеней, если взять линию как самостоятельную орнаментальную силу,—сильнейший— Матисс.

Эта формальная работа доведена была к 15 году до своих пределов.

Если сотню раз разложить скрипку на плоскости, то ни у скрипки не останется больше плоскостей, ни у художника не останется неисчерпанной точки зрения на эту живописную задачу.

Голый формализм дал все, что мог. Больше при современном знании физики, химии, оптики, при современном состоянии психологии ничего существенного открыть (не использовав предварительно уже добытого) нельзя.

Остается или умереть, перепевая себя, или...

Остается два «или».

Первое «или» Европы: приложить добытые результаты к удовлетворению потребностей европейского вкуса. Этот вкус не сложен. Вкус буржуазии. Худшей части буржуазии — нуворишей, разбогатевших на войне. Нуворишей, приобретших деньги, не приобрев ни единой черточки даже буржуазной культуры. Удовлетворить этот вкус может только делание картин для квартиры спекулянта-собственника, могущего купить «огонь» художника для освеще-

ния только своего салона (государство не в счет, оно плетется всегда в хвосте художественного вкуса, да и материально не в состоянии содержать всю эту живописную армию). Здесь уже не может быть никакого развития. Здесь может быть только принижение художника требованием давать вещи живописно не революционнее Салона. И мы видим, как сдается Брак, начиная давать картины, где благопристойности больше, чем живописи; мы видим, как Мценже от кубизма переходит к жанровым картинкам с красивенькими Пьерро.

Мы видим гениального Пикассо, еще продолжающего свои работы по форме, но уже сдающегося на картиноделание, пока еще полностью в своей манере, но уже начинаются уступки, и в его последних эскизах декораций начинает удивлять импотенция приличного академизма.

Нет, не для делания картинок изучали лучшие люди мира приемы расцветки, иллюминирования жизни. Не к салонам надо прикладывать свои открытия, а к жизни, к производству, к массовой работе, украшающей жизнь миллионам.

Но это уже второе «или» — «или» РСФСР. «Или» всякой страны, вымытой рабочей революцией. Только в такой стране может найтись применение, содержание (живописное, разумеется, а не бытовое) всей этой формальной работе. Не в стране буржуазной, где производство рассматривается капиталистом только как средство наживы, где нельзя руководить вкусом потребителя, а надо ему подчиняться. А в стране, где производят одновременно для себя и для всех, где человек, выпустивший какие-нибудь отвратительные обои, должен знать, что их некому всучить, что они будут драть его собственный глаз со стен клубов, рабочих домов, библиотек.

Это оформление, это — высшая художественная инженерия. Художники индустрии в РСФСР должны руководиться не эстетикой старых художественных пособий, а эстетикой экономии, удобства, целесообразности, конструктивизма.

Но это второе «или» пока не для Франции.

Ей нужно сначала пройти через большую чистку французского Октября.

А пока, при всей нашей технической, мастеровой отсталости, мы, работники искусств Советской России, являемся водителями мирового искусства, носителями авангардных идей.

Но... это все еще из теории должно перейти в практическое воплощение, а для этого надо еще поучиться, и в первую очередь у французов.

1923

СОБИРАЙТЕ ИСТОРИЮ

Пишущий о российской революции не может часто найти даже печатных вещей, выходивших в наших столицах. А где-нибудь валяется эта самая книжица или газетина.

Нас учит жизнь, работа.

В борьбе мы часто меняем лозунги, методы агитации, к старому относимся враждебно и все, характеризующее вчерашний день, просто забываем и откидываем.

Сейчас, например, в пятилетнюю годовщину Красной Армии, многие вспоминают:

— Была вот тут одна интересная карточка да еще плакат, а где они — неизвестно, кажется, селедку завернули.

В первые годы именно нашей революции такая «забывчивость» — особенно частое явление. Наша революция шла при страшном разгроме техники. Оставшаяся печатная техника разваливалась, не поспевая за бегущей жизнью. Огромное количество нашей агитработы мы вели кустарно, вели вручную.

Вспомним хотя бы «устные газеты», «трафаретные плакаты», «агитпунктные витрины». Первая, например, поездная газета была просто написана мелом на вагонной стенке и, конечно, к «выпуску» следующего номера беспощадно стерлась.

В Московской Центропечати все стены были заклеены плакатами. При первой «реорганизации» стены всю эту редкость просто и мило выкрасили.

Плакатный архив РОСТА был свален в комнату, по нему прошли армии три курьеров и курьерш, а клочки съели мыши.

А ведь по этим клочкам день за днем можно было в стишках и карикатурах проследить всю историю революции.

Если так обращался с историей спокойный сравнительно город, то как издиралось все это в какой-нибудь провинции, которая десятки раз переходила из белых в красные руки.

То, что дошло от этой работы, даже корявое и безграмотное (какие-нибудь солдатские частушки), во много раз

интереснее любой напыщенной беллетристики литературных белоручек, пишущих о революции в своих не подлежащих уплотнению кабинетах.

Поэтому не надо брезговать кажущейся незначительностью материала.

Надо хранить каждый клочок.

Пока не всё растеряно.

Провинция: села, города, деревни,— собирайте всё, имеющее отношение к нашей борьбе, и сдавайте в музеи и прочие учреждения, обязанные следить за историей.

1923

С НЕБА НА ЗЕМЛЮ

Еще в восемнадцатом году т. Ленин указывал в «Правде» на необходимость выработки для статей краткого «телеграфного» языка.

В речи т. Калинина на четвертом съезде работников печати — тоже призыв — упрощать «стиль» — внешность, форму наших статей.

Еще бы!

Во всех газетах до сих пор мелькают привычные, но никому не понятные, ничего не выражающие уже фразы: «проходит красной нитью», «достигло апогея», «дошло до кульминационного пункта», «потерпела фиаско» и т. д. и т. д. до бесконечности.

Этими образами пишущий хочет достигнуть высшей образности — достигается только непонятность.

На одной московской лестнице я видел надпись одного такого писателя:

«Воспрещается не выпускать собак».

Для усиления впечатления «писатель» поставил рядом с «воспрещается» еще и «не выпускать». Получилось не усиление впечатления, а наоборот: по точному смыслу этого приказа каждый должен был бы бешено гнать собак на лестницу.

Точно так же «форма» часто выворачивает «содержание» статей.

Конечно, трудно рабочему, в первый раз берущему в руку перо, думать еще и о своей форме. Он только старается верно описать факт, верно изложить мысль, пользуясь для этого «литературным» языком, т. е. тем словесным материалом, который ему дают сегодняшние публицисты, писатели, поэты.

Один сапожник все время говорил мне про одного хлюста, подозреваемого во всяких темных делишках:

«Товарищ, вы ему не верьте,— это весьма субъективная личность».

Иностранщина из учебников, безобразная безóбразность до сих пор портит язык, которым пишем мы. А в это время поэты и писатели, вместо того чтоб руководить языком, забрались в такие заоблачные выси, что их и за хвост не вытащишь. Открываешь какой-нибудь журнал — сплошь испещрен стихами: тут и «жемчужные зубки», и «хитоны», и «Парфенон», и «грезы», и черт его знает, чего тут только нет.

Надо бы попросить господ поэтов слезть с неба на землю.

Ты хвастаешься, что ты хорошо владеешь словом,—будь добр, напиши образцовое «Постановление месткома об уборке мусора со двора». Не хочешь? Ты говоришь, что у тебя более возвышенный стиль? Тогда напиши образцовую передовицу, обращенную к народам мира,— разве может быть более возвышенная задача? Только тогда мы поверим, что твои упражнения в области поэзии имеют действительный смысл, что твоя возвышенная работа может быть использована для улучшения жизни людей. Тогда никто не будет возражать и против твоих туманных, непонятных стихов.

А то у нас в области словесного искусства — одни инженеры и ни одного рабочего, ни одного мастера.

А какой тогда смысл в возвышенных планах?

1923

О МЕЛОЧАХ

В речах Ильича постоянно бывают указания на «веревочки», на веревочки, которые в хозяйстве обязательно пригодятся. <...>

Эти мелочи, незаметные на первый взгляд, пустяковые по своему личному значению,— в общем отымают огромный запас сил и энергии, запас, которого бы хватило и на большие дела.

При поездке по Европе бросается в глаза это внимание к пустяку.

Например, маленький вопрос — о нумерации домов. У нас стоишь перед № 10 и думаешь с тоской: справа длин-

ный забор, слева огромный пустырь, где же, черт бы его побрал, № 12? Идешь наугад налево, тратишь минут пять и натыкаешься на № 8 — обратно идешь еще минут десять!

А в Берлине под каждым номером — еще стрелка, указывающая направление нумерации. Тут зря не пойдешь — каждая минута на счету.

Ввести б это у нас — сколько времени отчислится городу в год!

Еще мелочь:

На каждой стройке имеются прекрасные леса.

Стройка кончена, леса снимаются и идут или на топку, или на какие-нибудь посторонние изделия.

В Берлине все леса сборные. На каждой вертикальной балке — множество отверстий, чтоб можно было на разной высоте в зависимости от размеров дома укреплять стропила.

При таких условиях и леса можно делать основательнее и комфортабельнее.

Стройка окончена, леса разбираются и переносятся на новую стройку.

Может быть даже контора «Даю напрокат леса́!»

Таких примеров — огромное количество.

Маленькое усовершенствование — бережет огромное время.

Внимание мелочи!

1923

КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ?

1

Я должен писать на эту тему.

На различных литературных диспутах, в разговоре с молодыми работниками различных производственных словесных ассоциаций (рап, тап, пап и др.), в расправе с критиками — мне часто приходилось если не разбивать, то хотя бы дискредитировать старую поэтику. Самую, ни в чем не повинную, старую поэзию, конечно, трогали мало. Ей попадало только, если ретивые защитники старья прятались от нового искусства за памятниковые зады.

Наоборот — снимая, громя и ворочая памятниками, мы показывали читателям Великих с совершенно неизвестной, неизученной стороны.

Детей (молодые литературные школы также) всегда интересует, что́ внутри картонной лошади. После работы формалистов ясны внутренности бумажных коней и слонов. Если лошади при этом немного попортились — простите! С поэзией прошлого ругаться не приходится — это нам учебный материал.

Наша постоянная и главная ненависть обрушивается на романсово-критическую обывательщину. На тех, кто все величие старой поэзии видит в том, что и они любили, как Онегин Татьяну (созвучие душе!), в том, что и им поэты понятны (выучились в гимназии!), что ямбы ласкают ихнее ухо. Нам ненавистна эта нетрудная свистопляска потому, что она создает вокруг трудного и важного поэтического дела атмосферу полового содрогания и замирания, веры в то, что только вечную поэзию не берет никакая диалектика и что единственным производственным процессом является вдохновенное задирание головы, в ожидании, пока небесная поэзия-дух сойдет на лысину в виде голубя, павлина или страуса.

Разоблачить этих господ нетрудно.

Достаточно сравнить татьянинскую любовь и «науку, которую воспел Назон», с проектом закона о браке, прочесть про пушкинский «разочарованный лорнет» донецким шахтерам или бежать перед первомайскими колоннами и голосить: «Мой дядя самых честных правил».

Едва ли после такого опыта у кого-нибудь молодого, горящего отдать свою силу революции, появится серьезное желание заниматься древнепоэтическим ремеслом.

Об этом много писалось и говорилось. Шумное одобрение аудитории всегда бывало на нашей стороне. Но вслед за одобрением подымаются скептические голоса:

— Вы только разрушаете и *ничего* не создаете! Старые учебники плохи, а где новые? Дайте нам *правила* вашей поэтики! Дайте учебники!

Ссылка на то, что старая поэтика существует полторы тысячи лет, а наша лет тридцать — мало помогающая отговорка.

Вы хотите писать и хотите знать, как это делается. Почему вещь, написанную по всем шенгелевским правилам, с полными рифмами, ямбами и хореями, отказываются принимать за поэзию? Вы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили с собой в гроб секреты своего ремесла.

Я хочу написать о своем деле не как начетчик, а как практик. Никакого научного значения моя статья не имеет.

Я пишу о своей работе, которая, по моим наблюдениям и по убеждению, в основном мало чем отличается от работы других профессионалов-поэтов.

Еще раз очень решительно оговариваюсь: я не даю никаких *правил* для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила.

В сотый раз привожу мой надоевший пример-аналогию.

Математик — это человек, который создает, дополняет, развивает математические правила, человек, который вносит новое в математическое знание. Человек, впервые формулировавший, что «два и два четыре»,— великий математик, если даже он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом,— все эти люди — не математики. Это утверждение отнюдь не умаляет труда человека, складывающего паровозы. Его работа в дни транспортной разрухи может быть в сотни раз ценнее голой арифметической истины. Но не надо отчетность по ремонту паровозов посылать в математическое общество и требовать, чтоб она рассматривалась наряду с геометрией Лобачевского. Это взбесит плановую комиссию, озадачит математиков, поставит в тупик тарификаторов.

Мне скажут, что я ломлюсь в открытые двери, что это ясно и так. Ничего подобного.

80% рифмованного вздора печатается нашими редакциями только потому, что редактора́ или не имеют никакого представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия нужна.

Редактора знают только «мне нравится» или «не нравится», забывая, что и вкус можно и надо развивать. Почти все редактора жаловались мне, что они не умеют возвращать стихотворные рукописи, не знают, что сказать при этом.

Грамотный редактор должен был бы сказать поэту: «Ваши стихи очень правильны, они составлены по третьему изданию руководства к стихосложению М. Бродовского (Шенгели, Греча и т. д.), все ваши рифмы — испытанные рифмы, давно имеющиеся в полном словаре русских рифм Н. Абрамова. Так как хороших новых стихов у меня сейчас нет, я охотно возьму ваши, оплатив их, как труд квали-

фицированного переписчика, по три рубля за лист, при условии представления трех копий».

Поэту нечем будет крыть. Поэт или бросит писать, или подойдет к стихам как к делу, требующему большего труда. Во всяком случае, поэт бросит заноситься перед работающим хроникером, у которого хотя бы новые происшествия имеются на его три рубля за заметку. Ведь хроникер штаны рвет по скандалам и пожарам, а такой поэт только слюни расходует на перелистывание страниц.

Во имя поднятия поэтической квалификации, во имя расцвета поэзии в будущем надо бросить выделение этого самого легкого дела из остальных видов человеческого труда.

Оговариваюсь: создание правил — это не есть сама по себе цель поэзии, иначе поэт выродится в схоласта, упражняющегося в составлении правил для несуществующих или ненужных вещей и положений. Например, не к чему было бы придумывать правила для считания звезд на полном велосипедном ходу.

Положения, требующие формулирования, требующие *правил*,— выдвигает жизнь. Способы формулировки, цель правил определяется классом, требованиями нашей борьбы.

Например: революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты; расслабленный интеллигентский язычишко с его выхолощенными словами: «идеал», «принципы справедливости», «божественное начало», «трансцендентальный лик Христа и Антихриста»— все эти речи, шепотком произносимые в ресторанах,— смяты. Это — новая стихия языка. Как его сделать поэтическим? Старые правила с «грезами, розами» и александрийским стихом не годятся. Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров?

Плюнуть на революцию во имя ямбов?

Мы стали злыми и покорными,
Нам не уйти.
Уже развел руками черными
Викжель пути.

(З. Гиппиус)

Нет! Безнадежно складывать в 4-стопный амфибрахий, придуманный для шепотка, распирающий грохот революции!

Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,

Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов.

(Кириллов)

Нет!

Сразу дать все права гражданства новому языку: выкрику — вместо напева, грохоту барабана — вместо колыбельной песни:

Революционный держите шаг!

(Блок)

Разворачивайтесь в марше!

(Маяковский)

Мало того, чтоб давались образцы нового стиха, правила действия словом на толпы революции,— надо, чтоб расчет этого действия строился на максимальную помощь своему классу.

Мало сказать, что «неугомонный не дремлет враг» (Блок). Надо точно указать или хотя бы дать безошибочно представить фигуру этого врага.

Мало, чтоб разворачивались в марше. Надо, чтоб разворачивались по всем правилам уличного боя, отбирая телеграф, банки, арсеналы в руки восстающих рабочих.

Отсюда:

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй...

(Маяковский)

Едва ли такой стих узаконила бы классическая поэзия. Греч в 1820 г. не знал частушек, но если бы он их знал, он написал бы о них, наверное, так же, как о народном стихосложении,— презрительно: «Сии стихи не знают ни стоп, ни созвучий».

Но эти строки усыновила петербургская улица. На досуге критики могут поразбираться, на основании каких правил все это сделано.

Новизна в поэтическом произведении обязательна. Материал слов, словесных сочетаний, попадающийся поэту, должен быть переработан. Если для делания стиха пошел старый словесный лом, он должен быть в строгом соответствии с количеством нового материала. От количества и качества этого нового будет зависеть — годен ли будет такой сплав в употребление.

Новизна, конечно, не предполагает постоянного изречения небывалых истин. Ямб, свободный стих, аллитерация, ассонанс создаются не каждый день. Можно работать и над их продолжением, внедрением, распространением.

«Дважды два четыре» — само по себе не живет и жить не может. Надо уметь применять эту истину (правила приложения). Надо сделать эту истину запоминаемой (опять правила), надо показать ее непоколебимость на ряде фактов (пример, содержание, тема).

Отсюда ясно, что описанию, отображению действительности в поэзии нет самостоятельного места. Работа такая нужна, но она должна быть расцениваема как работа секретаря большого человеческого собрания. Это простое «слушали — постановили». В этом трагедия попутничества: и услышали пять лет спустя, и постановили поздновато, — когда уже остальные выполнили.

Поэзия начинается там, где есть тенденция.

По-моему, стихи «Выхожу один я на дорогу...» — это агитация за то, чтобы девушки гуляли с поэтами. Одному, видите ли, скучно. Эх, дать бы такой силы стих, зовущий объединяться в кооперативы!

Старые руководства к писанию стихов таковыми, безусловно, не являлись. Это только описание исторических, вошедших в обычай способов писания. Правильно эти книги называть не «как писать», а «как писали».

Говорю честно. Я не знаю ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело. А если отрывки таковых метров и встречались, то это просто записанное по слуху, так как эти надоевшие мотивы чересчур часто встречаются — вроде: «Вниз по матушке по Волге».

Я много раз брался за это изучение, понимал эту механику, а потом забывал опять. Эти вещи, занимающие в поэтических учебниках 90%, в практической работе моей не встречаются и в трех.

В поэтической работе есть только несколько общих правил для начала поэтической работы. И то эти правила — чистая условность. Как в шахматах. Первые ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать новую атаку. Самый гениальный ход не может быть повторен при данной ситуации в следующей партии. Сбивает противника только неожиданность хода.

Совсем как неожиданные рифмы в стихе.

Какие же данные необходимы для начала поэтической работы?

Первое. Наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением. Социальный заказ. (Интересная тема для специальной работы: о несоответствиях социального заказа с заказом фактическим.)

Второе. Точное знание, или, вернее, ощущение желаний вашего класса (или группы, которую вы представляете) в этом вопросе, т. е. целевая установка.

Третье. Материал. Слова́. Постоянное пополнение хранилищ, сараев вашего черепа, нужными, выразительными, редкими, изобретенными, обновленными, произведенными и всякими другими словами.

Четвертое. Оборудование предприятия и орудия производства. Перо, карандаш, пишущая машинка, телефон, костюм для посещения ночлежки, велосипед для езды в редакции, сорганизованный стол, зонтик для писания под дождем, жилплощадь определенного количества шагов, которые нужно делать для работы, связь с бюро вырезок для присылки материала по вопросам, волнующим провинции, и т. д. и т. п., и даже трубка и папиросы.

Пятое. Навыки и приемы обработки слов, бесконечно индивидуальные, приходящие лишь с годами ежедневной работы: рифмы, размеры, аллитерации, образы, снижения стиля, пафос, концовка, заглавие, начертание и т. д. и т. д.

Например: социальное задание — дать слова для песен идущим на питерский фронт красноармейцам. Целевая установка — разбить Юденича. Материал — слова солдатского лексикона. Орудия производства — огрызок карандаша. Прием — рифмованная частушка.

Результат:

Милкой мне в подарок бурка
и носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга,
как наскипидаренный.

Новизна четверостишия, оправдывающая производство этой частушки,— в рифме «носки подарены» и «наскипидаренный». Эта новизна делает вещь нужной, поэтической, типовой.

Для действия частушки необходим прием неожиданной рифмовки при полном несоответствии первого двухстрочья со вторым. Причем первое двухстрочье может быть названо вспомогательным.

Даже эти общие начальные правила поэтической работы дадут больше возможностей, чем сейчас, для тарификации и для квалификации поэтических произведений.

Моменты материала, оборудования и приема могут быть прямо засчитываемы как тарифные единицы.

Социальный заказ есть? Есть. 2 единицы. Целевая установка? 2 единицы. Зарифмовано? Еще единица. Аллитерации? Еще пол-единицы. Да за ритм единица — странный размер требовал езды в автобусе.

Пусть не улыбаются критики, но я бы стихи какого-нибудь аляскинского поэта (при одинаковых способностях, конечно) расценивал бы выше, чем, скажем, стихи ялтинца.

Еще бы! Аляскинцу и мерзнуть надо, и шубу покупать, и чернила у него в самопишущей ручке замерзают. А ялтинец пишет на пальмовом фоне, в местах, где и без стихов хорошо.

Такая же ясность вносится и в квалификацию.

Стихи Демьяна Бедного — это правильно понятый социальный заказ на сегодня, точная целевая установка — нужды рабочих и крестьян, слова полукрестьянского обихода (с примесью отмирающих поэтических рифмований), басенный прием.

Стихи Крученых: аллитерация, диссонанс, целевая установка — помощь грядущим поэтам.

Тут не придется заниматься метафизическим вопросом, кто лучше: Демьян Бедный или Крученых. Это поэтические работы из разных слагаемых, в разных плоскостях, и каждая из них может существовать, не вытесняя друг друга и не конкурируя.

С моей точки зрения, лучшим поэтическим произведением будет то, которое написано по социальному заказу Коминтерна, имеющее целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, выразительными и понятными всем, сработанное на столе, оборудованном по НОТу, и доставленное в редакцию на аэроплане. Я настаиваю — на аэроплане, так как поэтический быт — это тоже один из важнейших факторов нашего производства. Конечно, процесс подсчета и учета поэзии значительно тоньше и сложнее, чем это показано у меня.

Я нарочно заостряю, упрощаю и карикатурю мысль. Заостряю для того, чтобы резче показать, что сущность современной работы над литературой не в оценке с точки зрения вкуса тех или иных готовых вещей, а в правильном подходе к изучению самого производственного процесса.

Смысл настоящей статьи отнюдь не в рассуждении о готовых образцах или приемах, а в попытке раскрытия самого процесса поэтического производства.

Как же делается стих?

Работа начинается задолго до получения, до осознания социального заказа.

Предшествующая поэтическая работа ведется непрерывно.

Хорошую поэтическую вещь можно сделать к сроку, только имея большой запас предварительных поэтических заготовок.

Например, сейчас (пишу только о том, что моментально пришло в голову) мне сверлит мозг хорошая фамилия «господин Глицерон», происшедшая случайно при каком-то перевранном разговоре о глицерине.

Есть и хорошие рифмы:

(И в небе цвета) *крем*
(вставал суровый) *Кремль.*
(В Рим ступайте, к французам) к *немцам*
(там ищите приют для) *богемца.*
(Под лошадиный) *фырк*
(когда-нибудь я добреду до) *Уфы.*
Уфа
глуха.

Или:

(Окрашенные) *нагусто*
(и дни и ночи) *августа*

и т. д. и т. д.

Есть нравящийся мне размер какой-то американской песенки, еще требующей изменения и русифицирования:

Хат Хардет Хена
Ди вемп оф совена
Ди вемп оф совена
Джи-эй.

Есть крепко скроенные аллитерации по поводу увиденной мельком афиши с фамилией «Нита Жо»:

Где живет Нита Жо?
Нита ниже этажом.

Или по поводу красильни Ляминой:

Краска — дело мамино.
Моя мама Лямина.

Есть темы разной ясности и мутности:

1) Дождь в Нью-Йорке.

2) Проститутка на бульваре Капуцинов в Париже. Проститутка, любить которую считается особенно шикарным

потому, что она одноногая,— другая нога отрезана, кажется, трамваем.

3) Старик при уборной в огромном геслеровском ресторане в Берлине.

4) Огромная тема об Октябре, которую не доделать, не пожив в деревне, и т. д. и т. д.

Все эти заготовки сложены в голове, особенно трудные — записаны.

Способ грядущего их применения мне неведом, но я знаю, что применено будет все.

На эти заготовки у меня уходит все мое время. Я трачу на них от 10 до 18 часов в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточением на этом объясняется пресловутая поэтическая рассеянность.

Работа над этими заготовками проходит у меня с таким напряжением, что я в девяноста из ста случаев знаю даже место, где на протяжении моей пятнадцатилетней работы пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, аллитерации, образы и т. д.

Улица.

Лица У... (Трамвай от Сухаревой башни до Срет. ворот, 13 г.)

Угрюмый дождь скосил глаза,—

А за... (Страстной монастырь, 12 г.)

Гладьте сухих и черных кошек. (Дуб в Кунцеве, 14 г.)

Леевой.

Левой. (Извозчик на Набережной, 17 г.)

Сукин сын Дантес. (В поезде около Мытищ, 24 г.)

И т. д. и т. д.

Эта «записная книжка»— одно из главных условий для делания *настоящей* вещи.

Об этой книжке пишут обычно только после писательской смерти, она годами валяется в мусоре, она печатается посмертно и после «законченных вещей», но для писателя эта книга — все.

У начинающих поэтов эта книжка, естественно, отсутствует, отсутствует практика и опыт. *Сделанные* строки редки, и поэтому вся поэма водяниста, длинна.

Начинающий ни при каких способностях не напишет сразу крепкой вещи; с другой стороны, первая работа всегда «свежее», так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни.

Только присутствие тщательно обдуманных заготовок дает мне возможность поспевать с вещью, так как норма

моей выработки при настоящей работе это — 8—10 строк в день.

Поэт каждую встречу, каждую вывеску, каждое событие при всех условиях расценивает только как материал для словесного оформления.

Раньше я так влезал в эту работу, что даже боялся высказывать слова и выражения, казавшиеся мне нужными для будущих стихов,— становился мрачным, скучным и неразговорчивым.

Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности, сказал ей, что я «не мужчина, а облако в штанах». Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, а вдруг это разойдется изустно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный, я с полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха.

Через два года «облако в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы.

Я два дня думал над словами о нежности одинокого человека к единственной любимой.

Как он будет беречь и любить ее?

Я лег на третью ночь спать с головной болью, ничего не придумав. Ночью определение пришло.

Тело твое
буду беречь и любить,
как солдат, обрубленный войною,
ненужный, ничей,
бережет
свою единственную ногу.

Я вскочил, полупроснувшись. В темноте обугленной спичкой записал на крышке папиросной коробки — «единственную ногу» и заснул. Утром я часа два думал, что это за «единственная нога» записана на коробке и как она сюда попала.

Улавливаемая, но еще не уловленная за хвост рифма отравляет существование: разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму.

С легкой руки Шенгели у нас стали относиться к поэтической работе как к легкому пустяку. Есть даже молодцы, превзошедшие профессора. Вот, например, из объявлений харьковского «Пролетария» (№ 256):

«Как стать писателем.

Подробности за 50 коп. марками. Ст. Славянск, Донецкой железной дороги, почт. ящик № 11».

Не угодно ли?!

Впрочем, это продукт дореволюционный. Уже приложением к журналу «Развлечение» рассылалась книжица «Как в 5 уроков стать поэтом».

Я думаю, что даже мои небольшие примеры ставят поэзию в ряд труднейших дел, каковым она и является в действительности.

Отношение к строке должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостишии Пастернака:

В тот день тебя от гребенок до ног,
как трагик в провинции драму Шекспирову,
таскал за собой и знал назубок,
шатался по городу и репетировал.

В следующей главе я попробую показать развитие этих предварительных условий делания стиха на конкретном примере писания одного из стихотворений.

2

Наиболее действенным из последних моих стихов я считаю — «Сергею Есенину».

Для него не пришлось искать ни журнала, ни издателя,— его переписывали до печати, его тайком вытащили из набора и напечатали в провинциальной газете, чтения его требует сама аудитория, во время чтения слышны летающие мухи, после чтения люди жмут лапы, в кулуарах бесятся и восхваляют, в день выхода появилась рецензия, состоящая одновременно из ругани и комплиментов.

Как работался этот стих?

Есенина я знал давно — лет десять, двенадцать.

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и оставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться.

Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал:

— Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!

Есенин озлился и пошел задираться.

Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

Милый, милый, смешной дуралей... и т. д.
Небо — колокол, месяц — язык... и др.

Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, и рядом с:

Мать моя родина,
Я большевик...—

появлялась апология «коровы». Вместо «памятника Марксу» требовался коровий памятник. Не молоконосной корове а-ля Сосновский, а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз.

Мы ругались с Есениным часто, кроя его, главным образом, за разросшийся вокруг него имажинизм.

Потом Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с ясной тягой к новому.

К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых (я говорю о минимуме, который от поэта требуется) работников поэзии.

В эту пору я встречался с Есениным несколько раз, встречи были элегические, без малейших раздоров.

Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАППу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленнейшего Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь.

В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольства собой, распираемого вином и черствыми и неумелыми отношениями окружающих.

В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться.

Он обрюзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен.

Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека, с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком скучае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду и вечером, разумеется, долго говорил (к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья — есенинцы.

Оказалось не так. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрассеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно — *стих*, подведет под петлю и револьвер.

И никакими, никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь.

С этим стихом можно и надо бороться стихом, и *только стихом.*

Так поэтам СССР был дан социальный заказ написать стихи об Есенине. Заказ исключительный, важный и срочный, так как есенинские строки начали действовать быстро и без промаха. Заказ приняли многие. Но что написать? Как написать?

Появились стихи, статьи, воспоминания, очерки и даже драмы. По-моему, 99% написанного об Есенине просто чушь или вредная чушь.

Мелкие стихи есенинских друзей. Их вы всегда отличите по обращению к Есенину, они называют его по-семейному — «Сережа» (откуда это неподходящее слово взял и Безыменский). «Сережа» как литературный факт — не существует. Есть поэт — Сергей Есенин. О таком просим и говорить. Введение семейственного слова «Сережа» сразу разрывает социальный заказ и метод оформления. Большую, тяжелую тему слово «Сережа» сводит до уровня эпиграммы или мадригала. И никакие слезы поэтических родственников не помогут. Поэтически эти стихи не могут впечатлять. Эти стихи вызывают смех и раздражение.

Стихи есенинских «врагов», хотя бы и примиренных его смертью, это — поповские стихи. Эти просто отказывают Есенину в поэтическом погребении из-за самого факта самоубийства.

> Но такого злого хулиганства
> Мы не ждали даже от тебя...
>
> *(Кажется, Жаров)*

Стихи этих — это стихи наскоро выполняющих плохо понятый социальный заказ, в котором целевая установка совершенно не связана с приемом и берется совершенно не действующий в этом трагическом случае фельетонный стилёк.

Вырванное из сложной социальной и психологической обстановки самоубийство, с его моментальным немотивированным отрицанием (а как же иначе?!), угнетает фальшивостью.

Мало поможет для борьбы с вредом последнего есенинского стиха и проза о нем.

Начиная с Когана, который, по-моему, изучал марксизм не по Марксу, а постарался вывести его самостоятельно из изречения Луки — «блохи все не плохи, все черненькие и все прыгают»,— считающий эту истину высшим научным объективизмом и поэтому заочно (посмертно) пишущий уже никому не нужную восхваляющую статью, и кончая дурно пахнущими книжонками Крученых, который обуча-

ет Есенина политграмоте так, как будто сам Крученых всю жизнь провел на каторге, страдая за свободу, и ему большого труда стоит написать шесть (!) книжечек об Есенине рукой, с которой еще не стерлась полоса от гремящих кандалов.

Что же и как написать об Есенине?

Осматривая со всех сторон эту смерть и перетряхивая чужой материал, я сформулировал и поставил себе задачу.

Целевая установка: обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красивости смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции, и оно, несмотря на тяжесть пути, на тяжелые контрасты нэпа, требует, чтобы мы славили радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм.

Сейчас, имея стих под рукой, легко формулировать, но как трудно было тогда его начинать.

Работа совпала как раз с моими разъездами по провинции и чтением лекций. Около трех месяцев я изо дня в день возвращался к теме и не мог придумать ничего путного. Лезла всякая чертовщина с синими лицами и водопроводными трубами. За три месяца я не придумал ни единой строки. Только от ежедневного просеивания слов отсеивались заготовки-рифмы вроде: «в иной — пивной», «Напостов — по сто». Уже подъезжая к Москве, я понял, что трудность и долгость писания — в чересчур большом соответствии описываемого с личной обстановкой.

Те же номера, те же трубы и та же вынужденная одинокость.

Обстановка заворачивала в себя, не давала выбраться, не давала ни ощущений, ни слов, нужных для клеймения, для отрицания, не давала данных для призыва бодрости.

Отсюда почти правило: для делания поэтической вещи необходима перемена места или времени.

Точно так, например, в живописи, зарисовывая какой-нибудь предмет, вы должны отойти на расстояние, равное тройной величине предмета. Не выполнив этого, вы просто не будете видеть изображаемой вещи.

Чем вещь или событие больше, тем и расстояние, на которое надо отойти, будет больше. Слабосильные топчутся на месте и ждут, пока событие пройдет, чтоб его отразить,

мощные забегают на столько же вперед, чтоб тащить понятое время.

Описание современности действующими лицами сегодняшних боев всегда будет неполно, даже неверно, во всяком случае — однобоко.

Очевидно, такая работа — сумма, результат двух работ — записей современника и обобщающей работы грядущего художника. В этом трагедия революционного писателя — можно дать блестящий протокол, например, «Неделя» Либединского, и безнадежно сфальшивить, взявшись за обобщения без всякой дистанции. Если не дистанции времени и места, то хотя бы головы.

Так, например, уважение, оказываемое «поэзии» в ущерб фактам и хронике, заставило рабкоров выпустить сборник «Лепестки» со стихами, вроде:

Я — пролетарская пушка,
Стреляю туда и сюда.

В этом урок: 1) бросим бред о разворачивании «эпических полотен» во время баррикадных боев — всё полотно раздерут; 2) ценность фактического материала (отсюда и интерес к корреспонденциям рабселькоров) во время революции должна тарифицироваться выше, во всяком случае, не ниже, чем так называемое «поэтическое произведение». Скороспелая поэтизация только выхолащивает и коверкает материал. Все учебники поэзии а-ля Шенгели вредны потому, что они не выводят поэзию из материала, т. е. не дают эссенции фактов, не сжимают фактов до того, пока не получится прессованное, сжатое, экономное слово, а просто накидывают какую-нибудь старую форму на новый факт. Форма чаще всего не по росту: или факт совсем затеряется, как блоха в брюках, например, радимовские поросята в его греческих, приспособленных для «Илиад» пентаметрах,— или факт выпирает из поэтической одежи и делается смешным, вместо величественного. Так выглядят, например, у Кириллова «Матросы», шествующие в раздирающемся по швам 4-стопном поношенном амфибрахии.

Перемена плоскости, в которой совершился тот или иной факт, расстояние — обязательно. Это не значит, конечно, что поэт должен сидеть у моря и ждать погоды, пока пройдет мимо время. Он должен подгонять время. Медленный ход времени заменить переменой места, в день, проходящий фактически, пропускать столетие в фантазии.

Для легких, для мелких вещей такое перемещение можно и надо делать (да оно так и само делается) искусственно.

Хорошо начинать писать стих о первом мае этак в ноябре и в декабре, когда этого мая действительно до зарезу хочется.

Чтобы написать о тихой любви, поезжайте в автобусе № 7 от Лубянской площади до площади Ногина. Эта отвратительная тряска лучше всего оттенит вам прелесть другой жизни. Тряска необходима для сравнения.

Время нужно и для выдержки уже написанной вещи.

Все стихи, которые я писал на немедленную тему при самом большом душевном подъеме, нравившиеся самому при выполнении, все же через день казались мне мелкими, несделанными, однобокими. Всегда что-нибудь ужасно хочется переделать.

Поэтому, закончив какую-нибудь вещь, я запираю ее в стол на несколько дней, через несколько вынимаю и сразу вижу раньше исчезавшие недостатки.

Заработался.

Это опять-таки не значит, что надо вещи делать только несвоевременные. Нет. Именно своевременные. Я только останавливаю внимание поэтов на том, что считающиеся легкими агитки на самом деле требуют самого напряженного труда и различнейших ухищрений, возмещающих недостаток времени.

Даже готовя спешную агитвещь, надо ее, например, переписывать с черновика вечером, а не утром. Даже пробежав раз глазами утром, видишь много легко исправляемого. Если перепишете утром — большинство скверного там и останется. Умение создавать расстояния и организовывать время (а не ямбы и хореи) должно быть внесено как основное правило всякого производственного поэтического учебника.

Вот почему стих об Есенине я двинул больше на маленьком перегоне от Лубянского проезда до Чаеуправления на Мясницкой (шел погашать аванс), чем за всю мою поездку. Мясницкая была резким и нужным контрастом: после одиночества номеров — мясницкое многолюдие, после провинциальной тишины — возбуждение и бодрость автобусов, авто и трамваев, а кругом, как вызов старым лучинным деревням — электротехнические конторы.

Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам.

Так обстругивается и оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. По-

степенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова.

Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда, другие задерживаются, переворачиваются и выворачиваются по нескольку десятков раз, пока не чувствуешь, что слово стало на место (это чувство, развиваемое вместе с опытом, и называется талантом). Первым чаще всего выявляется главное слово — главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, подлежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного. Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется — не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до исступления. Как будто сто раз примеряется на зуб не садящаяся коронка, и наконец, после сотни примерок, ее нажали, и она села. Сходство для меня усугубляется еще и тем, что когда наконец эта коронка «села», у меня аж слезы из глаз (буквально) — от боли и от облегчения.

Откуда приходит этот основной гул-ритм — неизвестно. Для меня это всякое повторение во мне звука, шума, покачивания или даже вообще повторение каждого явления, которое я выделяю звуком. Ритм может принести и шум повторяющегося моря, и прислуга, которая ежеутренне хлопает дверью и, повторяясь, плетется, шлепая в моем сознании, и даже вращение Земли, которое у меня, как в магазине наглядных пособий, карикатурно чередуется и связывается обязательно с посвистыванием раздуваемого ветра.

Старание организовать движение, организовать звуки вокруг себя, находя ихний характер, ихние особенности, это одна из главных постоянных поэтических работ — ритмические заготовки. Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорей всего — во мне. Но для его пробуждения должен быть толчок,— так от неизвестно какого скрипа начинает гудеть в брюхе у рояля, так, грозя обвалиться, раскачивается мост от одновременного муравьиного шага.

Ритм — это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество — это виды энергии. Ритм может быть один во многих стихах, даже во всей работе поэта, и это не делает работу однообразной, так как ритм может быть до

того сложен и трудно оформляем, что до него не доберешься и несколькими большими поэмами.

Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма и не заучивать чужие размерчики; ямб, хорей, даже канонизированный свободный стих — это ритм, приспособленный для какого-нибудь конкретного случая и именно только для этого конкретного случая годящийся. Так, например, магнитная энергия, отпущенная на подковку, будет притягивать стальные перышки, и ни к какому другому делу ее не приспособишь.

Из размеров я не знаю ни одного. Я просто убежден для себя, что для героических или величественных передач надо брать длинные размеры с большим количеством слогов, а для веселых — короткие. Почему-то с детства (лет с девяти) вся первая группа ассоциируется у меня с:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...—

а вторая — с:

Отречемся от старого мира...

Курьезно. Но, честное слово, это так.

Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, словами, выдвигаемыми целевой установкой (все время спрашиваешь себя: а то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймется? И т. д.), словами, контролируемыми высшим тактом, способностями, талантом.

Сначала стих Есенину просто мычался приблизительно так:

та-ра-ра́/ра-ра́/ ра, ра, ра, ра́, /ра-ра́/
ра-ра-ри /ра ра ра/ ра ра /ра ра ра ра/
ра-ра-ра /ра-ра ра ра ра ра ри/
ра-ра-ра /ра ра-ра/ ра ра /ра/ ра ра.

Потом выясняются слова:

Вы ушли ра ра ра ра ра в мир иной.
Может быть, летите ра ра ра ра ра ра.
Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной.
Ра ра ра /ра ра ра ра/ трезвость.

Десятки раз повторяю, прислушиваясь к первой строке:

Вы ушли ра ра ра в мир иной, и т. д.

Что же это за «ра ра ра» проклятая и что же вместо нее вставить? Может быть, оставить без всякой «рарары»?

Вы ушли в мир иной.

Нет! Сразу вспоминается какой-то слышанный стих:

Бедный конь в поле пал.

Какой же тут конь! Тут не лошадь, а Есенин. Да и без этих слогов какой-то оперный галоп получается, а эта «ра ра ра» куда возвышеннее. «Ра ра ра» выкидывать никак нельзя — ритм правильный. Начинаю подбирать слова.

Вы ушли, Сережа, в мир иной...
Вы ушли бесповоротно в мир иной.
Вы ушли, Есенин, в мир иной.

Какая из этих строчек лучше?

Все дрянь! Почему?

Первая строка фальшива из-за слова «Сережа». Я никогда так амикошонски не обращался к Есенину, и это слово недопустимо и сейчас, так как оно поведет за собой массу других фальшивых, не свойственных мне и нашим отношениям словечек: «ты», «милый», «брат» и т. д.

Вторая строка плоха потому, что слово «бесповоротно» в ней необязательно, случайно, вставлено только для размера: оно не только не помогает, ничего не объясняет, оно просто мешает. Действительно, что это за «бесповоротно»? Разве кто-нибудь умирал поворотно? Разве есть смерть со срочным возвратом?

Третья строка не годится своей полной серьезностью (целевая установка постепенно вбивает в голову, что это недостаток всех трех строк). Почему эта серьезность недопустима? Потому, что она дает повод приписать мне веру в существование загробной жизни в евангельских тонах, чего у меня нет,— это раз, а во-вторых, эта серьезность делает стих просто погребальным, а не тенденциозным — затемняет целевую установку. Поэтому я ввожу слова «как говорится».

«Вы ушли, как говорится, в мир иной». Строка сделана — «как говорится», не будучи прямой насмешкой, тонко снижает патетику стиха и одновременно устраняет всяческие подозрения по поводу веры автора во все загробные ахинеи. Строка сделана и сразу становится основной, определяющей все четверостишие,— его нужно сделать двойственным, не приплясывать по поводу горя, а с другой стороны, не распускать слезоточивой нуди. Надо сразу четверостишие перервать пополам: две торжественные строки, две разговорные, бытовые, контрастом оттеняющие друг друга. Поэтому сразу, согласно с моим убеждением, что

для строк повеселей надо пообрезать слога, я взялся за конец четверостишия.

Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной,
ра ра ра́ ра ра ра́ ра ра́ трезвость.

Что с этими строками делать? Как их урезать? Урезать надо «ни бабы». Почему? Потому что эти «бабы» живы. Называть их так, когда с большой нежностью им посвящено большинство есенинской лирики — бестактно. Поэтому и фальшиво, поэтому и не звучит. Осталось:

Ни аванса вам, ни пивной.

Пробую пробормотать про себя — не получается. Эти строки до того отличны от первых, что ритм не меняется, а просто ломается, рвется. Перерезал, что же делать? Недостает какого-то сложка. Эта строка, выбившись из ритма, стала фальшивой и с другой стороны — со смысловой. Она недостаточно контрастна и затем взваливает все «авансы и пивные» на одного Есенина, в то время как они одинаково относятся ко всем нам.

Как же сделать эти строки еще более контрастными и вместе с тем обобщенными?

Беру самое простонародное:

нет тебе ни дна, ни покрышки,
нет тебе ни аванса, ни пивной.

В самой разговорной, в самой вульгарной форме говорится:

ни тебе дна, ни покрышки,
ни тебе аванса, ни пивной.

Строка стала на место и размером и смыслом. «Ни тебе» еще больше законтрастировало с первыми строками, а обращение в первой строке «Вы ушли», а в третьей «ни тебе» — сразу показало, что авансы и пивные вставлены не для унижения есенинской памяти, а как общее явление. Эта строка явилась хорошим разбегом для того, чтобы выкинуть все слога перед «трезвость», и эта трезвость явилась как бы решением задачи. Поэтому четверостишие располагает к себе даже ярых приверженцев Есенина, оставаясь по существу почти издевательским.

Четверостишие в основном готово, остается только одна строка, не заполненная рифмой.

Вы ушли, как говорится, в мир иной,
может быть, летите ра-ра-ра́-ра.
Ни тебе аванса, ни пивной —
Трезвость.

Может быть, можно оставить незарифмованной? Нельзя. Почему? Потому что без рифмы (понимая рифму широко) стих рассыплется.

Рифма возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе.

Обыкновенно рифмой называют созвучие последних слов в двух строках, когда один и тот же ударный гласный и следующие за ним звуки приблизительно совпадают.

Так говорят все, и тем не менее это ерунда.

Концевое созвучие, рифма — это только один из бесконечных способов связывать строки, кстати сказать, самый простой и грубый.

Можно рифмовать и начала строк:

улица —
лица у догов годов резче,—

и т. д.

Можно рифмовать конец строки с началом следующей:

Угрюмый дождь скосил глаза,
а за решеткой, четкой,—

и т. д.

Можно рифмовать конец первой строки и конец второй одновременно с последним словом третьей или четвертой строки:

Среди ученых шеренг
еле-еле
в русском стихе разбирался Шенгели,—

и т. д. и т. д. до бесконечности.

В моем стихе необходимо зарифмовать слово «трезвость».

Первыми пришедшими в голову будут слова вроде «резвость», например:

Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Может быть, летите... знаю вашу резвость!
Ни тебе аванса, ни пивной —
Трезвость.

Можно эту рифму оставить? Нет. Почему? Во-первых,— потому, что эта рифма чересчур полная, чересчур прозрачная. Когда вы говорите «резвость», то рифма «трезвость» напрашивается сама собою и, будучи произнесенной, не удивляет, не останавливает вашего внимания. Такова судьба почти всех однородных слов, если рифмуется

глагол с глаголом, существительное с существительным, при одинаковых корнях или падежах и т. д. Слово «резвость» плохо еще и тем, что оно вносит элемент насмешки уже в первые строки, ослабляя, таким образом, всю дальнейшую контрастность. Может быть, можно облегчить себе работу, заменив слово «трезвость» каким-нибудь легче рифмуемым или не ставить «трезвость» в конец строки, а дополнить строку несколькими слогами, например: «трезвость, тишь»?.. По-моему, этого делать нельзя,— я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти всегда необычайна и, уж во всяком случае, до меня не употреблялась, и в словаре рифм ее нет.

Рифма связывает строки, поэтому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки.

Взяв самые характерные звуки рифмуемого слова «резв», повторяю множество раз про себя, прислушиваясь ко всем ассоциациям: «рез», «резв», «резерв», «влез», «врез», «врезв», «врезываясь». Счастливая рифма найдена. Глагол — да еще торжественный!

Но вот беда, в слове «трезвость», хотя и не так характерно, как «резв», но все же ясно звучат «т», «сть». Что с ними сделать? Надо ввести аналогичные буквы и в предыдущую строку.

Поэтому слово «может быть» заменяется словом «пустота», изобилующим и «т», и «ст», а для смягчения «т» оставляется «летите», звучащее отчасти как «летьитье».

И вот окончательная редакция:

Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Пустота,— летите, в звезды врезываясь...
Ни тебе аванса, ни пивной —
Трезвость.

Разумеется, я чересчур опрощаю, схематизирую и подчиняю мозговому отбору поэтическую работу. Конечно, процесс писания окольней, интуитивней. Но в основе работа все-таки ведется по такой схеме.

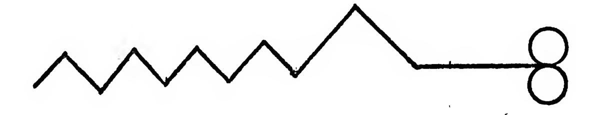
Первое четверостишие определяет весь дальнейший стих. Имея в руках такое четверостишие, я уже прикидываю, сколько таких нужно по данной теме и как их распределить для наилучшего эффекта (архитектоника стиха).

Тема большая и сложная, придется потратить на нее таких четверостиший, шестистиший да двухстиший-кирпичей штук 20—30.

Наработав приблизительно почти все эти кирпичи, я начинаю их примерять, ставя то на одно, то на другое место, прислушиваясь, как они звучат, и стараясь представить себе производимое впечатление.

Попримерив и продумав, решаю: сначала надо заинтересовать всех слушателей двойственностью, при которой неизвестно, на чьей я стороне, затем надо отобрать Есенина у пользующихся его смертью в своих выгодах, надо выхвалить его и обелить так, как этого не смогли его почитатели, «загоняющие в холм тупые рифмы». Окончательно надо завоевать сочувствие аудитории, обрушившись на опошливающих есенинскую работу, тем более что они опошливают и всякую другую, за какую бы ни взялись,— на всех этих Собиновых, быстро ведя слушателя уже легкими двухстрочиями. Завоевав аудиторию, выхватив у нее право на совершенное Есениным и вокруг него, неожиданно пустить слушателя по линии убеждения в полной нестоящести, незначительности и неинтересности есенинского конца, перефразировав его последние слова, придав им обратный смысл.

Примитивным рисуночком получится такая схема:



Имея основные глыбы четверостиший и составив общий архитектурный план, можно считать основную творческую работу выполненной.

Далее идет сравнительно легкая техническая обработка поэтической вещи.

Надо довести до предела выразительность стиха. Одно из больших средств выразительности — образ. Не основной образ-видение, который возникает в начале работы как первый туманный еще ответ на социальный заказ. Нет, я говорю о вспомогательных образах, помогающих вырастать этому главному. Этот образ — одно из всегдашних средств поэзии, и течения, как, например, имажинизм, делавшие его целью, обрекали себя, по существу, на разработку только одной из технических сторон поэзии.

Способы выделки образа бесконечны.

Один из примитивных способов делания образа — это сравнения. Первые мои вещи, например, «Облако в шта-

нах», были целиком построены на сравнениях — все «как, как и как». Не эта ли примитивность заставляет поздних ценителей считать «Облако» моим «кульминационным» стихом? В позднейших вещах и в моем «Есенине», конечно, эта примитивность выведена. Я нашел только одно сравнение: «утомительно и длинно, как Доронин».

Почему как Доронин, а не как расстояние до луны, например? Во-первых, взято сравнение из литературной жизни потому, что вся тема литераторская. А во-вторых — «Железный пахарь» (так, кажется?) длиннее дороги до луны, потому что дорога эта нереальна, а «Железный пахарь», к сожалению, реален, а затем дорога до луны показалась бы короче своей новизной, а 4000 строк Доронина поражают однообразием 16 тысяч раз виденного словесного и рифменного пейзажа. А затем — и образ должен быть тенденциозен, т. е., разрабатывая большую тему, надо и отдельные образишки, встречающиеся по пути, использовать для борьбы, для литературной агитации.

Распространеннейшим способом делания образа является также метафоризирование, т. е. перенос определений, являвшихся до сего времени принадлежностью только некоторых вещей, и на другие слова, вещи, явления, понятия.

Например, метафоризирована строка:

И несут стихов заупокойный лом.

Мы знаем — железный лом, шоколадный лом. Но как определить поэтическую труху, оставшуюся непримененной, не нашедшей себе употребления после других поэтических работ? Конечно, это лом стихов, стиховный лом. Здесь это лом одного рода — заупокойного, это стихов заупокойных лом. Но так эту строку нельзя оставить, так как получается «заупокойных лом», «хлом», читающийся как «хлам» и искажающий этим так называемым сдвигом всю смысловую сторону стиха. Это очень частая небрежность.

Например, в лирическом стихотворении Уткина, помещенном недавно в «Прожекторе», есть строка:

не придет он так *же вот*,
как на зимние озера летний лебедь не придет.

Получается определенный «живот».

Наиболее эффектным является первая строка стиха, выпущенного Брюсовым в первые дни войны в журнале «Наши дни»:

Мы ветераны, мучат нас раны.

Этот сдвиг уничтожается, давая одновременно простейшее и наиболее четкое определение расстановкой слов —

стихов заупокойный лом.

Один из способов делания образа, наиболее применяемый мною в последнее время, это — создание самых фантастических событий — фактов, подчеркнутых гиперболой.

Чтобы врассыпную разбежался Коган,
встреченных увеча пиками усов.

Коган становится, таким образом, собирательным, что дает ему возможность бежать врассыпную, а усы превращаются в пики, а чтобы эту пиковость усугубить, валяются кругом искалеченные усами.

Способы образного построения варьируются (как и вся остальная стихотворная техника) в зависимости от пресыщенности читателя той или другой формой.

Может быть обратная образность, т. е. такая, которая не только не расширяет сказанного воображением, а, наоборот, старается втиснуть впечатление от слов в нарочно ограниченные рамки. Например, у моей старой поэмы «Война и мир»:

В гниющем вагоне на 40 человек —
4 ноги.

На таком цифровом образе построены многие из вещей Сельвинского.

Затем идет работа над отбором словесного материала. Надо точно учитывать среду, в которой развивается поэтическое произведение, чтобы чуждое этой среде слово не попало случайно.

Например, у меня была строка:

Вы такое, *милый мой*, умели.

«Милый мой»—фальшиво, во-первых, потому, что оно идет вразрез с суровой обличительной обработкою стиха; во-вторых,— этим словом никогда не пользовались мы в нашей поэтической среде. В-третьих, это — мелкое слово, употребляемое обычно в незначительных разговорах, применяемое скорее для затушевки чувства, чем для оттенения его; в-четвертых,— человеку, действительно размякшему от горести, свойственно прикрываться словом погрубее. Кроме того, это слово не определяет, чтó человек умел — чтó умели?

Что Есенин умел? Сейчас большой спрос, пристальный и восхищенный взгляд на его лирику: литературное же продвижение Есенина шло по линии так называемого литературного скандала (вещи не обидной, а весьма почтенной, являющейся отголоском, боковой линией знаменитых футуристических выступлений), а именно — эти скандалы были при жизни литературными вехами, этапами Есенина.

Как не подходило бы к нему при жизни:

Вы такое петь душе умели.

Есенин не пел (по существу он, конечно, цыгано-гитаристый, но его поэтическое спасение в том, что он хоть при жизни не так воспринимался и в его томах есть десяток и поэтически новых мест). Есенин не пел, он грубил, он загибал. Только после долгих размышлений я поставил это «загибать», как бы ни кривило такое слово воспитанников литературных публичных домов, весь день слушающих сплошные загибы и мечтающих в поэзии отвести душу на сиренях, персях, трелях, аккордах и ланитах. Без всяких комментариев приведу постепенную обработку слов в одной строке:

1) наши дни к веселью мало оборудованы;
2) наши дни под радость мало оборудованы;
3) наши дни под счастье мало оборудованы;
4) наша жизнь к веселью мало оборудована;
5) наша жизнь под радость мало оборудована;
6) наша жизнь под счастье мало оборудована;
7) для веселий планета наша мало оборудована;
8) для веселостей планета наша мало оборудована;
9) не особенно планета наша для веселий оборудована;
10) не особенно планета наша для веселья оборудована;
11) планетишка наша к удовольствиям не очень оборудована;

и, наконец, последняя, 12-я —

12) для веселия планета наша мало оборудована.

Я мог бы произнести целую защитительную речь в пользу последней из строк, но сейчас удовлетворюсь простым списыванием этих строк с черновика для демонстрирования, сколько надо работы класть на выделку нескольких слов.

К технической обработке относится и звуковое качество поэтической вещи — сочетание слова со словом. Эта «магия слов», это — «быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов», эта звуковая сторона кажется также многим самоцелью поэзии, это опять-таки низведе-

ние поэзии до технической работы. Переборщенность созвучий, аллитераций и т. п. через минуту чтения создает впечатление пресыщенности.

Например, Бальмонт:

Я вольный ветер, я вечно вею,
волную волны... и т. д.

Дозировать аллитерацию надо до чрезвычайности осторожно и по возможности не выпирающими наружу повторами. Пример ясной аллитерации в моем есенинском стихе — строка:

Где он, бронзы звон или гранита грань...

Я прибегаю к аллитерации для обрамления, для еще большей подчеркнутости важного для меня слова. Можно прибегать к аллитерации для простой игры словами, для поэтической забавы; старые (для нас старые) поэты пользовались аллитерацией главным образом для мелодичности, для музыкальности слова и поэтому применяли часто наиболее для меня ненавистную аллитерацию — звукоподражательную. О таких способах аллитерирования я уже говорил, упоминая о рифме.

Конечно, не обязательно уснащать стих вычурными аллитерациями и сплошь его небывало зарифмовывать. Помните всегда, что режим экономии в искусстве — всегдашнее важнейшее правило каждого производства эстетических ценностей. Поэтому, сделав основную работу, о которой я говорил вначале, многие эстетические места и вычурности надо сознательно притушевывать для выигрыша блеска другими местами.

Можно, например, полурифмовать строки, связать не лезущий в ухо глагол с другим глаголом, чтобы подвести к блестящей громкогромыхающей рифме.

Этим лишний раз подчеркивается относительность всех правил писания стихов.

К технической работе относится и интонационная сторона поэтической работы.

Нельзя работать вещь для функционирования в безвоздушном пространстве или, как это часто бывает с поэзией, в чересчур воздушном.

Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой этот стих обращен. В особенности важно это сейчас, когда главный способ общения с массой — это эстрада, голос, непосредственная речь.

Надо в зависимости от аудитории брать интонацию убеждающую или просительную, приказывающую или вопрошающую.

Большинство моих вещей построено на разговорной интонации. Но, несмотря на обдуманность, и эти интонации не строго-настрого установленная вещь, а обращения сплошь да рядом меняются мной при чтении, в зависимости от состава аудитории. Так, например, печатный текст говорит немного безразлично, в расчете на квалифицированного читателя:

Надо вырвать радость у грядущих дней.

Иногда в эстрадном чтении я усиляю эту строку до крика:

Лозунг:
вырви радость у грядущих дней!

Поэтому не стоит удивляться, если будет кем-нибудь и в напечатанном виде дано стихотворение с аранжировкой его на несколько различных настроений, с особыми выражениями на каждый случай.

Сделав стих, предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное, именно как напечатанное. Надо принять во внимание среднесть читателя, надо всяческим образом приблизить читательское восприятие именно к той форме, которую хотел дать поэтической строке ее делатель. Наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение.

Размер и ритм вещи значительнее пунктуации, и они подчиняют себе пунктуацию, когда она берется по старому шаблону.

Все-таки все читают стих Алексея Толстого:

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током...—

как —

Шибанов молчал из пронзенной ноги...

Дальше:

Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться...—

читается как провинциальный разговорчик:

Довольно стыдно мне...

Чтобы читалось так, как думал Пушкин, надо разделить строку так, как делаю я:

Довольно,
стыдно мне...

При таком делении на полустрочия ни смысловой, ни ритмической путаницы не будет. Раздел строчек часто диктуется и необходимостью вбить ритм безошибочно, так как наше конденсированное экономическое построение стиха часто заставляет выкидывать промежуточные слова и слоги, и если после этих слогов не сделать остановку, часто бо́льшую, чем между строками, то ритм оборвется.

Вот почему я пишу:

Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.

«Пустота» стоит отдельно, как единственное слово, характеризующее небесный пейзаж. «Летите» стоит отдельно, дабы не было повелительного наклонения: «Летите в звезды», и т. д.

Одним из серьезных моментов стиха, особенно тенденциозного, декламационного, является концовка. В эту концовку обычно ставятся удачнейшие строки стиха. Иногда весь стих переделываешь, чтобы только была оправдана такая перестановка.

В стихе о Есенине такой концовкой, естественно, явилась перефразировка последних есенинских строчек.

Они звучат так:

Есенинское —

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Мое —

В этой жизни помирать нетрудно,
Сделать жизнь значительно трудней.

На всем протяжении моей работы всего стихотворения я все время думал об этих строках. Работая другие строки, я все время возвращался к этим — сознательно или бессознательно.

Забыть, что нужно сделать именно это,— невозможно никак, поэтому я не записывал этих строк, а делал их наизусть (как раньше все и как теперь большинство из моих ударных стихотворений).

Поэтому не представляется возможным учесть количество переработок; во всяком случае, вариантов этих двух строк было не менее 50—60.

Бесконечно разнообразны способы технической обработки слова, говорить о них бесполезно, так как основа поэтической работы, как я неоднократно здесь упоминал, именно в изобретении способов этой обработки, и именно эти способы делают писателя профессионалом. Талмудисты поэзии, должно быть, поморщатся от этой моей книги, они любят давать готовые поэтические рецепты. Взять такое-то содержание, облечь его в поэтическую форму, ямб или хорей, зарифмовать кончики, подпустить аллитерацию, начинить образами — и стих готов.

Но это простое рукоделие кидают, будут кидать (и хорошо делают, что кидают) во все сорные корзины всех редакций.

Человеку, который в первый раз взял в руки перо и хочет через неделю писать стихи, такому моя книга не нужна.

Моя книга нужна человеку, который хочет, несмотря ни на какие препятствия, быть поэтом, человеку, который, зная, что поэзия — одно из труднейших производств, хочет осознать для себя и для передачи некоторые кажущиеся таинственными способы этого производства.

Вроде выводов:

1. Поэзия — производство. Труднейшее, сложнейшее, но производство.

2. Обучение поэтической работе — это не изучение изготовления определенного, ограниченного типа поэтических вещей, а изучение способов всякой поэтической работы, изучение производственных навыков, помогающих создавать новые.

3. Новизна, новизна материала и приема обязательна для каждого поэтического произведения.

4. Работа стихотворца должна вестись ежедневно для улучшения мастерства и для накопления поэтических заготовок.

5. Хорошая записная книжка и умение обращаться с нею важнее умения писать без ошибок подохшими размерами.

6. Не надо пускать в ход большой поэтический завод для выделки поэтических зажигалок. Надо отворачиваться от такой нерациональной поэтической мелочи. Надо браться за перо только тогда, когда нет иного способа говорить,

кроме стиха. Надо вырабатывать готовые вещи только тогда, когда чувствуешь ясный социальный заказ.

7. Чтоб правильно понимать социальный заказ, поэт должен быть в центре дел и событий. Знание теории экономии, знание реального быта, внедрение в научную историю для поэта — в основной части работы — важней, чем схоластические учебнички молящихся на старье профессоров-идеалистов.

8. Для лучшего выполнения социального заказа надо быть передовым своего класса, надо вместе с классом вести борьбу на всех фронтах. Надо разбить вдребезги сказку об аполитичном искусстве. Эта старая сказка возникает сейчас в новом виде под прикрытием болтовни о «широких эпических полотнах» (сначала эпический, потом объективный и, наконец, беспартийный), о большом стиле (сначала большой, потом возвышенный и, наконец, небесный) и т. д. и т. д.

9. Только производственное отношение к искусству уничтожит случайность, беспринципность вкусов, индивидуализм оценок. Только производственное отношение поставит в ряд различные виды литературного труда: и стих, и рабкоровскую заметку. Вместо мистических рассуждений на поэтическую тему даст возможность точно подойти к назревшему вопросу поэтической тарификации и квалификации.

10. Нельзя придавать выделке, так называемой технической обработке, самодовлеющую ценность. Но именно эта выделка делает поэтическое произведение годным к употреблению. Только разница в этих способах обработки делает разницу между поэтами, только знание, усовершенствование, накопление, разноображивание литературных приемов делает человека профессионалом-писателем.

11. Бытовая поэтическая обстановка так же влияет на создание настоящего произведения, как и все другие факторы. Слово «богема» стало нарицательным для всякой художественно-обывательской бытовщины. К сожалению, борьба эта часто велась со словом, и только со словом. Реально налицо атмосфера старого литературного индивидуального карьеризма, мелких злобных кружковых интересов, взаимное подсиживание, подмена понятия «поэтический» понятием «расхлябанный», «подвыпивший», «забулдыга» и т. д. Даже одежа поэта, даже его домашний разговор с женой должен быть иным, определяемым всем его поэтическим производством.

12. Мы, лефы, никогда не говорим, что мы единственные обладатели секретов поэтического творчества. Но мы единственные, которые хотим вскрыть эти секреты, единственные, которые не хотят творчество спекулятивно окружить художественно-религиозным поклонением.

Моя попытка — слабая попытка одиночки, только пользующегося теоретическими работами моих товарищей словесников.

Надо, чтоб эти словесники перевели свою работу на современный материал и непосредственно помогли дальнейшей поэтической работе.

Мало этого.

Надо, чтоб органы просвещения масс перетряхнули преподавание эстетического старья.

1926

«А ЧТО ВЫ ПИШЕТЕ?»

— с таким вопросом обращается каждый хроникер к каждому писателю. Впрочем, и не к писателю тоже. Сейчас, на мой взгляд, печатается больше, чем пишется. Не сразу разберешь, где кончается поэзия и где начинается ведомственный отчет, только на всякий случай зарифмованный. Одна печатаемая ерунда создает еще у двух убеждение, что и они могут написать не хуже. Эти двое, написав и будучи напечатанными, возбуждают зависть уже у четырех. Писатели множатся, как бацилла,— простым делением: был писатель, стало два. Ошалелый редактор печатает все, заботясь лишь о порядке очереди. И, глядя на первого встречного, хроникер вправе предполагать, что и этому придет очередь, и у хроникера, естественно, рождается вопрос: а что вы пишете?

Молодой человек начинает думать обо всем, о чем он еще никогда не думал. Результаты хроникерской записи этого горячечного самовлюбленного бреда мы узнаем из «Литературной хроники» газет и журналов.

«Кошкин. Работает над повестью из жизни фабрично-заводского пролетариата северного и южного полюсов под обоюдным названием «Полюс на полюс».

Сметанчик. Пишет роман-двенадцатилогию из жизни последней дюжины египетских фараонов. Первые семь (по порядку) уже написаны. Для оставшихся пяти изучается

подлинный материал в библиотеке имени Луначарского третьего городского района.

Каплан по заданию Губполитпросвета выполняет цикл сонетов, возрождающих пушкинское мастерство и вполне посвященных смычке.

Козлов, Клязин, Спальников, Мундблеф, Русскин и т. д., и т. д. (люди, очевидно, без воображения) работают над разворачиванием больших эпических полотен».

Просто и мило.

Но я никогда не узнавал из газет и журналов ничего интересного из жизни и работы интересующих меня писателей.

Почему?

Должно быть, потому, что занятые и флегматичные писатели разговаривают с интервьюерами приблизительно так же, как разговариваю и я:

— А идите вы к черту... Ну, что пристали? Когда будет надо, и без вас напишу — сам писатель.

Ну так вот:

Главной работой, главной борьбой, которую сейчас необходимо весть писателю, это — общая борьба за качество.

Качество писательской продукции (в связи с этим и положение писателя в нашем советском обществе) чрезвычайно пошатнулось, понизилось, дискредитировалось.

Здесь были и объективные причины временного понижения — многолетняя работа последнего времени от срочного задания к срочному заданию, отсутствие времени на продумывание формальной стороны работы. Это сознательное временное приспособление слова имело и свои положительные результаты — очищение языка от туманной непонятности, сознательный выбор, поиск целевой установки.

Значительно хуже — субъективные причины принижения качества. Это писательская бессовестная, разухабистая халтурщина, постоянное предпочтение фактических заказов всем социальным, циничное предположение, что неквалифицированный читатель сожрет все и т. д.

Этому способствует, конечно и скверная постановка литературного дела вообще: странное поведение Гиза, при котором исчезла связь питателя с массой, вручение критики безответственным губошлепам, не пригодным ни к какому другому труду, и т. д.

Ощущению квалификации посвящено мое главное стихотворение последних недель — «Разговор с фининспекто-

ром о поэзии» (выйдет в ближайшем номере «Нового мира»). В нем я считаю необходимым напомнить, что:

Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.

(Отрывок «Разговора»)

Та же тема и в характеристике критики:

Марксистский метод —
дело человечье,
бей,
своим не причиняя увечья.
Штыками
двух столетий стык
закрепляет
рабочая рать.
Но некоторые
употребляют штык,
чтоб им
в зубах ковырять.

Это стихотворение с длинным заглавием: «Марксизм — оружие, огнестрельный метод, применяй умеючи метод этот» — выйдет в ближайшем номере журнала «Журналист». Интересно, что мои язвительные слова относительно Лермонтова — о том, что у него «целые хоры небесных светил и ни слова об электрификации», изрекаемые в стихе глупым критиком,— писавший отчет в «Красной газете» о вечерах Маяковского приписывает мне, как мое собственное недотепистое мнение. Привожу это как образец вреда персонификации поэтических произведений.

Ответственность за халтуру и деквалификацию лежит на всех. У каждого своя роль, выведенная в моем стихе

«Четырехэтажная халтура», помещенном в московской «Комсомольской правде».

С молотка
литература пущена.
Где вы,
сеятели правды
или звезд сиятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина:
Гиза,
критика,
читаки
и писателя.

С этим должны бороться все. Об этом орет мой стих «Передовая передового», имеющий выйти в журнале «На литературном посту»:

Наша
в коммуну
не иссякнет вера.
Во имя коммуны
жмись и мнись.
Каждое
сегодняшнее дело
меряй,
как шаг
в электрический,
в машинный коммунизм.
Довольно домашней,
кустарной праздности!
Довольно
изделий ловких рук!
Республика искусств
в смертельной опасности —
в опасности слово,
краска
и звук.

Безобразие халтуры не поборешь в одиночку, необходимо помочь кадрам начинающих писателей разбираться в собственном производстве, воспитать в себе чувство отбора, знать, при каких условиях стихотворный выстрел достигает цели, попадает в цель.

Поэтому я написал брошюру «Как делать стихи?», которую собираюсь выпустить в издательстве «Огонек», ввиду дешевизны и большого распространения книг этого издательства.

Я думаю, что такая брошюра особенно нужна на фоне беспринципных и вредных руководств, каким, по моему убеждению, является хотя бы третьим изданием выходящая книга Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы».

Рядом с этой работой приходится выполнять и работу, потребованную нашими днями.

Стихотворение «Сергею Есенину», имеющее цель разбить поэтическую цыганщину и пессимизм, выйдет в «Новом мире».

Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

Этого же разряда стихи «Английским рабочим», «Первомайское поздравление» и др. Выйдут отдельным сборником осенью.

Халтура, конечно, всегда беспринципна, она создает безразличное отношение к теме — избегает трудную, избегает скользкую.

Настоящая поэзия всегда, хоть на час, а должна опередить жизнь. Я стараюсь сейчас писать как можно меньше, выбирая сложные, висящие в воздухе вопросы,— чиновничество, бюрократизм, скука, официальщина.

Этот ряд стихов я начал с маленького «Строго воспрещается», выходящего в «Красной ниве». Это стих о вывеске Краснодарского вокзала: «Задавать вопросы контролеру строго воспрещается»—

...а хочется спросить:
— Ну как дела?
Как здоровьице?
Как детки?
Прошел я,
глаза к земле низя,
и только подхихикнул,
ища покровительства.
И хочется задать вопрос,
а нельзя —
еще обидются:
правительство!

Остальные стихи этого цикла будут выходить в московских «Известиях».

Трудность продвижения на международную арену труднопереводимых стихов (разумеется, это не единственная главная причина) заставила меня начать большой (два-

дцатилистный) прозаический роман, который я обязался договором сделать к 1 августа.

Роман я начну окончательно дорабатывать после сдачи по договору своей комедии-драмы театру Мейерхольда.

Особняком стоят стихи об американском путешествии, дорабатываемые сейчас, такова поэма «Сифилис» (выйдет в журнале «Молодая гвардия»). Это стих о занятиях прогнивших хозяев в завоеванных долларом колониях:

В политику
этим
не думал ввязаться я.
А так — срисовал для видика.
Одни говорят —
«цивилизация»,
другие —
«колониальная политика».

Отдельными книгами выходят и выйдут:

Гиз: 1) Полное собрание сочинений в четырех томах. С автобиографией и вступительной статьей и примечаниями О. М. Брика под его же редакцией.

2) «Мое открытие Америки» — четыре листа прозы. Факты и мысли путешествия.

3) «Испания, Атлантический океан, Куба, Мексика и другие Америки». Сборник американских и мексиканских стихов.

Заккнига — отдельные издания поэм с фотомонтажом и обложками исключительного Родченко:

1) «Сергей Есенин», 2) «Разговор с фининспектором о поэзии», 3) «Сифилис», 4) «Что ни страница, то тигр, то львица» — детская книга о зверях. (Первые три в 25-копеечных книжицах.)

Кстати из детской книги:

Крокодил —
гроза морей.
Лучше не гневите.
Только он
сидит в воде
и пока
не виден
и т. д.

Огонек: 1) Избранное из избранного (сборник эстрадных стихов). 2) «Как делать стихи?»

Прибой: 1). 2). 3). Детские книги.

Работа современного поэта, конечно, не исчерпывается

поэмами, стихами и другими строчками. Нужна и организационно-литературная работа. Таковой очередной нашей работой явится продолжение журнала «Леф». Издание «Лефа» (боевой двухнедельный трехлистник) с августа месяца возобновится в Москве.

Мне кажется, что новый «Леф» приобретет сейчас удвоенную силу, так как лозунги партии, лозунги советской власти — режим экономии, квалификация, индустриализация — это в эстетике, в искусстве всегдашние, давно раструбливаемые лозунги «Лефа». Разве наша борьба с эстетической реставрацией вроде различных «Игорей» и в кино и в театре, борьба за деревянную, за материальную конструкцию, за спецодежду вместо золоченой бутафории <— разве ее> можно рассматривать иначе, чем идеологический участок на общем фронте борьбы за экономию.

В «Лефе» рядом с московской группой будут работать и лучшие работники искусств и теоретики Ленинграда.

Н. Тихонов, Тынянов, Эйхенбаум, Якубинский, Гинзбург, Коварский.

Интересно?

1926

ЕЗДИЛ Я ТАК

Я выехал из Москвы 15 апреля. Первый город Варшава. На вокзале встречаюсь с т. Аркадьевым, представителем ВОКСа в Польше, и т. Ковальским, варшавским ТАССом. В Польше решаю не задерживаться. Скоро польские писатели будут принимать Бальмонта. Хотя Бальмонт и написал незадолго до отъезда из СССР почтительные строки, обращенные ко мне:

«...И вот ты написал блестящие страницы,
Ты между нас возник как некий острозуб...» и т. д.,—

я все же предпочел не сталкиваться в Варшаве с этим блестящим поэтом, выродившимся в злобного меланхолика. Я хотел ездить тихо, даже без острозубия.

В первый приезд я встретился только с самыми близкими нашими друзьями в Польше: поэт Броневский, художница Жарновер, критик Ставер.

На другой день с представителем ВОКСа в Чехословакии, великолепнейшим т. Калюжным, выехали в Прагу.

На Пражском вокзале — Рома Якобсон. Он такой же. Немного пополнел. Работа в отделе печати пражского полпредства прибавила ему некоторую солидность и дипломатическую осмотрительность в речах.

В Праге встретился с писателями-коммунистами, с группой «Деветсил». Как я впоследствии узнал, это — не «девять сил», например, лошадиных, а имя цветка с очень цепкими и глубокими корнями. Ими издается единственный левый, и культурно и политически (как правило только левые художественные группировки Европы связаны с революцией), журнал «Стабва». Поэты, писатели, архитектора: Гора, Сайферт, Махен, Библ, Незвал, Крейцер и др. Мне показывают в журнале 15 стихов о Ленине.

Архитектор Крейцер говорит: «В Праге, при постройке, надо подавать проекты здания, сильно украшенные пустяками под старинку и орнаментированные. Без такой общепринятой эстетики не утверждают. Бетон и стекло без орнаментов и розочек отцов города не устраивает. Только потом при постройке пропускают эту наносную ерунду и дают здание новой архитектуры».

В театре левых «Освобозене Дивадло» (обозрение, мелкие пьески, мюзикхолльные и синеблузные вещи) я выступил между номерами с «Нашим» и«Левым» маршами.

«Чай» в полпредстве — знакомство с писателями Чехословакии и «атташэ интеллектюэль» Франции, Германии, Югославии.

Большой вечер в «Виноградском народном доме». Мест на 700. Были проданы все билеты, потом корешки, потом входили просто, потом просто уходили, не получив места. Было около 1 500 человек.

Я прочел доклад «10 лет 10-ти поэтов». Потом были читаны «150 000 000» в переводе проф. Матезиуса. 3-я часть — «Я и мои стихи». В перерыве подписывал книги. Штук триста. Скучная и трудная работа. Подписи — чехословацкая страсть. Подписывал всем — от людей министерских до швейцара нашей гостиницы.

Утром пришел бородатый человек, дал книжку, где уже расписались и Рабиндранат Тагор и Милюков, и требовал автографа, и обязательно по славянскому вопросу: как раз — пятидесятилетие балканской войны. Пришлось написать:

Не тратьте слова́
на братство славян.
Братство рабочих —
и никаких прочих.

Привожу некоторые отзывы о вечере по якобсоновскому письму:

а) В газете социалистических легионеров (и Бенеша) «Národni osvobozeni» от 29/IV сообщается, что было свыше тысячи человек, что голос сотрясал колонны и что такого успеха в Праге не имел еще никто!

б) Газета «Lid. Nov.» от 28/IV сожалеет о краткости лекции, отмечает большой успех, остроумие новых стихотворений, излагает лекцию.

в) В официальной «Českoslov. Republika» — отзыв хвалебный (сатира, ораторский пафос и пр.), но наружность не поэтическая.

г) В мининдельской «Prager Presse» — панегирик.

д) В коммунистической «Rudé Právo» — восторгается и иронизирует по поводу фашистских газет «Večerni list» и «Národ» (орган Крамаржа), которые возмущены терпимостью полиции и присутствием представителей мининдела, сообщают, что ты громил в лекции Версальский мир, демократию, республику, чехословацкие учреждения и Англию и что английский посланник пошлет Бенешу ноту протеста.

Этих газет тебе не посылаю, потерял, но посылаю следующий номер «Národ», который суммирует обвинения и требует решительных мер против «иностранных коммунистических провокаторов».

«Národni osvobozeni» от 29/IV насмехается над глупой клеветой газеты «Národ».

...Из Праги я переехал в Германию. Остановился в Берлине от поезда до поезда, условясь об организации лекции.

На другой день — 3 часа — Париж.

Когда нас звали на чествование Дюамеля в Москве, Брик, основываясь на печальном опыте с Мораном и Бер-

ро, предложил чествовать французов после их возвращения во Францию, когда уже выяснится, что они будут писать об СССР.

Первым мне попалось в Париже интервью с Дюамелем. Отношение к нам на редкость добросовестное. Приятно.

С Дюамелем и Дюртеном мы встретились в Париже на обеде, устроенном французскими писателями по случаю моего приезда.

Были Вильдрак — поэт-драматург, автор «Пакетбота Тенеси», Рене — редактор «Европы», Бушон — музыкант, Базальжетт — переводчик Уитмена, Мазарель, известный у нас по многим репродукциям художник, и др.

Они собираются на свои обеды уже с 1909 года.

Люди хорошие. Что пишут — не знаю. По разговорам — в меру уравновешенные, в меру независимые, в меру новаторы, в меру консерваторы. Что пишут сюрреалисты (новейшая школа французской литературы), я тоже не знаю, но по всему видно — они на лефовский вкус.

Это они на каком-то разэстетском спектакле Дягилева выставили красные флаги и стали говор спектакля покрывать Интернационалом.

Это они устраивают спектакли, на которых действие переходит в публику, причем сюрреалистов бьет публика, публику бьют сюрреалисты, а сюрреалистов опять-таки лупят «ажаны». Это они громят лавки церковных украшений с выпиленными из кости христами.

Не знаю, есть ли у них программа, но темперамент у них есть. Многие из них коммунисты, многие из них сотрудники «Клартэ».

Перечисляю имена: Андрей Бретон — поэт и критик, Луи Арагон — поэт и прозаик, Поль Элюар, поэт, Жан Барон и др.

Интересно, что эта, думаю, предреволюционная группа начинает работу с поэзии и с манифестов, повторяя этим древнюю историю лефов.

Большой вечер был организован советскими студентами во Франции. Было в кафе «Вольтер». В углу стол, направо и налево длинные комнаты. Если будет драка, придется сразу «кор-а-кор», стоим ноздря к ноздре. Странно смотреть на потусторонние, забытые с времен «Бродячих собак» лица. Насколько, например, противен хотя бы один Георгий Иванов со своим моноклем. Набалдашник в челке. Сна-

чала такие Ивановы свистели. Пришлось перекрывать голосом. Стихли. Во Франции к этому не привыкли. Полицейские, в большом количестве стоявшие под окнами, радовались — сочувствовали. И даже вслух завидовали: «Эх, нам бы такой голос».

Приблизительно такой же отзыв был помещен и в парижских «Последних новостях».

Было около 1200 человек.

Берлин. Чай, устроенный обществом советско-германского сближения.

Прекрасное вступительное слово сказал Гильбо (вместо заболевшего т. Бехера).

Были члены общества: ученые, беллетристы, режиссеры, товарищи из «Ротэ Фанэ»; как говорит товарищ Каменева, «весь стол был усеян крупными учеными». Поэт был только один — говорят (Роган говорил), в Германии совестятся писать стихи — глупое занятие. Поэт довольно престарелый. Подарил подписанную книгу. Из любезности открыл первое попавшееся стихотворение — и отступил в ужасе. Первая строчка, попавшаяся в глаза, была: «Птички поют» и т. д. в этом роде.

Положил книгу под чайную скатерть: когда буду еще в Берлине — возьму.

Отвел душу в клубе торгпредства и полпредства «Красная звезда». Были только свои. Товарищей 800.

В Варшаве на вокзале встретил чиновник министерства иностранных дел и писатели «Блока» (левое объединение).

На другой день начались вопли газет.

— Милюкову нельзя — Маяковскому можно.

— Вместо Милюкова — Маяковский и т. д.

Оказывается, Милюкову, путешествующему с лекциями по Латвии, Литве и Эстонии, в визе в Польшу отказали. Занятно.

Я попал в Варшаву в разгар политической борьбы: выборы.

Список коммунистов аннулирован.

Направо от нашего полпредства — полицейский участок. Налево — клуб монархистов. К монархистам на автомобилях подъезжают пепеэсовцы. Поют и переругиваются.

Мысль о публичном выступлении пришлось оставить. Помещение было снято. Но чтение стихов могло сопровождаться столкновением комсомольцев с фашистами. Пока это ни к чему.

Ограничился свиданиями и разговорами с писателями разных группировок, пригласивших меня в Варшаву.

С первыми — с «Дзвигней». «Дзвигня» — рычаг. Имя польского левого журнала.

Это самое близкое к нам.

Во втором номере — вижу переведены и перепечатаны письма Родченко, так великолепно снижающие Париж. Хвалить Париж — правительственное дело. Он им займы дает. (Чего это Лувр Полонскому втемяшился — Полонскому с него даже займа нет!) Бороться против иностранной мертвой классики за молодую живую польскую литературу и культуру, левое и революционное — одно из дел «Дзвигни».

Интереснейшие здесь: поэт Броневский, только что выпустивший новую книгу стихов «Над городом». Интересно его стихотворение о том, что «сыщик ходит между нами». Когда оно читалось в рабочем собрании, какие-то молодые люди сконфуженно вышли.

Поэт и работник театра Вандурский. Он один на триста тысяч лодзинских рабочих. Он ведет свою работу, несмотря на запрещения спектаклей, разгромы декораций и т. д. Одно время он начинал каждое действие прологом из моей «Мистерии-буфф».

Критик Ставер.

Художница Жарновер — автор обложки «Дзвигни», и др.

Следующая встреча — с большим объединением разных левых и левствующих, главным образом «Блока» (не Александра).

Первыми вижу Тувима и Слонимского. Оба поэты, писатели и, кстати, переводчики моих стихов.

Тувим, очевидно, очень способный, беспокоящийся, волнующийся, что его не так поймут, писавший, может быть и сейчас желающий писать, настоящие вещи борьбы, но, очевидно, здорово прибранный к рукам польским официальным вкусом. Сейчас выступает с чтениями стихов, пишет для театров и кабаре.

Слонимский спокойный, самодовольный. Я благодарю его за перевод «Левого марша». Слонимский спрашивает: «И за ответ тоже?» Ответ его вроде шенгелевского совета (удивительно, наши проплеванные эстеты с иностранными беленькими как-то случайно солидаризируются) — вместо «левой, левой, левой» он предлагает «вверх, вверх, вверх».

Говорю: «За «вверх» пускай вас в Польше хвалят».

Я не перечисляю друзей из «Дзвигни». Кроме них: Захорская — критик, Пронашко — художник-экспрессионер, Рутковский — художник, Стэрн — поэт, Ват — беллетрист и переводчик, и др.

Читаю стихи. При упоминании в стихе «Письмо Горькому» имени Феликса Эдмундовича вежливо спрашивают фамилию и, узнав,— умолкают совсем.

Последняя встреча — с «Пен-клубом». Это разветвление всеевропейского «Клуба пера», объединяющее, как всегда, маститых.

Я был приглашен. Я был почти их гостем.

Утром пришел ко мне Гетель — председатель клуба.

Человек простой, умный и смотрящий в корень. Вопросы только о заработках, о профессиональной защите советского писателя, о возможных формах связи. Гетель увел меня на официальный завтрак с узким правлением — маститых этак шесть-семь.

Разговор вертелся вокруг способов получения авторских гонораров за переводимые Советским Союзом, хотя бы и с кроющими примечаниями, вещи. Малость писателей завтракающих при большом количестве членов объясняется, должно быть, дороговизной завтраков и боязнью, как бы из-за меня чего не вышло, а им чего не попало.

Общие выводы.

По отношению к нам писатели делятся на три группы: обосновавшиеся и признанные своей буржуазной страной, которые и не оборачиваются на наше имя, или вполне хладнокровны, или клевещут. Центр — это те, степень сочувствия которых измеряется шансами на литературную конвенцию и связанною с ней возможностью получить за переводы. Последние, это первые для нас,— это рабочие писатели и

лефы всех стран, связь которых с нами — это связь разных отрядов одной и той же армии — атакующей старье, разные отряды одного революционного рабочего человечества.

1927

РОЖДЕННЫЕ СТОЛИЦЫ

Тот, кто никогда не был в так называемой «провинции», плохо сейчас себе эту провинцию представляет.

Тот, кто был в этой провинции до революции,— не представляет ее совсем.

Прежде всего, самое название «провинция» дико устарело. Архаический язык еще склонен называть провинцией даже такие города, как Минск, Казань, Симферополь, а эти города, волей революции ставшие столицами, растут, строятся, а главное, дышат самостоятельной культурой своей освобожденной страны.

Наши дни — начало культурной революции — постоянно отмечают рост интересов рабочей массы к литературе.

Мне, по моей разъездной специальности чтеца стихов и лектора литературы, нагляднее и виднее этот рост.

За последние два месяца я выступал около 40 раз по разным городам Союза.

Первое впечатление — аудитория круто изменилась. Раньше редкий город мог бы выдержать более, чем один литературный вечер. И аудитория — прежде густые, потом битые сливки города. Расходились задолго до окончания, чтобы не обменяли их ботики и шубы. Расстанешься после вечера и больше никогда и никого не видишь, разве что у зубного врача на приеме.

Сейчас любой платный вечер, рассчитанный на парурублевые билеты, неизменно горит. Тем не менее барьеры поломаны и стекла выбиты — это идут по два, по три на каждый входной и галерочный билет. Неизменная фраза перед началом каждого чтения: «Прошу товарищей галерочников слезть в партер!»

Настоящая аудитория и настоящее чтение начинается только на другой день.

Так, в Баку, после вечера в бывшем особняке бывшего миллионера, теперь Дворце тюркской культуры, звонки — «отношения».

— Товарищ Маяковский, ждем тебя в доках!

— Товарищ Маяковский, красноармейцы и комсостав такой-то и такой-то дивизии ждут тебя в Доме Красной Армии!

— Студенты не могут думать, что ты уедешь, не побывав у них...— и т. д., и т. д.

Зато и слушатель встречается по-другому.

Грузчик в Одессе, свалив на пароход чьи-то чемоданы, здоровается со мной без всякого обмена фамилиями и, вместо: «Как поживаете?» — валит: «Скажи Госиздату, чтобы Ленина твоего дешевле издал».

Красноармеец из уличного патруля (3 года назад в Тифлисе) сам удостоверяет мою поэтическую личность.

За один день читал (за один, но не один) от гудка до гудка, в обеденный перерыв, прямо с токарного станка, на заводе Шмидта; от пяти до семи — красноармейцам и матросам в только что строенном, прекрасном, но холодном, нетопленном Доме Красной Армии; от девяти до часу — в университете,— это Баку. Еще бы, он столичнится на моих глазах.

Я помню дореволюционный Баку. Узкая дворцовая прибрежная полоса, за ней грязь Черного и Белого города, за ней — тройная грязь промыслов, с архаической фонтанной и желоночной добычей нефти. Где жили эти добыватели — аллах ведает, а если и жили где, то не долго.

Пыльно, безлисто.

Культура — «интернациональная».

Язык — среднерусский: «беру манташевские, даю манташевские!»

Запросы простые — заплатить копейку, вышибить рупь.

А тюркский язык — к чему он? Манташев и без него в Париже обойдется, а манташевский рабочий читать все равно не умеет.

Я видел Баку 24-го года.

Свобода наций бурно выплеснулась на каждый дом тюркским алфавитом вывесок.

С неба непрерывный дождь, с боков непролазная грязь (она течет с боков горок, делая улицы непроходимыми). С моря — непродуваемый, непродыхаемый норд-ост.

Каждый день моего недельного визита, пробираясь с кем-нибудь или к кому-нибудь из бакинцев, я слушал бесконечные планы, проекты.

Азцик. Тов. Агамали-Оглы говорит: «Тюркский алфавит — уже препятствие нашей культуре, мы переведем его на европейский, латинский».

Азнефть. Тов. Киферис говорит: «Желонки, фонтаны уже препятствие для нефтепромышленности. Мы переведем ее, выравняем на Америку, на групповой привод».

Азпролеты. Поэт говорит: экзотика, чадры, «синь тюркская» и прочие восточные сладости, вывозимые отсюда Есениным,— уже препятствие для нашей культуры,— мы должны ориентировать ее на рабочего, на индустрию.

После годовщины десятилетия я опять объехал Баку.

Часов в 6 утра протираю глаза. И от утра, и от необычайности зрелища. Навстречу прогромыхал электропоезд. Огромнейшие, чистейшие вагоны поднимали к проводам па̀ры стальных иксов. На таких иксах вели поезда электровозы по тоннелям под Нью-Йорком. В двадцать четвертом я трясся здесь в чем-то теплушечном, обдаваемый копотью. Тогда дорога шла через песок и пустырь, сейчас — через европейские коттеджи, в садиках и цветниках.

Въезжаю в Баку.

В первый раз в жизни читаю тюркские слова вывесок латинским шрифтом.

Этот шрифт — культурнейшая революция,— это сближены пониманием начертания — четверти человечества.

Хожу. На пригорке сад. Лестница белого камня. Было кладбище. Велели родственников перенести. Теперь разрастается парк и сад, а лестница из невзятых памятников.

Вечером читаю в Доме тюркской культуры. До начала меня ведут в просторный зал читальни. Тов. Юрин, талантливый поэт из Бакинской ассоциации пролетписателей, знакомит с тюркскими, уже большими и знаменитыми (4 года!) писателями.

На столе развернуты журналы — толстый лит-политический — полутюркский, полулатинский алфавит. Тоньше — пионерский.

Это уже не сколок с московской культуры. Разница не количественная, а качественная. Это столичная культура — экономического, политического и культурного центра Азербайджана.

Сходства культуры — это не насилие сотни миллионов над десятком,— это общность идей одного трудового человечества, на разных языках строящего одну коммунистическую культуру.

На другой день я сорок минут мчал трамваем через новенький город в клуб Шаумяна — рабочие-подростки слушали стихи, не шелохнувшись, а потом — засыпали снегом записок.

— Что такое рифма?

— Как выучиться стать поэтом?.. и т. д.

Через три часа заторопились, но и торопливость особенная.

— Кончай, товарищ, а то завтра, в 7 утра трубы таскать, а уходить не хочется.

Я взялся писать и о Минске, и о Харькове, и о Краснодаре, и о Казани, но не могу оторваться на коротком расстоянии фельетона и от одного Баку.

Поэты и писатели, где живая хроника городов и людей?

Жизнь интереснее и сложнее поэтических и беллетристических книг о ней.

Я видел, как хохотали рабочие Баку над Яковом Шведовым, повертевшимся по Баку в качестве метра и потом тиснувшего в Москве стих (проснитесь, тов. редактор! У вас есть Б. С. Э.?) о том, что баржи наливаются нефтью прямо в Баку и прямо прут на Босфор, и даже без крохотной пересадки. А в хвост к этому стиху пристегнул от стиха бакинского поэта Юрина и без всяких кавычек.

Это пишет «знаменитый», бывший в Баку, а что пишут не знаменитые и не бывшие?

Провинция слопает!— так, что ли?

Фактов я еще наприведу в других очерках, но выводы и сейчас ясны.

Провинций много и сейчас, но они не то и не там, где были раньше. Провинция — думать, что для стихов подойдет и Каспийское море, впадающее в Черное.

Провинция — думать, что стихи величественнее газетной заметки, хотя их, как видите, можно высасывать из пальца (даже из чужого!), и никто за это из поэтов не выгоняет.

По Советской республике накопились новые факты, и ловить их в записную книжку интереснее, чем размусоливать потрепанный любовный фактик в целый роман или рассказ. Интереснее и читателю и писателю. Если писатель продолжит по-старому, его перерастет и массовый читатель, как уже перерос многие категории культработников.

Союз Советских Республик — это не политическая формула. Это жизнь тела территорий и наций со светлыми и особенными головами столиц.

1928

ПИСЬМО РАВИЧА И РАВИЧУ

Уважаемый т. Маяковский!

Решаюсь вам написать письмо. В этом рассказе я описываю действительную жизнь мою и моих товарищей. Разница в том, что здесь я описываю человека уже более взрослого — лет тридцати, а мне 20. Кроме этого, все описываемое правда. Посылаю вам потому, что свой первый стих написал, прочитавши ваши книги. Сам я не из Ленинграда.

Я не ручаюсь, что посылаемый мною рассказ может быть напечатан в вашем журнале, но прошу вас мне лично написать письмо об ошибках, за что буду очень благодарен.

С приветом *Л. Равич.*

БЕЗРАБОТНЫЙ

(Из дневника безработного)

Голос толпы, как труба...
Длинная, длинная очередь.
И тянутся к бирже труда
Хмурые чернорабочие.

Замызганный каменный пол.
Скамейки. На них вповалку
Женский и мужеский пол,
В шапках и полушалках.

Застыли люди иль спят?
Какая коса их скосила?..
Черна от бровей до пят,
Черна рабочая сила...

С лопатами ждут копачи,
Глядят лесорубы хмуро.
И в тесном углу молчит
Белая кисть штукатура.

А где-то сопит весна,
И воздух гнилой топорщится...
Встает от пьяного сна
Веселая Фенька уборщица.

И Фенька тащит меня,
Рыгая капустой и водкой...
Но вдруг толпа загудела, звеня,
У грязной перегородки.

Тре-бо-ва-ние пришло...
Сто человек на работу.
И стало как будто светло,
И жизнь стала в охоту...

Толпа зашумела, как дуб,
И выросли руки, как сучья,
На плотника лез лесоруб,
Копальщики перли, как тучи.

И карточки зрели в руках,
И ширился гул безработных...
Волна волновалась, пока
Не набрали полную сотню.

В счастливцах вспыхнул огонь,
В глазах наливалась настойка,
Сила сочилась в ладонь,
Ушли они стадом на стройку.

А где-то глухие часы
На башне высокой завыли.
Все ушли, как голодные псы,
И биржу труда закрыли.

Улица так и гудит.
А вечер над крышами гордый.
Мы с Фенькой пошли бродить
От нечего делать по городу.

В карманах у нас ни боба.
Ей шамать охота с похмелья.
А там на панелях гульба —
Растратчикам пир и веселье...

Водят дамы собак на цепке,
И собаки, как дамы, толсты,
И парень в новенькой кепке
Покупает девчонке цветы.

А Фенька моя пьяна...
Я чую, что девка тает.
Для других пахнет весна,
А для нас она воняет.

Между прочим, подходит ночь,
На руке моей виснет Фенька,
Ей от голода стало невмочь,—
Мы присели на камень ступеньки.

Эх, пошамать бы рыбы теперь!
Аж во рту стало нудно и сухо.
И ворчит, как дремучий зверь,
Мое неуемное брюхо.

Эх, на поясе сколько дыр
Я сегодня гвоздем продырявил!
Над бульваром вечерний дым —
Там поют больные лярвы.

Закусила Фенька губу.
Отодвинулась. Стало ей тесно.
И зовет ее на гульбу
Отдаленная пьяная песня.

Я за нею в потемки пошел,
Проводил ее до бульвара.
Будто просо в дырявый мешок,
В нем насыпаны пьяные шмары.

Покупают их мясо за деньги
Люди, гнилые, как пни.
И голодная добрая Фенька
Потеряет хорошие дни...

Я ушел в темноту бездорожья,
Видел Фенькины угли-глаза.
Я видал, какой-то прохожий
Ее грубо за руку взял.

И такая жальба за подругу,
Ее глаз мне стало жаль.
Я за пазуху сунул руку,
Но не нашел ножа.

Давеча продал я ножик —
Хлеба купил, папирос...
Оглянулся... пропал прохожий
И Феньку с собою увез.

Я долго по улицам шлялся,
Горела моя голова.
Запела цыганским вальсом
И слюни пускала Нева...

А где-то гремящие трубы
Запели на сто голосов,
Как будто вошли лесорубы
В чубатые чащи лесов.

А в тумане пегом и диком,
Где глохнет ветровый свист,
Стоит Петька Великий,
Безработный кавалерист.

И дремлют заржавленной болью
Оскаленные стены дворца...
. . . .
Неужели те годы уплыли
И растаяли песни свинца?

Да... Теперь мне, пожалуй, за тридцать.
Чуб мой стал понемногу седым,
Но тогда было радостно биться
Даже самым простым рядовым.

Революции дал я немного.
Но гореть за нее хорошо.
С военкомом одной дорогой
Я в шинели растрепанной шел.

И в холодные дымные ночи,
Когда песня сердцу — сестра,
Я в отряде — простой наводчик —
С пулеметом стоял у костра.

Мне мерещится шум барабана
В духоте ночлежных ночей.
Я люблю, когда старая рана
В непогоду болит на плече.

Вспоминаю былое горение.
Эти ночи ко мне не придут...
Эх, добряга ты, ветер весенний,
Мне от голода нынче капут.

Мне придется издохнуть с голоду,
Дорогая красотка-весна.
Ишь как лопает звезды-желуди
Рябая свинья-луна.

За Невою рассветом кроются
Сытые небеса...
На углу домина строится —
И такие на диво леса!

Размахнулось руками строение,
А стена высока и нова.
Это началась стройка весенняя —
Значит, рано еще унывать.

Эй ты, сердце, до жизни охочее,
Веселее и жарче стучи!..
Скоро утро —
Придут рабочие.
Попрошусь таскать
Кирпичи...

Л. Равич (1928)

Дорогой т. Равич.

Я отвечаю Вам в журнале, думая, что замечания, высказанные относительно Вашего рассказа в стихах, будут полезны и другим поэтам, начинающим работу над словом.

Я смотрел Ваш стих несколько раз и читал его многим понимающим в словах товарищам.

Выводы такие: Вы очень способны к деланию стихов (если это действительно «первое» и если описываемое действительно «правда»).

Хорошо, по-лефовски:

1. Все образы произведены обдуманно от двух главных тем — «безработица» и «голод».

Эх, на поясе сколько дыр
Я сегодня гвоздем продырявил!..

Ишь как лопает звезды-желуди
Рябая свинья-луна...

Стоит Петька Великий,
Безработный кавалерист...

Это лучше бесцельного имажинизма Есенина.

«Безработный» применительно к Петру Великому — и не обидно и не грубо, а вместе с тем снижает всю Петрову, всю царственную величавость.

2. Прямое, не заталмуженное предыдущими поэтами, отношение к шаблоннейшим явлениям —

Для других пахнет весна,
А для нас она воняет.

3. Сделанность, слаженность слов, аллитерация, сама явившаяся в результате долгого обдумывания наиболее выразительных для данного положения букв и слов —

Черна от бровей до пят
Чернорабочая сила.

Копальщики перли, как тучи.
И карточки зрели в руках.

4. И хорошо, что тоска, пронесенная через безработицу, разрешена по-двадцатилетнему и бодрому —

Скоро утро —
Придут рабочие.
Попрошусь таскать
Кирпичи.

Плохо, по старинке:

1. Рядом с точными определениями расставлены и неопределенно декадентские —

А где-то глухие часы...
А где-то сопит весна...

Где? Дайте точный адрес: на углу Литейного и Пантелеймоновской?

2. Отдельные расхлябанные, истрепанные поэтические образишки —

...глухие часы
на башне высокой завыли...
Я ушел в темноту бездорожья.

3. Скованность речи. Заранее предубеждены, считая, что поэзия — это четверостишия с чередующимися рифмами. Выучите строчки ходить по-разному. Если не сумеете — перебейте строчкам ноги.

4. «Правда», описанная в стихе, несколько сомнительна и относительна. Скорей это «правдивость» художественного рассказа. Иначе — похожее на правду — вранье. В «правде» должно быть еще больше документальности. Если это все же совершенная «правда», просим и Феньку описать свою жизнь и продолжение Вашей поэтической ночи.

5. Темы «голод», «безработица»: взяты чересчур поэтически, описанием переживаний. К сожалению, эти темы в жизни шире, и только полный их охват в стихе даст настоящее, нужное, движущее писание, работу. Больше тенденциозности. Оживите сдохшую поэзию темами и словами публицистики. Ноющие слова и у Вас сильнее и описательных и радостных. Ноющее делать легко,— оно щиплет сердце не выделкой слов, а связанными со стихом посторонними параллельными ноющими воспоминаниями. Одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов я приделал такой райский хвостик:

Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
　　　　　　　　что ж?!
По родной стране
　　　　　　　　пройду стороной,
как проходит
　　　　　　косой дождь.

Несмотря на всю романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал.

Этими девятью замечаниями не исчерпывается все, что можно и надо сказать о стихе. Дальнейшие выводы делайте сами.

Нам стихов больше не шлите.

Врабатывайтесь в газету.

Гонорар высылаем маленький.

Но такой же маленький получают и все сотрудники «Нового Лефа».

Жму руку.

1928

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДОМЕ КОМСОМОЛА КРАСНОЙ ПРЕСНИ НА ВЕЧЕРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

25 марта 1930 года

Товарищ председатель очень пышно охарактеризовал, что я буду делать доклад, да еще о своем творчестве. Я и доклада делать не буду и не знаю, можно ли назвать так высокопарно творчеством то, что я сделал. Не в этом совершенно дело, товарищи. Двадцать лет — это очень легко юбилей отпраздновать, собрать книжки, избрать здесь бородатый президиум, пяти — десяти людям сказать о своих заслугах, попросить хороших знакомых, чтобы они больше не ругались в газетах и написали сочувствующие статьи, и, глядишь, что-нибудь навернется с этого дела. То ли признают тебя заслуженным, то ли еще какая-нибудь, может быть, даже более интересная для писательского сердца вещь. Дело не в этом, товарищи, а в том, что старый чтец, старый слушатель, который был в салонах (преимущественно барышни слушали да молодые люди), этот чтец раз навсегда умер, и только рабочая аудитория, только пролетарско-крестьянские массы, те, что сейчас строят новую жизнь нашу, те, кто строит социализм и хочет распространить его на весь мир, только они должны стать действительными чтецами, и поэтом этих людей должен быть я.

Тут две трудности. Очень легко написать стихи такие, чтобы вас не раздражать: «Марш, марш вперед, рабочий народ!» «Товарищ комсомол, построй огромный мол!» «Красное знамя, раздувай пламя» и прочие вещи. Это очень понравится и на другой день забудется. Всю свою жизнь я работал не над тем, чтобы красивые вещицы делать и ласкать человеческое ухо, а как-то у меня все устраивалось так, что я неприятности всем доставлял. Основная работа — это ругня, издевательство над тем, что мне кажется неправильным, с чем надо бороться. И двадцать лет моей литературной работы — это, главным образом, выражаясь просто, такой литературный мордобой, не в буквальном смысле слова, а в самом хорошем! — то есть каждую минуту приходилось отстаивать те или иные революционные литературные позиции, бороться за них и бороться с той косностью, которая встречается в нашей тринадцатилетней республике.

Я помню, двадцать лет тому назад мы поднимали разговор о новой красоте. Мы говорили, что мраморная красота музеев, все эти Венеры Милосские с обрубленными руками, вся эта классическая греческая красота не может удовлетворить те миллионы, которые входят в шумящем городе в новую жизнь и в будущем вступят на путь революции. Вот сегодня председатель собрания т. Кольцова во время доклада предложила мне конфетку, и там написано «Моссельпром», а сверху та же самая Венера. Значит, против чего ты борешься и боролся двадцать лет, оно уже сегодня входит в жизнь. Вот эта самая искривленная старая красота даже через конфетную бумажку распространяется у нас в массах, опять отравляя наш мозг и отравляя наше понятие об искусстве.

Мне вот тут дали записку: «Тов. Маяковский, сделай упор в своем докладе не на комментарий к своим стихотворениям, а на непосредственное чтение их». Я сегодня пришел к вам совершенно больной, я не знаю, что делается с моим горлом, может быть, мне придется надолго перестать читать. Может быть, сегодня один из последних вечеров, но все-таки я думаю, что было бы правильнее прочесть несколько вещей для товарищей, которые их не слышали.

Очень трудно вести ту работу, которую хочу вести я. Работу сближения рабочей аудитории с большой поэзией, с поэзией, сделанной по-настоящему, без халтуры и без сознательного принижения ее значения.

Здесь две трудности. Одна трудность такого характера, что и поэты зачастую пишут так, что их не поймешь. Я вот привожу всегда пример и люблю его приводить. Я был на юге и читал стихотворение в газете. Целиком я его не запомнил, только лишь одну строфу:

В стране советской полуденной,
Среди степей и ковылей,
Семен Михайлович Буденный
Скакал на сером кобылé.

Я очень уважаю Семена Михайловича и кобылу его, пусть его на ней скачет, и пусть она невредимым выносит его из боев. Я не удивляюсь, отчего кобыла приведена в мужском роде, так как это тоже после профессора Воронова операция мыслимая, но если по кобыле не по месту ударение сделать, то кобыла занесет, пожалуй, туда, откуда и Семен Михайлович не выберется. Таким образом, стихотворение, которое рассчитывали сделать героическим, на самом деле звучит юмористически, то есть благодаря неумелости

автора, благодаря <отсутствию> отточенности в его пере, вместо того чтобы эффект получился ударный, за Буденного, получилось смешно. Люди сидят и везде смеются над этим стихотворением. А это бывает очень часто, даже с нашими очень прославленными поэтами.

Вначале на выставке мне часто говорили, что я часто ругаю Жарова. Я приведу одну строчку из его стихотворения: «От горящей домны революции отошел великий кочегар». А на самом деле какие кочегары при домнах бывают? Не бывает их. И если отошел кочегар от домны, то нечего ему там вообще было делать. То, что поэт хотел сделать настоящим революционным образом, по существу стало ничего не значащей, пустой фразой. Значит, товарищи, с одной стороны, зачастую писатели пишут так, что или непонятно массе, или, если и понятно, то получается глупость.

Значит, нужно сделать <так>, чтобы, не уменьшая серьезности своих вещей, сделать стихотворения нужными массе, то есть когда стихотворение возьмут, положат на руку и прочтут его пять раз, <и> скажут — хотя было и трудно понять, но понявши, мы обогатили свой мозг, свое воображение, еще больше отточили свою волю к борьбе за коммунизм, в борьбе за социализм.

Второе. Зачастую наша аудитория бывает очень средней грамотности. Опять-таки мой излюбленный пример. Вот т. Шафир еще в 1923 году выпустил книжку о том, что понимает крестьянин Воронежской губернии. Как раз была сельскохозяйственная выставка, и везде говорили, что построен такой-то павильон, и вот он опрашивал крестьян, кто понимает слово «павильон». Оказалось, что никто не понимает. Наконец один поднял руку, говорит: «Я понимаю». Это, говорит, главный, который всеми повелевает,— это и есть «павильон».

Вот две основные трудности. Привычка писателя сегодняшнего дня писать тем языком, который выдуман интеллигенцией, который был разъединен от языка улицы, от языка масс, и назывался литературным языком. Тем, который замыкался узким кругом салонов и интересами салонов,— о любви, о драмах на каком-нибудь балу и т. д. и т. д. С другой стороны, все еще низкий культурный уровень, который ежедневно поднимается <у> дорвавшегося до культуры после Октябрьской революции рабочего класса, который быстро поднимается, но все же во многом еще стоит на низком уровне. Это отчасти мешает поэту общаться с

такого рода читателями. Поэт часто не находит отклика благодаря тому, что такой человек не знает, о чем идет разговор. Значит, вот эти две линии — трудность понимания и <трудность> писания так, чтобы было понятно, не снижая темы,— тем языком, на котором говорит масса. Вот это основные трудности сегодняшнего писателя. Но грош цена нашим разговорам, товарищи, если вот я сегодня отчитаюсь и поговорю с вами и связь на этом порвется. То, что я вошел в РАПП, в организацию пролетарских писателей, показывает серьезное и настойчивое мое желание перейти во многом на массовые работы. Но, конечно, здесь нельзя быть кустарем, нельзя каждому объяснять азы, нужно ввести ту или иную организованную форму постоянного общения. Вот товарищи предлагают, чтоб я читал здесь каждое свое новое произведение. Я с удовольствием принимаю это и в свою очередь говорю о своем более длительном контакте, а именно, о создании кружков, где можно было бы работать по разработке литературных вопросов, даже не в качестве учения, а просто разговоров за чаем действительно из интересующихся литературой товарищей.

Теперь от этого общего введения я на пять минут перейду к моей выставке. Для чего я ее устроил? Я ее устроил потому, что ввиду моего драчливого характера на меня столько собак вешали и в стольких грехах меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной раз мне кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтобы только ругани не слышать.

Но, конечно, я на второй день от этого пессимизма опять приободряюсь и, засучив рукава, начинаю драться, определив свое право на существование как писателя революции, для революции, не как отщепенца. То есть смысл этой выставки — показать, что писатель-революционер — не отщепенец, стишки которого записываются в книжку и лежат на полке и пропыливаются, но писатель-революционер является человеком — участником повседневной, будничной жизни <и> строительства социализма.

Эстетики меня ругают: «Вы писали такие замечательные вещи, как „Облако в штанах", и вдруг — такая вещь». Я всегда писал, что есть поэзия инженерного порядка, технически вооруженная, но есть поэзия массового порядка, являющаяся с другим вооружением, с вооружением рабочего класса. В области халтурщины я не работал, но я никогда не отказывался ни от какого стихотворения, ни на какую тему современности, начиная от стихотворения о кулаке и

кончая стихотворением о кошке и о кошачьих шкурках Госторга и т. д.

С другой стороны, я говорил и писал о непосредственном внедрении в производство. Очень часто говорят, что писатель должен войти в производство, а для этого какой-нибудь Катаев покупает за сорок копеек блокнот, идет на завод, путается там среди грохота машин, пишет всякие глупости в газете и считает, что он свой долг выполнил. А на другой день начинается, что это — не так и это — не так. Я считаю, что нужно, по крайней мере, с производственниками совместно работать, а если не это, то нужно другое участие во всей будничной работе цеха. Я понимаю <эту> работу так, чтобы выполнялся лозунг — не совать руки в машину, чтобы выполнялись мероприятия, направленные к тому, чтобы электроток не разбил рабочего, чтобы не было на лестнице гвоздей, чтобы не шевелили стремянку, чтобы не получить удара молотком. Я своим пером, своими рифмами к этому призываю, и это не менее важно, чем самые вдохновенные темы волосатых лириков.

У меня есть стихотворение про соски — замечательные соски — «готов сосать до старости лет». Против этого были возражения, а я говорю, что если до сих пор в деревне кормят грязной тряпкой ребятишек, то агитация за соски есть агитация за здоровую смену, за культуру.

Почему я должен писать о любви Мани к Пете, а не рассматривать себя как часть того государственного органа, который строит жизнь? Основная цель выставки — расширить ваше представление о работе поэта, показать, что поэт не тот, кто ходит кучерявым барашком и блеет на лирические любовные темы, но поэт тот, кто в нашей обостренной классовой борьбе отдает свое перо в арсенал вооружения пролетариата, который не гнушается никакой черной работой, никакой темы о революции, о строительстве народного хозяйства и пишет агитки по любому хозяйственному вопросу.

Выставка большая. Я сказал, что ничего не собирал. Права Кольцова, что мы здесь немного собрали, поэтому она просит пополнить выставку материалом, который есть. Это правильно. Взять, например, <материал> по такому делу, как театр,— у меня на этой выставке не выставлено ни одного макета, в то время как у меня было около десяти центральных постановок «Мистерии-буфф», <написанной> к первой годовщине Октябрьской революции. Это — та пьеса, с которой начался театральный Октябрь.

Затем была сатирическая поэзия в первом театре Сатиры, первые антирелигиозные агитки относятся к тому времени. Затем — постановка «Клопа», «Бани». Вы видите, что этот материал <эта выставка?> не представляет даже и десятой части того материала, который можно было бы выставить<...>

Товарищи, вторая <моя> задача — это показать количество работы. Для чего мне это нужно? Чтобы показать, что не то что восьмичасовой рабочий день, а шестнадцати— восемнадцатичасовой рабочий день характерен для поэта, перед которым стоят огромные задачи, стоящие сейчас перед Республикой. Показать, что нам отдыхать некогда, но нужно изо дня в день не покладая рук работать пером. Я вспоминаю «окно РОСТА», это огромное полотнище, чуть не в четверть стены, и такое «окно» мне пришлось сделать не однажды, а около 400 диаграмм, около пятнадцати плакатов, значит, всего около 5000 плакатов. Как мы делали? Я помню, что мы ложились в два-три часа ночи, клали под голову вместо подушки полено,— подушка была, но мы боялись проспать. При такой только напряженной работе должен заявить себя поэт сейчас перед рабочей аудиторией<...>

Эта выставка вся нуждается в очень больших и серьезных комментариях. Товарищи наши из бригады стараются эту выставку продвинуть, за что я им бесконечно благодарен, так как я считаю, что это совершенно правильно. Вот сегодня я прочел газету или журнал, кажется, «Рабочий и искусство», там написано, что в Ленинграде состоялся 45-летний юбилей гримера Большого театра. Так вот на юбилее гримера, на 45-летии его полезной деятельности приклеивания усов и бород, выступал сам председатель Союза Рабиса т. Боярский и, отмечая его полезную деятельность, сообщил, что его полезная деятельность будет ознаменована напечатанием брошюры. А вот мне каталога даже не удалось напечатать, потому что приходится каждую минуту доказывать, что деятельность поэта и работа поэта — необходимая работа в нашем Советском Союзе.

Я сегодня отнюдь не собираюсь делать пышного доклада. Я только делаю эти небольшие вводные предложения, с тем чтобы сами собравшиеся здесь ребята высказались, или задали бы вопросы, или дали бы направление дальнейшей работе, сделали бы практические предложения и т. д., и т. д. Сам я сейчас перейду к чтению своих стихотворений<...>

Товарищи, здесь очень много записок, но вопросов сравнительно немного. Просто многие записки повторяются. Часто просьба прочесть то или иное стихотворение. А часть вопросов такого порядка, скажем, почему грубые слова употребляются<...> Вот также часто говорят, что я употребляю слово «сволочь». Я употребляю это слово потому, что оно попадается в жизни. Пока это понятие существует, до тех пор оно и в стихах будет попадаться. Я никак не могу амнистировать «сволочь» из соображений эстетического порядка, так полным словом и называю.

«Товарищ Маяковский, за что вы сидели в тюрьме?» — За принадлежность к партии, но это было давно.

«Партийный ли вы сейчас?» — Нет, я беспартийный. (Голос с места: *«Напрасно».)* Я считаю—не напрасно. (Голос с места: *«Почему?»)* Потому, что я приобрел массу привычек, которые нельзя связать с организованной работой. Может быть, это — дикий предрассудок, но я вел такую ожесточенную борьбу, настолько на меня нападали. Сегодня вы меня своим назвали поэтом, а девять лет назад издательства отказались напечатать «Мистерию-буфф» и заведующий Госиздатом сказал: «Я горжусь, что такую дрянь не печатают. Железной метлой нужно такую дрянь выметать из издательства». Вместо организованной борьбы я анархически обрушивался, потому что чувствовал, что эта линия литературы есть та линия, которая сольется с линией пролетарской литературы. Сначала пойдет линия интеллигентская, потом постепенно линия пролетарская. Здесь недооценка. На кой черт заставляют заниматься тем, чем не нужно заниматься? Но я хочу сказать, что приобретенные навыки в дореволюционные годы — они крепко сидят. Я считаю, что есть величайшие решения и постановления, которые я считаю своим правилом проводить, но не было возможности проводить организованно, так, как мне бы хотелось. Я от партии не отделяю себя, считаю обязанным выполнять все постановления этой партии, хотя не ношу партийного билета. Но думаю, что мне могут сказать: «Ну, Маяковский, поезжай сюда или туда». (Голос с места: *«Социальный заказ».)*<...>

«Не громкая ли это ваша фраза, что вы можете быть поэтом рабочей массы, так как более талантливое более понятно?» — Так глупо я не ставил вопроса, я не говорил ни — пролетарская, ни — рабочая масса. Я хочу, чтобы вы

меня понимали и чтобы я вас понимал, а там пусть ругают. «Юбилей Маяковского». Это нельзя назвать юбилеем. На Тверской это. Выставка — отчет о двадцатилетней деятельности. Я выставил, потому что хотел показать, что я сделал. Это все равно что человек, которого вычищают из органов советской власти, он сделает выставку — что же это, тоже юбилей?

«Зачем вы ездите за границу?» — Я там делаю то же, что и здесь. Там я писал стихи и выступал на собраниях, говорил о Коммунистической партии.

«Почему вы ездили?» — Я ездил потому, что:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой! *(Смех.)*

Далее в записке предложение о чтении стихов<...>

<...>Результат сегодняшней аудитории показывает, что мне нужно улучшить революционную квалификацию, но путь, на котором я стою, он правилен. Может быть, правильно говорили, что это будет победное шествие, и тогда будет празднование.

Мне нужно помочь в работе, очень хорошо. Но сегодня еще я должен доказывать, что мне нужна дополнительная площадь для работы, я серьезно доказывал и три товарища доказывали, что без дополнительной площади нельзя обойтись. На тринадцатом году революции я нахожусь под впечатлением, что мне нужно помочь в работе. Выставка — это не юбилей, а отчет о работе. Я требую помощи, а не возвеличения несуществующих заслуг.

Вот о чем мы, товарищи, говорим, а не о возвеличении каких-то несуществующих заслуг каких-то персон. Сегодня прозвучал один только критический голос. Я убежден, что в аудитории есть больше критических замечаний. Может быть, просто они не захотели торжественный день портить вливанием ложки дегтя в мед такого хорошего отношения. Я отнюдь не против самокритики. Только врать не надо. Товарищ говорит, что я прямо целиком уничтожаю всех классиков. Никогда я этим глупым делом не занимался. Даже один из оголтелых эгофутуристов Северянин писал:

Да, Пушкин мертв для современья,
Но Пушкин пушкински велик.

Я только говорю, что нет ударных на все время классиков. Изучайте их, любите в том времени, когда они работали. Но пусть они огромным своим медным задом не застила-

ют дорогу молодым поэтам, которые идут сегодня. Я это не только для себя говорю, а и для тех сотен тысяч поэтов, которые выйдут из рабочего класса. Пагубнейшая ложь была бы, если бы какому-нибудь молодому рабочему, который пишет безграмотно, а будет писать в двадцать раз лучше меня, скажут — да брось, товарищ, этим делом заниматься, ничего не выйдет, у нас этим занимается Маяковский. Если я выступаю против классиков, то отнюдь не за их уничтожение, а за изучение, за проработку их, за использование того, что есть <в них полезного?> для дела рабочего класса. Но не нужно отношение к ним безоговорочное, какое часто встречается у нас. Если пять или шесть лет тому назад вопрос о классиках стоял как безоговорочный вопрос, то сегодня совершенно иное. Вот вы сегодня, например, прочтете — была, кажется, в «Красной ниве» статья т. Покровского о классиках, где было ясно указано, что без детальной проработки классика выпускать нельзя. Взять, например, такие строчки Пушкина: «Смирись, Кавказ: идет Ермолов!» Как же на Кавказ передать такие строчки, которые восхваляли русского генерала, поработителя Грузии, во имя существования единой, неделимой царской России? Или возьмите, например, в «Мазепе» у Пушкина — где Мазепу берут за усы. Там со страшным скептицизмом <?> говорится о том, что знамя вольного народа поднимают на Петра, и где поэт шел в защиту Петра против Мазепы.

Так что, товарищи, критический голос не только не должен был вызывать у аудитории отпора, а, наоборот, должен был бы встретить большой привет со стороны аудитории, только с требованием правильно говорить о том, что критикуешь, и немножко конкретизировать вопрос. Вот, кажется, все, что можно сказать в ответ на записки и в ответ выступавшим<...>

Было бы неправильным отстранить дореволюционные вещи. Я считаю это правильным — и прочту вам что-нибудь из дореволюционных вещей. «Облако в штанах». Оно начато письмом в 1913/14 году, закончено в 1915 году и сначала называлось «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в каком случае, что это ни в коем случае меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите,

буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах». Эта книжка касалась тогдашней литературы, тогдашних писателей, тогдашней религии, и она вышла под таким заглавием. Люди почти не покупали ее, потому что главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия. Если спрашивали «Облако», у них спрашивали «в штанах»? При этом они бежали, потому что нехорошее заглавие. Я прочту вам отрывки из этой насмешки над писателями того времени. Здесь будет видно то, чем я хотел заняться и совместить лирику с тем, что от писателя требовалось. Я прочту вам отрывки. *(Читает: «Славьте меня, я великим не чета...»)*

Я прочту еще одно дореволюционное <?> стихотворение, маленькое, лирическое, про лошадь, про то, как упала лошадь на Кузнецком мосту. *(Читает.)*

Сейчас я прочту первое из написанных за время революции. Мне позвонили из бывшего гвардейского экипажа и потребовали, чтобы я приехал читать стихотворения, и вот я на извозчике написал «Левый марш». Конечно, я раньше заготовил отдельные строфы, а тут только объединил адресованные к матросам. *(Читает «Левый марш».)*<...>

Я прочту еще, самое последнее. Под заглавием «Хорошо!» — по поводу десятилетия Октябрьской революции. Мне бы хотелось, чтобы это стихотворение не потеряло своего значения и дальше.— От первых дней Октябрьской революции, от потемок к восстанию, когда звенели шпоры дореволюционной выковки <и ходили офицеры>, аксельбантами увешанные до пупов. *(Читает стихи.)*

Последняя часть — переход к стройке и радостный проход поэта и каждого гражданина Советской республики по улицам Москвы. *(Читает стихи.)*

Отрывки о Красной Армии. Сам я на войне не был; когда меня спрашивают, я шутливо отвечаю, что <и> без меня неплохо справились. Это — очень шутливый ответ, но я избегаю писать о том, чего я не видел. В последнее время развелось много таких писателей, которые пишут, что не только дрались с Деникиным, но сами на Колчака ходили и <вместе> с декабристами сражались, что они были в Севастополе, когда наступал <отступал?> Врангель...<...>

Товарищи, может быть, на этом кончим? <...> *(Аплодисменты.)*

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОЭМЫ

Облако в штанах (с. 5).— Поэма создавалась на протяжении 1914 — первой половины 1915 года и вначале называлась «Тринадцатый апостол». О причинах, заставивших его изменить название, Маяковский рассказал на вечере в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года (см. с. 729).

Впервые «Облако в штанах» было издано в сентябре 1915 года — с купюрами. Цензурные изъятия содержались во всех дореволюционных изданиях. Полностью текст поэмы был опубликован только в 1918 году. В предисловии к этому изданию Маяковский так определил идейную суть поэмы: «Долой *вашу* любовь», «долой *ваше* искусство», «долой *ваш* строй», «долой *вашу* религию»,— четыре крика четырех частей».

...химеры...— изваяния мифических чудовищ на здании собора Парижской богоматери. *...которую надо украсть!*— Знаменитая картина Леонардо да Винчи «Джоконда» в 1911 году была украдена из Лувра. *«Лузитания»* — английский пассажирский пароход, торпедированный в 1915 году германской подводной лодкой и сгоревший в море. *Заратустра* — древнеиранский пророк, основатель зороастризма. Здесь в смысле — проповедник, глашатай правды. *...Голгофы аудиторий...*— Речь идет о поездках по городам России кубофутуристов, выступления которых нередко носили скандальный характер. *«Пейте какао Ван-Гутена!»*— Имеется в виду реальный факт: приговоренный к смерти согласился крикнуть (за вознаграждение семье) в момент казни: «Пейте какао Ван-Гутена!» *Галифе* Гастон (1830—1909) — французский генерал, возглавлявший расправу с парижскими коммунарами в 1871 г. *Пирует Мамаем...*— Полководцы Чингисхана нередко праздновали победу, сидя на досках, положенных на тела пленных. *Азеф* Е. Ф.— член партии эсеров, провокатор, состоявший на службе в департаменте полиции. *...предпочитают Варавву?* — По евангельской легенде, иерусалимская толпа требовала помилования раз-

бойника Вараввы, осужденного в один день с Христом, и казни Христа. *Тиана* — имя женщины из одноименного стихотворения И. Северянина. *Тысячу раз опляшет Иродиадой...* — По евангельскому преданию, Саломея, дочь Иродиады, танцевала возле блюда с головой казненного Иоанна Крестителя. *Ки-ка-пу* — модный в то время эстрадный танец.

Флейта-позвоночник (с. 25).— Поэма написана осенью 1915 года и вначале называлась «Стихи ей». Отдельной книгой вышла в феврале 1916 года. Все дореволюционные издания содержали цензурные изъятия. Купюры были восстановлены только в сборнике «Все сочиненное Владимиром Маяковским» (т. 1—2, 1919), где поэма была напечатана под названием «Флейта позвоночника».

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель, в произведениях которого много причудливой фантастики. *Стрелка, Сокольники* — в те годы места прогулок в пригородах Петрограда и Москвы. *Святая Елена* — остров, на который был сослан Наполеон. *Бялик* Х. Н. (1873—1934) — поэт, писавший на иврите и идише, многие произведения которого посвящены судьбам еврейского народа. *Альберт* (1875—1934) — король Бельгии, которая в первую мировую войну была захвачена немцами.

Война и мир (с. 34).— Поэма, работу над которой Маяковский начал в конце 1915 года, писалась на протяжении 1916 года. До революции издавалась частями. Отдельным изданием вышла в ноябре 1917 года. По старой «орфографии» слово «Мир» — в заглавии поэмы — писалось через «і» и означало таким образом «Вселенная».

Мертвые сраму не имут — слова, которые, по свидетельству летописца, произнес князь Святослав перед битвой с греками в 970 году. *Лиле* — Л. Ю. Брик (1891—1978), близкий друг Маяковского. *Ной* — по преданию, один из библейских патриархов, над которым, когда он был пьян, насмеялся его сын Хам. *Митральеза* — скорострельная пушка. *Разящий Георгий* — по христианскому верованию, святой Георгий Победоносец — олицетворение воинской доблести. Изображался обычно сидящим на коне и поражающим пикой дракона. *Жоффр* Жозеф (1852—1931) — маршал, главнокомандующий французской армией в первую мировую войну. В 1914 году на реке Марне его войска нанесли поражение немецкой армии, наступавшей на Париж. *Пентаграмма* — звездообразная фигура, образованная фигурами правильного пятиугольника. *Пегу* Адольф (1889—1915) — французский летчик, погибший в первую мировую войну. *Ваганьково* — кладбище в Москве. *За ны* — старославянское «за нас». *Понтий*

Пилат — римский наместник в Иудее в I в. нашей эры, который, по преданию, утвердил смертный приговор Христу. *Тальони* Мария — знаменитая итальянская балерина первой половины XIX века. *Лазарь* — по евангельскому преданию, был воскрешен Христом.

Человек (с. 63).— Точных данных об истории создания поэмы мало. Большинство исследователей считают, что она написана в период с конца 1916 до середины 1917 года. Отдельным изданием вышла в феврале 1918 года.

В небе моего Вифлеема...— Вифлеем, по евангельскому преданию, место, где родился Христос. Как гласит легенда, засиявшая над Вифлеемом звезда указала волхвам (восточным мудрецам) путь к пещере, где лежал новорожденный. *Брэм* (Брем) А. Э. (1829—1884) — знаменитый немецкий зоолог XIX века, автор труда «Жизнь животных». *Локк* Уильям Джон (1863—1930) — английский писатель, автор развлекательных романов. *Фидий* — древнегреческий скульптор. *Абрам Васильевич* — Евнин, знакомый Маяковского. *...из ниши головы кобыльей вылеп...*— В Петрограде в нишах одного из домов по ул. Жуковского были горельефы — лошадиные головы.

150 000 000 (с. 89).— Поэма создавалась на протяжении 1919 — начала 1920 года. Отдельным изданием вышла в мае 1921 года. В поэме в условно-аллегорической форме изображено столкновение революционной России с оплотом мирового капитализма — США. Притом, что в «150 000 000» ярко воспет подвиг революционного народа, на ее содержании и поэтике сказалось влияние футуризма. Эти футуристические наслоения (нигилистическое отношение автора к прошлому, усложненность изобразительных средств и др.) и определили отрицательное отношение В. И. Ленина к поэме, который в записке от 6 мая 1921 года упрекал А. В. Луначарского за содействие в издании этого произведения.

Керенки (разг.) — деньги, выпущенные правительством Керенского. *Вильсон Вудро* (1856—1924) — президент США в 1913—1921 годах, один из вдохновителей вооруженной интервенции против Советской России. *Ллойд-Джордж* Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Англии в 1916—1922 годах. *...башней Сухаревой.*— Сухарева башня находилась на Сухаревской (ныне Колхозной) площади в Москве. *Аделина Патти* — знаменитая итальянская певица второй половины XIX века. *...из северной Трои начиненного бунтом человека-коня!*— Как рассказывается в «Илиаде» Гомера, после многих лет безуспешной осады Трои греки взяли город хитростью. Они построили громадного деревянного коня, внутри которого спрятались воины, и поставили его у ворот Трои. Ничего не подозревавшие троянцы втащили коня в город, ночью греческие воины вылезли из него и овладели Троей.

Люблю (с. 131).— Поэма создавалась в период с ноября 1921 по февраль 1922 года. Первоначально называлась «Любовь». Впервые отдельным изданием вышла в марте 1922 года.

Мюллер И. П.— автор популярного в те годы руководства по гимнастике. *«Три листика»* — карточная игра. *Бутырки* — Бутырская тюрьма в Москве, где Маяковский в августе 1909 — январе 1910 года находился в заключении за подпольную революционную работу. *Иловайский* Д. И. (1832—1920) — автор учебников истории, по которым велось преподавание в гимназиях России. *Крез* — царь Лидии, обладавший, по преданию, несметными богатствами.

IV Интернационал (с. 140).— В автобиографии «Я сам» в главке «22-й год» Маяковский говорит о работе над новым произведением: «Начал записывать работанный третий год «Пятый Интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет». Вначале была написана часть этого задуманного произведения, которую поэт опубликовал в журнале «Красная новь» под названием «IV Интернационал». Поскольку затем он заново стал писать поэму «Пятый Интернационал», ранее созданные им строфы приобрели значение самостоятельного произведения.

...фирмы марксовой...— имеется в виду учение К. Маркса. *Кронштадтом конь.*— Имеется в виду контрреволюционный мятеж в Кронштадте в феврале 1921 года. *Бедой Ярославля...*— Во время эсеровского мятежа в Ярославле в июле 1918 года от пожаров сгорела часть города. *Чадит мещанство* — В связи с введением в 1921 году нэпа в стране оживились мелкобуржуазные настроения. *Шатурское тысячеглазое...*— Построенная в 1919—1920 годах Шатурская электростанция — одна из первых после октября 1917 года крупных новостроек — была в те годы символом социалистического преобразования старой России. *Въезжаем в Поволжье...*— В 1920—1922 годах из-за разрухи, засухи и неурожая голодом был охвачен ряд районов страны. Особенно сильно пострадало Поволжье. *Пролеткультцы* — участники Пролеткульта, культурно-просветительской и литературно-художественной организации, возникшей в 1917 году, в деятельности которой был ряд серьезных ошибок.

Пятый Интернационал (с. 147).— О создании поэмы см. примеч. к «IV Интернационалу». Вначале Маяковский хотел озаглавить ее «Тридевятый Интернационал». Окончательное название — «Пятый Интернационал». В одном из публичных выступлений поэт назвал ее «поэмой предвидения».

Громили Василия Блаженного...— Собор Василия Блаженного в Москве в дни октябрьских боев 1917 года был поврежден снаряда-

ми. *Учебник Марго* — популярный учебник французского языка. *Гершензон* М. О. (1869—1925) — русский историк литературы и публицист, ряд его работ написан с идеалистических позиций. *Пушкино* — место в Подмосковье, где летом жил Маяковский. *Иван Великий.* — Имеется в виду колокольня в Московском Кремле. *...крыша Нирензеевая.* — Самым высоким жилым домом в Москве тех лет был дом Нирензее — десятиэтажное здание в одном из переулков центра города. *Водопьяный переулок* — в нем жила Л. Ю. Брик. *...в дарьяльском виске.* — Имеется в виду Дарьяльское ущелье Кавказского хребта. *...версальскими печатями...* — Завершивший первую мировую войну Версальский договор, подписанный державами-победительницами и побежденной Германией 28 июня 1919 года, носил империалистический грабительский характер и ставил Германию в кабальное положение. *Зуав* — солдат французских войск, комплектовавшихся из населения Алжира. *Кук* Фредерик Альберт (1865—1940), *Пири* Роберт (1856—1920) — американские полярные путешественники. *Фуэтэ* — танцевальное движение в балете. *Геркулес* — в данном случае название созвездия, по направлению к которому движется Солнечная система. *Унанимисты* — направление во французской литературе начала XX века. *Логос.* — В интерпретации философов-идеалистов — мистическое «первоначало», божественная «первооснова» всего сущего. *Коган* П. С. (1872—1932) — критик и историк литературы. Маяковский часто полемизировал с ним по вопросам искусства. *Пилсудчина.* — Пилсудский Юзеф (1867—1935) — польский политический деятель. *...мильерановский фрак...* — Мильеран Александр (1859—1943) — реакционный политический деятель Франции, в 1920—1924 годах президент страны. *Мулен-Руж* — известный кафешантан в Париже. *Пажá-пажá!!* — в смысле: пожалуйста, зазывающий призыв извозчиков и уличных торговцев. *«Рыд»* — «Рыд материый» — стихотворение поэта С. М. Третьякова. *Фош* Фердинанд (1851—1929) — французский маршал, главнокомандующий армиями Антанты в 1918—1919 годах. *Аполлон Бельведерский* — знаменитая статуя древнегреческого бога Аполлона. *Маркони* Гульельмо (1874—1937) — итальянский инженер и предприниматель. Один из создателей радио как средства связи. *Лета* — река забвения в подземном царстве (древнегреч. миф.). *Фоккер* — немецкий военный самолет фирмы Фоккер.

Про это (с. 174). — Поэма создавалась с конца декабря 1922 года по февраль 1923 года. «По личным мотивам об общем быте» — так определил поэт основную тему своего произведения. Образ лирического героя поэмы несет в себе реальные черты самого Маяковского. В поэме нашли отражение сложные, конфликтные в то время отношения Маяковского с Л. Ю. Брик. Поэт добровольно обрек себя на двухмесячное домашнее заточение, чтобы в одиночестве обду-

мать и осмыслить то, что казалось ему самым важным. «Личные мотивы» перерастают в поэме в размышления о том, как должен жить новый человек, каковы должны быть его мораль, быт, любовь. Высоко оценил поэму А. В. Луначарский, назвавший «Про это» «глубоко лирическим и революционным» произведением. Впервые поэма была опубликована в марте 1923 года в журнале «Леф», отдельным изданием вышла в июне 1923 года.

Баллада Редингской тюрьмы — написанное в тюрьме произведение Оскара Уайльда. *...две стрелки яркие омолниили телефон.*— Две перекрещивающиеся молнии — фабричная марка телефонов того времени. *Мясницкая* — улица в Москве, теперь — Кирова. По ней лежал путь от Лубянского проезда, где находилась квартира Маяковского, к Водопьяному переулку, где жила Л. Ю. Брик. *Эрфуртская* — программа Германской социал-демократической партии, принятая в 1891 году на съезде в Эрфурте. *Бальшин* Ю. Я.— сосед Маяковского. *Человек из-за 7-ми лет.*— Имеется в виду лирический герой поэмы «Человек», написанной примерно за семь лет до создания «Про это». *Пресня* — улица в Москве, где жили мать и сестры Маяковского. *600 с небольшим этих крохотных верст.*— Расстояние от Москвы до Ленинграда. «*Нечаянная радость*» — название книги стихов А. Блока. *...ангел-хранитель — жилец в галифе.*— В годы нэпа владельцы больших квартир, боясь уплотнения, стремились заполучить в квартиранты «ответственных» советских работников, многие из которых носили модные в те годы брюки галифе. *Бёклин* Арнольд (1827—1901)— швейцарский художник, автор картины «Остров мертвых». *Недвижный перевозчик... Харон.*— По древнегреческой мифологии, Харон перевозил души умерших через подземную реку в царство смерти. Он был изображен на картине Бёклина. *Аннушка — Губанова* А. Ф., домработница на квартире в Водопьяном переулке. *Разумовское.*— Петровское-Разумовское, последняя в те годы станция на пути из Ленинграда в Москву. *Николаевский* — теперь Ленинградский вокзал в Москве. *...как будто с Вербы — руками картонными.*— В «вербную неделю» в Москве устраивался базар с продажей картонных игрушек.

Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского (с. 218).— Поэма написана осенью 1923 года, впервые напечатана в журнале «Леф» (№ 4, 1923), вышедшем в начале января 1924 года.

Муций Сцевола — имя юноши, который, как гласит легенда, попал в плен и, чтобы продемонстрировать свое презрение к врагу, сжег свою правую руку. *Гракхи* — братья Тиберий и Кай, политические деятели Древнего Рима, погибшие в борьбе против крупных земле-

владельцев. *Чужак* — псевдоним журналиста Н. Ф. Насимовича. *Альфред* — автор статьи в газете «Известия», которая была направлена против «Лефа». *Эльвисты* — члены «Лиги „Время"» (сокращенно «ЛВ»), созданной в целях пропаганды научной организации труда. *Татлин* В. Е. (1885—1953) — художник-конструктивист, автор проекта «Памятника III Интернационала». *Сосновский* Л. С. — журналист, выступавший со статьями против Маяковского. *Лазарев* П. П. (1878—1942) — известный советский ученый, физик, руководивший в 1919—1926 годах работами по изучению Курской магнитной аномалии. *Меркулов.* — Речь идет о С. Д. Меркурове (1881—1952) — известном советском скульпторе. *Андреев* Н. А. (1873—1932) — известный советский скульптор. *...к Островскому назад.* — Выдвигая лозунг «Назад к Островскому», А. В. Луначарский призывал учиться у драматурга «некоторым сторонам мастерства». Маяковский не видел позитивного смысла в этом призыве, полагая, что ориентация на Островского противоречит задачам художественного новаторства. *Сакулин* П. Н. (1868—1930) — историк литературы, представитель так называемого социологического метода изучения искусства. *Собинов* Л. В. (1872—1934) — оперный артист, получивший в 1923 году звание народного артиста республики. *Южин-Сумбатов* А. И. (1857—1927) — артист и драматург, руководитель Малого театра, которому одному из первых (в 1922 году) было присвоено звание народного артиста республики. *ГИЗ* — Государственное издательство.

Владимир Ильич Ленин (с. 232). — Идея большого произведения о вожде революции возникла у Маяковского задолго до написания поэмы «Владимир Ильич Ленин». На протяжении 1920—1923 годов поэт пытался найти ключ к решению этой сложной художественной задачи. Смерть В. И. Ленина в январе 1924 года стала реальным толчком к написанию поэмы. По свидетельству очевидцев, с похорон Маяковский возвратился «потрясенный». «Он дует на онемевшие от мороза пальцы, — рассказывает в своих воспоминаниях Н. Кальма, — как-то весь кривится и молчит. Несколько дней он бродит очень хмурый, почти ни с кем не разговаривая. Потом набрасывается на книги Ленина, Крупской. Он читает о семье Ульяновых, воспоминания о детстве Ильича, он разыскивает людей, с которыми встречался и говорил, которым помогал Ленин. Во всех книгах ему хочется отыскать что-нибудь очень теплое, чтобы сразу осветило задуманную им поэму лирическим светом» (Кальма Н. Владим Владимыч. — Октябрь, 1937, № 2, с. 172). Поэма была закончена в первой половине октября 1924 года. На протяжении конца 1924 — первой половины 1925 года отдельные главы и части произведения публиковались на страницах газет и журналов. Целиком поэма впервые была опубликована в феврале 1925 года.

Бромлей и Гужон — крупные металлургические заводы в дореволюционной Москве. *Елисеев Г. Г.*— владелец гастрономических магазинов в Москве и Петербурге. *Каторз* (*фр.* quatorze) — четырнадцатый. *Тьерами растерзанные...*— Тьер Адольф (1797—1877) —глава французского правительства, жестоко подавивший восстание Парижской коммуны. *...парижской стеною...*— Имеется в виду стена парижского кладбища Пер-Лашез, у которой похоронены расстрелянные коммунары. *Коммунизма призрак по Европе рыскал...*— перефразировка начала «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса («Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма»). *...за землю и волю...*— «Земля и воля» — организация революционных народников в 70-х годах XIX века. *Володимирка* — Владимирский тракт, дорога, по которой политических ссыльных отправляли в Сибирь. *Теперь на Марсов охотится Пулково...*— Пулковская обсерватория под Ленинградом принимала участие в наблюдении за планетой Марс во время его великого противостояния в 1924 году. *Гапонщина.*— Провокатор охранки поп Гапон организовал шествие рабочих к Зимнему дворцу, расстрелянное 9 января 1905 года. *...бойней Мукденской...*— Мукден — город в Китае, где во время русско-японской войны 1905 года русские армии потерпели поражение. *...Ильич уже здесь.*— В ноябре 1905 года Ленин вернулся из-за границы в Россию, чтобы принять непосредственное участие в организации вооруженного восстания. *...царь на балкон выходил с манифестиком.*— С целью ослабить нарастание революции 17 октября 1905 года Николай II издал манифест, в котором народу были обещаны «свобода слова, собраний» и т. д. Но одновременно были приняты жесткие меры для подавления революции. *Дубасов Ф. В.*— генерал-губернатор Москвы, руководивший разгромом Декабрьского вооруженного восстания. *Богоискатели* — представители богостроительства, философско-этического течения, возникшего в России в начале XX века, смысл которого состоял в проповеди необходимости создания новой, «разумной», «пролетарской религии» без бога. *...Заскулил... Плеханов...*— После поражения Декабрьского вооруженного восстания 1905 года Г. В. Плеханов заявил, что восстания начинать не следовало; это вызвало резкую критику со стороны В. И. Ленина. *Полтава, Плевна* — места на Украине и в Болгарии, где — соответственно — в 1709 и 1877 году произошли исторические сражения, завершившиеся победой русских войск. *...приспособились Вовы...*— В годы первой мировой войны был популярен водевиль Е. Мировича «Вова приспособился». *...встал один Циммервальд.*— В Циммервальде (Швейцария) в августе (с.ст.) 1915 года состоялась международная социалистическая конференция. Принятый в острой борьбе Манифест призвал рабочих Европы решительно выступить против войны, за мир без аннексий и контрибуций. *Верден* — французская крепость, место оже-

сточенных боев в 1916—1917 годах. *Довольно! Превратим войну народов в гражданскую войну!*— Ср. слова В. И. Ленина в статье «Положение и задачи Социалистического интернационала» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 41). *Гогенцоллерны* — династия прусских королей и германских императоров. Речь идет о последнем императоре, Вильгельме II. *...Дарданельский, в девичестве Милюков...*— Милюков П. Н. (1859—1943) — лидер партии кадетов, сторонник войны «до победного конца» и захвата проливов Босфор и Дарданеллы. В дни Февральской революции пытался спасти монархию, посадив на престол брата отрекшегося Николая II — Михаила. *Премьер.*— Речь идет об А. Ф. Керенском (1881—1970), главе Временного правительства. *Савинков* Б. В. (1879—1925) — эсер, один из активных участников контрреволюционного заговора летом 1917 года. *...с Финляндского вокзала по Выборгской загрохотал броневик.*— В. И. Ленин приехал в Петроград в ночь с 3 на 4 апреля и на площади у Финляндского вокзала, стоя на броневике, произнес речь. *Сбросим эсдечества обветшавшие лохмотья.*— В статье «Задачи пролетариата в нашей революции» В. И. Ленин, предлагая заменить старое название «Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)» названием «Российская Коммунистическая партия (большевиков)», писал: «Пора сбросить грязную рубаху, пора надеть чистое белье» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 183). *Кшесинская* М. Ф. (1872—1971) — балерина. В доме, подаренном ей Николаем II, в 1917 году помещался ЦК РСДРП(б). *...На мушку Ленина! В Кресты Зиновьева!*— После разгрома июльской демонстрации Временное правительство издало приказ об аресте В. И. Ленина, а также Луначарского, Зиновьева (Г. Е. Радомысленского, 1883—1936) и ряда других большевиков. В октябре 1917 года Зиновьев вместе с Каменевым выступили против курса партии на вооруженный захват власти и выдали планы восстания врагу, что В. И. Ленин расценил как явное предательство делу революции. В 1934 году Зиновьев, как один из лидеров фракционной борьбы, был исключен из членов ВКП(б). *Кресты* — тюрьма в Петрограде. *По приказу товарища Троцкого!* — Троцкий Л. Д. (Бронштейн, 1879—1940) — до 1917 года возглавлял центристское течение в РСДРП. На VI съезде РСДРП(б) был принят в большевистскую партию и избран в состав руководящих органов. В октябре 1917 года входил в Военно-революционный комитет при Петроградском Совете, занимавшийся непосредственным руководством вооруженным восстанием. В 1927 году Троцкий, как идейный вдохновитель и лидер фракционной борьбы против ленинизма, был исключен из ВКП(б). В 1929 году за активную антисоветскую деятельность был выслан из СССР. *Гучков* А. И. (1862—1936) — лидер монархической партии октябристов, один из организаторов борьбы с революцией. *Мы и кухарку каждую выучим управлять государст-*

вом! — Ср. слова Ленина в статье «Удержат ли большевики государственную власть?»: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством... Но мы... требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто *управлять* государством... в состоянии только богатые... Мы требуем, чтобы *обучение* делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно *начали* привлекать всех трудящихся, всю бедноту» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 315). *Возьмем передышку похабного Бреста...* — Ср. слова В. И. Ленина в докладе и заключительном слове на VII экстренном съезде РКП(б): «Ловите передышку, хотя бы на час, раз вам ее дали...»; «...уступить пространство фактическому победителю, чтобы выиграть время. В этом вся суть, и только в этом» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 26, 27). *...с гидрой плакаты...* — В годы гражданской войны контрреволюция часто изображалась на плакатах в виде многоголовой гидры. *Ты знаешь путь на завод Михельсона?* — 30 августа 1918 года после выступления на заводе Михельсона в Москве В. И. Ленин был тяжело ранен. *Мы двинемся во сто раз медленней...* — Маяковский использует слова В. И. Ленина, сказанные им на XI съезде партии: «...если мы капитализм побьем и смычку с крестьянской экономикой создадим... тогда рядовой крестьянин будет видеть: они мне помогают; и он тогда пойдет за нами так, что если эта поступь и будет в сто раз медленнее, зато будет в миллион раз прочнее и крепче» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 92). *...но это уже полезней проделывать...* — Ср. слова В. И. Ленина в Послесловии к первому изданию книги «Государство и революция»: «...приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 120). *Пятиэтажное здание съезда Советов.* — XI Всероссийский съезд Советов проходил с 9 по 29 января 1924 года в Москве в Большом театре. *Замрите минуту...* — 27 января в день похорон В. И. Ленина в 4 часа был дан салют, остановились предприятия, остановилось все движение. *Муралов* Н. И. (1877—1937) — в 1924 году командующий Московским военным округом. *Ленину первый партийный венок.* — Речь идет о ленинском призыве в партию.

Летающий пролетарий (с. 302). — Поэма написана в связи со второй годовщиной со дня образования Общества друзей воздушного флота (ОДВФ), организованного в 1923 году.

Десятилетие страницы всех газетин смерть начиняла. — Имеется в виду десятилетие со дня начала первой мировой войны и неослабевающий поток откликов в прессе на это переломное событие мировой истории и его последствия. *Кулидж* Калвин (1872—1933) — в те го-

ды президент США. *Ку-клус-клан* — расистская террористическая организация в США. *КУБУ* — комиссия по улучшению быта ученых. *Нарпит* — в те годы организация, ведающая сетью общественного питания. *«Ундервуд»* — распространенная марка пишущих машинок. *«Художественный»*, *«Арс»* — в те годы названия московских кинотеатров. *Ходынка* — московский аэродром, использовавшийся в те годы иногда в испытательных целях.

Хорошо! (с. 349).— Поэма написана в 1927 году — к 10-летию Великой Октябрьской социалистической революции. По свидетельству Маяковского, он еще в 1926 году начал обдумывать «огромную тему об Октябре». Создавалась поэма в период с конца 1926 по август 1927 года. Вначале она называлась «Октябрь», затем «25 октября 1917». На протяжении второй половины 1927 года в газетах и журналах публиковались отдельные главы и части поэмы. Полностью «Хорошо!» была издана в октябре 1927 года. На основе 2—8 глав поэмы была сделана театральная постановка, показанная Ленинградским Малым оперным театром в дни юбилейных торжеств.

Идейный смысл поэмы «Хорошо!», которую Маяковский считал «программной вещью»,— в возвеличивании социалистического отечества и прославлении героического подвига советского народа. Об этом очень точно сказал А. В. Луначарский: «Маяковский создал в честь Октябрьского десятилетия поэму, которую мы должны принять как великолепную фанфару в честь нашего праздника...» И еще: «Это — Октябрьская революция, отлитая в бронзу».

...присяжный поверенный.— Имеется в виду А. Ф. Керенский (см. с. 739), который по профессии был адвокатом (присяжным поверенным). *...к королю Георгу.*— Английский король Георг V был двоюродным братом Николая II. *Кускова* Е. Д. (1869—1958) — правая социал-демократка, после Октябрьской революции — активный враг Советской власти. *Милюков* — см. с. 739. *Михаил* Романов (1878—1918) — брат Николая II, в пользу которого Николай II отрекся от престола. *«Селект»* — гостиница в Петрограде, на Лиговской улице. *Кресты* — см. с. 739. *Челядь чайники бесшумно подавала.*— Под видом чая в те годы в ресторанах подавали спиртное, ибо торговля крепкими напитками официально была запрещена. *Лашевич* М. М. (1884—1928) — член Военно-революционного комитета Петроградского Совета, руководил захватом почты, телеграфа и телефонной станции. *Александра Федоровна* (1872—1918) — жена Николая II. Здесь игра слов: Керенского звали — Александр Федорович. *Троицкий* — мост через Неву в Петрограде. *Антонов*-Овсеенко В. А. (1883—1939) и *Подвойский* Н. И. (1880—1948) — члены Военно-революционного комитета Петроградского Совета, принимавшие непосредственное участие в руководстве восстанием. *Павловцы* —

солдаты Павловского пехотного полка, выступившие на стороне революции. *Куда против нас бочкаревским дурам?!*— В числе войск, защищавших Временное правительство, был Первый петроградский женский батальон, которым командовала М. В. Бочкарева. *...михайловцы или константиновцы...*— юнкера артиллерийских училищ — Михайловского и Константиновского. *Прокопович* С. Н. (1871—1955) — министр продовольствия в правительстве Керенского. Не присутствовал на последнем заседании Временного правительства из-за того, что не мог проникнуть в осажденный восставшими дворец. *Коновалов* А. И. (1875—1948) — министр торговли и промышленности в правительстве Керенского. Председательствовал на последнем заседании. *«Здравствуйте, Александр Блок...»*— Об этой встрече с Блоком Маяковский рассказывает и в статье «Умер Александр Блок» (см. с. 629). *Незнакомки, дымки севера...*— характерные для творчества Блока поэтические образы. *...по воде шагающего Христа.*— Маяковский соединил библейский миф о Христе, в котором рассказывается, как Христос прошел, как по суше, по водам Генисаретского озера, с образом Христа, являющегося во главе красногвардейского патруля в финале поэмы Блока «Двенадцать». *«Сюртэ́ женера́ль»*, *«инте́ллидженс се́рвис»*, *«дефензивы»*, *«сигуранцы»* — названия политической полиции и контрразведки во Франции, Англии, Польше и Румынии. *...голубые чехи.*— Солдаты чехословацкого корпуса, поднявшего в 1918 году контрреволюционный мятеж в Сибири и Поволжье, носили голубые мундиры. *«Итс э лонг уэй ту Типерери...»*— первые строки английской солдатской песни («Путь далекий до Типерери, путь далекий домой...»). *«Янки дудль...»*— слова старинной североамериканской песни («Янки, простофиля, не унывай, янки, простофиля и франт...») *Дома Стахеева* — дома, принадлежавшие до революции золотопромышленнику Стахееву. *Филиппов* — владелец булочных в дореволюционной Москве. *...едят у Зунделовича.*— Частная столовая в доме, где жил Маяковский. *Лиля* — Л. Ю. Брик. *Ося* — О. М. Брик (1888—1945), литературовед и критик. *...боли волжской...*— Имеется в виду голод в Поволжье в 1921—1922 годах. *Оля* — О. В. Маяковская (1890—1949), сестра поэта. *Лавут* П. И. (1898—1979) — организатор выступлений Маяковского в городах Союза в 1926—1930 годах. *...завтрашние галлиполийцы...*— Бежавшие из Крыма остатки белогвардейских войск высадились на Галлиполи — маленьком полуострове в европейской части Турции. *Лобное место* — каменный помост на Красной площади, построенный в XVI веке, откуда объявлялись важнейшие указы. Использовался также для совершения казней. *Стена — и женщина со знаменем...*— Речь идет о барельефе (работы С. Т. Коненкова) в память погибших во время боев в октябре 1917 года. Впоследствии в связи с реконструкцией одной из башен Кремля был снят с Кремлевской стены. *Красин* Л. Б. (1870—1926)—

первый советский посол во Франции. Находясь в Париже в декабре 1924 года, Маяковский был свидетелем приезда Красина в столицу Франции. *Дорио* Жак (1898—1945) — в то время один из руководителей Французской компартии, впоследствии изменил делу рабочего класса. *Войков* П. Л. (1888—1927) — советский полпред в Польше в 1924—1927 годах. 7 июня 1927 года был убит в Варшаве белогвардейским террористом. Маяковский встречался с Войковым во время своего пребывания в Варшаве в середине мая 1927 года. *...молодцы-вéнцы!* — Маяковский имеет в виду вооруженные выступления венских рабочих в июле 1927 года.

Во весь голос (с. 425).— По свидетельству современников, в конце 1929 года Маяковский задумал поэму о пятилетке. Однако этот замысел был осуществлен лишь частично. В феврале 1930 года Маяковским было опубликовано (а еще ранее прочитано на открытии выставки «20 лет работы» в клубе Федерации писателей) «Первое вступление в поэму», озаглавленное «Во весь голос». Одновременно поэт работал и над вторым, лирическим вступлением (было написано только несколько отрывков, публикуемых в этой книге, под названием «Неоконченное»). О том, каким представлялся Маяковскому замысел всей поэмы, сведений не сохранилось. Хотя поэт дал напечатанным стихам подзаголовок «Первое вступление в поэму», «Во весь голос» воспринимается как завершенное и самостоятельное произведение — так много в нем поэтической страсти и глубоких раздумий о жизни, эпохе, о сущности и назначении искусства, о месте поэта в революционной борьбе.

Засадила садик мило... — из популярной в те годы песни «Сама садик я садила, сама буду поливать». *...кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки...* — Ирония по отношению к Митрейкину К. Н. и Кудрейко А. А. — молодым в то время поэтам, вызвана, вероятно, тем, что они тяготели к литературной группировке конструктивистов, которую Маяковский неоднократно критиковал за эстетство и «техницизм». *«Тара-тина, тара-тина, т-эн-н...»* — строка из стихотворения «Цыганский вальс на гитаре» И. Сельвинского, возглавлявшего литературный центр конструктивистов. *Лета* — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве. *Це Ка Ка* — Центральная Контрольная Комиссия, партийный орган, избиравшийся съездом ВКП(б).

ПЬЕСЫ

Владимир Маяковский (с. 435).—Трагедия была написана летом 1913 года. Первоначальные названия — «Железная дорога», «Восстание вещей». В декабре 1913 года она была поставлена в пе-

тербургском театре «Луна-парк». Режиссером спектакля (состоялось два представления) был Маяковский, он же исполнял главную роль. В остальных ролях выступали учащиеся и любители. Декорации — П. Филонова и И. Школьника. Постановка вызвала к себе резко враждебное отношение буржуазной прессы. Отдельным изданием трагедия вышла в марте 1914 года.

Глубинный социальный смысл трагедии, построенной на неожиданных ассоциациях и сложнейших метафорах, был понятен в те годы далеко не всем читателям и критикам. Однако нельзя было не заметить звучащих в ней настроений тревоги, страдания и бунта. По свидетельству одного из участников спектакля, многие почувствовали «в Маяковском революционера, пусть выступающего с несколько сумбурной проповедью заступничества за изуродованные городом человеческие души, но все же разоблачающего кажущееся благополучие...» (журн. «Театр», 1938, № 4, с. 138).

...гладьте сухих и черных кошек! — Объяснение этого образа дано в статье Маяковского «Без белых флагов»: «Ведь когда египтяне или греки гладили черных и сухих кошек, они тоже могли добыть электрическую искру, но не им возносим мы песню славы, а тем, кто блестящие глаза дал повешенным головам фонарей и силу тысячи рук влил в гудящие дуги трамваев».

Мистерия-буфф (с. 452).—Пьеса была написана к первой годовщине Октябрьской революции. На чтении пьесы в сентябре 1918 года присутствовал нарком просвещения А. В. Луначарский, высоко оценивший это произведение. Отдельным изданием «Мистерия-буфф» вышла в начале ноября 1918 года. Пьеса была включена Центральным бюро по организации празднеств в честь годовщины революции в число праздничных мероприятий. Однако осуществить ее постановку с введением в постоянный репертуар театров не удалось. О сложных препятствиях на пути к театральной постановке «Мистерии-буфф» в Александринском театре в Петрограде Маяковский рассказал в статье «Только не воспоминания...». Премьера спектакля состоялась в помещении театра Музыкальной драмы 7 ноября 1918 года. Режиссерами постановки были Вс. Мейерхольд и Маяковский, художником — К. Малевич. Маяковский исполнял в спектакле роль «Человека просто», а также — из-за неявки ряда исполнителей — роль Мафусаила и одного из чертей.

Через два года Маяковский переработал и осовременил текст пьесы — в связи с включением ее в репертуар Театра РСФСР Первого, возглавлявшегося Вс. Мейерхольдом. Так возник второй вариант «Мистерии-буфф». Премьера спектакля в этом театре состоялась 1 мая 1921 года. Художниками постановки были А. Лавинский, В. Храковский и В. Киселев. Наряду с этим «Мистерия-буфф» была

поставлена в цирке — для делегатов III конгресса Коминтерна (на немецком языке, в переводе Р. Райт). Режиссером постановки был А. Грановский. Для этого спектакля Маяковским были написаны заново пролог и эпилог, а также сценка во втором действии. Отдельное издание второго варианта пьесы вышло в июне 1921 года.

Семь пар чистых... Семь пар нечистых.— По библейской легенде, во время всемирного потопа бог пощадил только праведника Ноя, которому велел построить ковчег и взять с собой семь пар чистых и семь пар нечистых животных для продолжения жизни на земле. *Шейдеман* Филипп (1865—1939) — один из лидеров правых социал-демократов Германии, предавший интересы рабочего класса. *Аллея Побед* — находится в парке в Берлине, вдоль нее установлены памятники германских императоров и полководцев. *Фош* Фердинанд (1851—1929) — маршал Франции, возглавлял предпринятое в 1918 году силами Антанты наступление на Германию. *...доползем до Арарата.*— По библейской легенде, Ноев ковчег, когда спали воды потопа, оказался на горе Арарат. *Сухаревка* — см. с. 733. *...алон занфан...* (ф р. «Allons enfants...») — начальные слова «Марсельезы» («Вперед, сыны...»). *Мы все Назареи!*— Согласно евангельской легенде, Христос был родом из Назарета. *...третья категория!*— В годы гражданской войны городское население снабжалось продовольствием по карточкам, имевшим несколько категорий. *Вздор перетряхивание! Нужны назначенцы.*— Эти слова — отклик на некоторые моменты дискуссии о профсоюзах, развернувшейся в стране в конце 1920 — начале 1921 года. Вместо сложившейся практики выдвижения на руководящую профсоюзную работу путем кооптации и «назначенства» партия требовала перехода к демократическим выборам. В. И. Ленин подверг острейшей критике позицию Троцкого, утверждавшего, что единственное средство оживления деятельности профсоюзов — «перетряхивание» руководящих кадров. *Необходимы буфера-с.*— Намек на платформу, с которой выступил в дискуссии о профсоюзах Бухарин, стремясь сгладить принципиальные противоречия между точкой зрения В. И. Ленина и позицией троцкистской группы.

Клоп (с. 548).— Пьеса была написана в конце 1928 года. В декабре Маяковский ознакомил друзей с текстом комедии. «Клоп» продолжает и завершает один из основных мотивов сатиры Маяковского, на что указывал и сам автор: «...это театральная вариация основной темы, на которую я рисовал плакаты и агитки. Это тема борьбы с мещанством».

Пьеса Маяковского была поставлена в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда, премьера состоялась 13 февраля 1929 года. Постановка была осуществлена Вс. Мейерхольдом, в роли ассистента режиссера выступал автор, художественно-оформительская работа —

Кукрыниксов и А. Родченко, музыка была написана Д. Шостаковичем. Отдельным изданием пьеса вышла в августе 1929 года.

...генералу Нобиле...— Нобиле Умберто (1885—1978), итальянский дирижаблестроитель и полярный исследователь, руководил итальянской экспедицией к Северному полюсу на дирижабле «Италия» (1928). *Дороти... Лилиан* — имена популярных в те годы американских актрис, сестер Гиш. *Венизелос* Элефтериос (1864—1936) — политический деятель Греции, неоднократно был премьер-министром. *Я, Зоя Ванна, я люблю другую...*— перифраз и пародийное использование строчек из стихотворения И. Молчанова «Свидание». *Мы разошлись, как в море корабли...*— строка из романса Б. Прозоровского «Корабли». *Гарри Пиль* — популярный в те годы немецкий киноактер. *Мулен-Руж* — известное парижское кабаре. *Кто воевал, имеет право...*— перифраз строки из стихотворения И. Молчанова «Свидание». *На Луначарской улице...*— перифраз строки песни на слова стихотворения Я. П. Полонского «Затворница». *Съезжалися к загсу трамваи...*— перифраз слов песни «Стояли у церкви кареты, там пышная свадьба была». *Холодная* В. В. (1893—1919) — популярная в дореволюционные годы киноактриса. *Цедура* (искаж. це-дур)—музыкальный термин, обозначающий тональность. *Уткин* И. П. (1903—1944)— советский поэт, автор популярного в те годы стихотворения «Гитара», по поводу которого Маяковский не раз иронизировал из-за его «романсового» характера. *Хувер* (Гувер) Герберт Кларк (1874—1964) — американский политический деятель, в 1929—1933 годах был президентом США.

Баня (с. 584).— Пьеса была написана в середине 1929 года. 23 сентября Маяковский читал ее на заседании Художественно-политического совета Государственного театра им. Вс. Мейерхольда. Основной смысл и пафос пьесы автор определил следующим образом: «...борьба с узостью, с делячеством, с бюрократизмом — за героизм, за темп, за социалистические перспективы». Наряду с образами Победоносикова, Оптимистенко, олицетворяющими бюрократическое равнодушие и косность, в пьесе выведены образы иного плана — изобретателя Чудакова, Велосипедкина и др.

Пьеса Маяковского была принята к постановке несколькими театрами. Впервые она была показана в ленинградском драматическом театре Государственного народного дома 30 января 1930 года (режиссер В. Г. Люце). 16 марта состоялось представление в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда — постановка Вс. Мейерхольда, ассистент режиссера Маяковский, художественно-оформительская работа С. Вахтангова и А. Дейнеки, музыка В. Шебалина. 17 марта состоялась премьера в филиале ленинградского Государственного Большого драматического театра (режиссер постановки П. Вейсбрем).

...легкий кавалерист.— «Легкой кавалерией» назывались добровольные группы комсомольцев, помогавшие органам государственного контроля выявлять недостатки в работе предприятий и учреждений. *Коган* П. С. (см. с. 735). *Брюханов* Н. П. (1878—1942) — в то время народный комиссар финансов. *Ай Иван в дверь...*— Переводчица Рита Райт помогала Маяковскому в подборе слов для реплик Понта Кича. В ее воспоминаниях рассказывается, каким приемом поэт хотел достичь комического эффекта: «Надо сразу придумать и английское слово и то русское, которое из него можно сделать, например, «из вери уэлл» — по-русски будет «и зверь ревел»... Из английского «ду ю уант» вышел «дуй Иван», «пленти» превратилось в «плюньте», «джаст мин» в «жасмин», «андестенд» в «Индостан», «ай сэй иф» — в «Асеев». (В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963, с. 262.) *Луи Жакоп.*— Жакоб — фамилия известных старых французских мастеров художественной мебели (XVIII—XIX вв.). Луи среди них не было. *Луи Мове Гу.*— Мове гу (ф р. mauvaise goût) — дурной вкус. *Гублит* — Губернское управление по делам литературы и издательств. *...эльфы... цвельфы...*— Запутавшись в иностранных словах, Иван Иванович «изобретает» несуществующее слово: по-немецки elf — одиннадцать, zwölf — двенадцать. *«Вишневая квадратура»... «Дядя Турбиных».*— Здесь соединены названия шедших во МХАТе пьес Чехова «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» с названиями поставленных там же пьес, принадлежащих В. Катаеву — «Квадратура круга» (1928) и М. Булгакову — «Дни Турбиных» (1926). *...связи фридляндского порядка.*— Намек на книгу Л. Фридлянда «За закрытой дверью. Записки врача-венеролога». *...без вождя и без ветрил!*— Перефразировка строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» — «Без руля и без ветрил».

ПРОЗА

Умер Александр Блок (с. 629).— Александр Александрович Блок (1880—1921) умер 7 августа. *Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры...*— Эта встреча нашла отражение в поэме «Хорошо!» (см. с. 373—374).

В. В. Хлебников (с. 630).— Виктор (Велимир) Владимирович *Хлебников* (1885—1922) умер 28 июня. *ОПОЯЗ* — общество изучения теории поэтического языка, существовало с 1914 по 1923 год. *Для Хлебникова слово — самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей.*— Маяковский имеет в виду «теорию словотворчества» Хлебникова, изложенную в статьях «Учитель и ученик», «Разговор Олега и Казимира», «Художники мира», «О совре-

менной поэзии», «Разложение слова», «Наша основа» и др. *Леса лысы...*— неточная цитата из статьи В. Хлебникова «Учитель и ученик». *Чуждый чарам черный челн...*— строка из стихотворения «Челн томленья» К. Бальмонта. *«Зангези»* — повесть-поэма Хлебникова, изданная в Москве в 1922 году. *Кони. Топот. Инок...*— из стихотворения Хлебникова «Перевертень». *«Заклятие смехом»*— стихотворение Хлебникова. Маяковский цитирует это стихотворение неточно, пропуская строки и переставляя слова. *Любите, любите, любите, любите...*— Маяковский перефразирует начальные строки стихотворения К. Бальмонта «Хвалите». *Однажды Хлебников сдал в печать шесть страниц производных от корня «люб».*— Речь идет о стихотворении «Любхо». *«Крылышкуя золотописьмом тончайших жил...»*— Маяковский цитирует это стихотворение неточно, смешивая разные редакции. *У колодца...*— неточно цитируемые строки из стихотворения Хлебникова «Конь Пржевальского» («Гонимый — кем, почем я знаю?..»). *Сегодня снова я пойду...*— это четверостишие Хлебникова впервые опубликовано Маяковским в статье «Теперь к Америкам!» в 1914 году. *Якобсон* Р. О. (1896—1982) — литературовед и лингвист, в 1920 году эмигрировал в Чехословакию, оттуда в Америку. В 1919 году написал работу «Новейшая русская поэзия. Набросок первый — Виктор Хлебников». *«Ладомир»* и *«Царапина по небу»*— поэмы Хлебникова 1920—1922 годов. *Посмертное восхваление Хлебникова Городецким...*— Имеется в виду некролог Сергея Городецкого «Велимир Хлебников». *«Пощечина общественному вкусу»* — альманах, вышедший в Москве в 1912 году. В нем участвовали Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников и др. *«Садок судей».*— Альманах «Садок судей» I, в котором участвовали В. Хлебников, В. Каменский, Д. Бурлюк, Е. Гуро, Н. Бурлюк, Е. Низен, С. Мясоедов, А. Гей (А. Городецкий), был издан в 1910 году. *Бурлюк* Д.Д. (1882—1967) — поэт-футурист, один из авторов коллективного манифеста, открывающего альманах «Пощечина общественному вкусу», активный участник футуристических изданий и выступлений.

Париж. Быт (с. 635).— *Эррио* Эдуар (1872—1957) — французский политический деятель, в течение многих лет был премьер-министром, сторонник сотрудничества с СССР. *Жоффр* — см. с. 732. *...разный смысл «12».*— Имеется в виду поэма А. Блока «Двенадцать», в которой, как писал Маяковский в своей статье о поэте, одни увидели «сатиру на революцию, другие — славу ей». *Монпарнас, Монмартр* — районы Парижа. *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — французский политический деятель, в 1913—1920 годах — президент, в 1922—1924 годах — премьер-министр страны, один из организаторов антисоветской интервенции в годы гражданской войны. *...диле* — берлинские кафе, где посетители могут танцевать. *Фореггер* Н. М. (1892—1939) — советский режиссер и балетмейстер.

С е м и д н е в н ы й с м о т р ф р а н ц у з с к о й ж и в о п и с и (с. 643).— *Иванов* В. И. (1866—1949) — русский поэт-символист. *«Бубновый валет»* (1910—1917) — объединение московских художников. *«Летучая мышь»* — московский театр миниатюр (1908—1920). *Камерный театр* — драматический театр в Москве (1914—1950). *Ротонда* — парижское кафе, где обычно собирались поэты и художники. *Гиппиус* З. Н. (1869—1945) — русская писательница, с 1920 года — в эмиграции, занимала резко антисоветскую позицию. *Малявин* Ф. А. (1869—1940) — русский художник, в 1922 году уехал за границу. *Павлова* А. П. (1881—1931) — знаменитая русская балерина. *«Биржевка»* — газета «Биржевые ведомости», издававшаяся в Петербурге в 1880—1917 годах. *Бурбонские лилии* — эмблема французской королевской династии Бурбонов.

С н е б а н а з е м л ю (с. 662).— *Еще в восемнадцатом году т. Ленин указывал в «Правде»...* — Маяковский имеет в виду статью В. И. Ленина «О характере наших газет», опубликованную в газете «Правда» 20 сентября 1918 года. В ней, в частности, говорилось: «Почему бы, вместо 200—400 строк, не говорить в 20—10 строках о таких простых, общеизвестных, ясных, усвоенных уже в значительной степени массой явлениях, как подлое предательство меньшевиков, лакеев буржуазии, как англо-японское нашествие ради восстановления священных прав капитала, как лязганье зубами американских миллиардеров против Германии и т. д., и т. п.? Говорить об этом надо, каждый новый факт в этой области отмечать надо, но не статьи писать, не рассуждения повторять, а в нескольких строках, «в телеграфном стиле» клеймить новые проявления старой, уже известной, уже оцененной политики» (Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 89). *В речи т. Калинина на четвертом съезде работников печати — тоже призыв...* — Четвертый Всероссийский съезд работников печати проходил в Москве в феврале 1923 года. 7 февраля от имени Всероссийского и Союзного Центральных Исполнительных Комитетов съезд приветствовал М. И. Калинин, который в своем выступлении подчеркнул, что борьба за содержательность газетных материалов должна быть неразрывно связана с борьбой за ясную, понятную широким массам форму изложения.

О м е л о ч а х (с. 663).— *В речах Ильича...* — В. И. Ленин неоднократно говорил о необходимости самого внимательного отношения к «хозяйственным мелочам», подчеркивая важность борьбы за производство каждого пуда хлеба, угля, за экономию каждой государственной копейки. «Мы теперь должны,— указывал он в 1922 году,— все рассчитывать, и каждый из вас должен научиться быть расчетливым» (Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 306). *...на вере-*

вочки, которые в хозяйстве обязательно пригодятся.— Здесь Маяковский перефразирует слова Осипа из гоголевского «Ревизора»: «Что там? веревочка? давай и веревочку! и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно».

Как делать стихи? (с. 664).— Статья «Как делать стихи?», написанная, по всей вероятности, в марте — мае 1926 года,— своеобразный итог литературно-критической деятельности Маяковского. Она направлена против шаблона и штампа в поэзии и литературной критике. Сам поэт неоднократно подчеркивал ее ярко выраженный полемический характер. «Мной написана книжка на тему «Как делать стихи?»,— сообщал он в предисловии к отрывку статьи, напечатанному в газете «Заря Востока» 5 июня 1926 года.— В этой книге я стараюсь подойти к поэзии не как к свалочному месту для древностей — ямбов, хореев, сонетов и т. д., а как к живому производственному процессу. Одним из основных моментов поэтического произведения является «социальный заказ». Во второй части моей книги... я стараюсь обосновать это понятие на живом факте писания одного из стихотворений».

...по всем шенгелевским правилам...— *Шенгели* Г. А. (1894—1956) — поэт, переводчик, литературовед, автор ряда «учебных руководств» для писателей. *...они составлены...*— Маяковский говорит о книгах М. Бродовского «Руководство к стихосложению», Г. Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы», Н. Греча «Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики, и пиитики, и истории российской словесности» и Н. Абрамова «Полный словарь русских рифм» (Русский рифмовник)». *Мы стали злыми и покорными...*— Маяковский неточно цитирует стихотворение З. Гиппиус «Сейчас». *Викжель* — Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорожников. *Герои, скитальцы морей, альбатросы...*— строфа из стихотворения В. Т. Кириллова (1890—1943) «Матросам» (1918). *«Сии стихи...»* — неточная цитата из «Учебной книги российской словесности...» Н. Греча. *«Развлечение»* — еженедельный иллюстрированный журнал. *В тот день тебя...*— Маяковский цитирует стихотворение Б. Пастернака «Марбург», несколько изменяя приводимую строфу. *Милый, милый, смешной дуралей...*— из поэмы Есенина «Сорокоуст» (1920); *«Небо — колокол, месяц — язык... // Мать моя — родина, // Я — большевик...*— из стихотворения «Иорданская голубица» (1918). *Сосновский Л. С.* (1886—1937) — экономист, журналист, литературный критик, выступал против Маяковского с резкими статьями. *...кроя его, главным образом, за разросшийся вокруг него имажинизм.*— В первые годы после революции Есенин был связан с группой русских имажинистов

(А. Мариенгоф, В. Шершеневич, А. Кусиков и др.). *Потом Есенин уехал...*— Есенин был за границей в Западной Европе и Америке в 1922 — первой половине 1923 года. *ВАПП* — Всероссийская ассоциация пролетарских писателей. *...утром газеты принесли предсмертные строки...*— Есенин покончил жизнь самоубийством 27 декабря 1925 года. Его предсмертное стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...», которое цитирует Маяковский, впервые было опубликовано в «Красной газете» (вечерний выпуск) 29 декабря. *...откуда это неподходящее слово взял и Безыменский.*— Маяковский, по всей вероятности, имеет в виду стихотворение А. Безыменского «Встреча с Есениным». *Но такого злого хулиганства...*— из стихотворения А. Жарова «На гроб Есенина». *Начиная с Когана...*— Литературный критик П. С. Коган в связи с самоубийством Есенина написал несколько статей, а также произнес в Академии художественных наук и в Доме печати речь, опубликованную затем в журнале «Печать и революция». Все эти выступления были выдержаны в панегирических тонах. *...«блохи все не плохи...»*— несколько измененные слова Луки из пьесы М. Горького «На дне». *...книжонками Крученых...*— В 1926 году, ко времени написания статьи, А. Крученых выпустил три брошюры о Есенине: «Гибель Есенина», «Есенин и Москва кабацкая», «Черная тайна Есенина». *Напостов.*— Напостовцы — писатели и критики, группировавшиеся вокруг журнала «На посту». *«Неделя»* — повесть Ю. Либединского (1898—1959), рассказывающая о революционной борьбе коммунистов одного из уездных городов Урала. *«Лепестки»* — литературный сборник, составленный из произведений рабочих. Маяковский цитирует стихи из пьесы наборщика Грина «Карманьола». *...радимовские поросята...*— Речь идет о стихотворении П. А. Радимова (1887—1967) «Свиное стадо». *...обрушившись на опошливающих есенинскую работу...*— По воспоминаниям, Маяковский перед чтением с эстрады стихотворения «Сергею Есенину» говорил: «Вскоре после смерти Есенина в помещении Художественного театра состоялся вечер его памяти. На фоне тощей, надломившейся березки выступали с «прочувствованными» речами ораторы. Затем Собинов тоненьким голоском запел: «Ни слова, о друг мой, ни вздоха, мы будем с тобой молчаливы...», хотя молчалив был только один Есенин, а Собинов продолжал петь. Вся эта обстановка произвела на меня удручающее впечатление» (Лавут П. И. «Маяковский едет по Союзу»). *Доронин* И. И. (1900—1978) — поэт. Его поэма, о которой говорит Маяковский, называется «Тракторный пахарь» (1926). *Не придет он так же вот...*— из стихотворения И. П. Уткина «Курган» (1926). *Мы ветераны...*— неточная цитата из стихотворения Эмиля Верхарна «Мор» в переводе В. Брюсова. *...«быть может, все в жизни лишь средство...»*— из стихотворения В. Брюсова «Поэту» («Ты должен быть гордым, как знамя...»). *Я вольный ве-*

тер, я вечно вею...— из стихотворения К. Д. Бальмонта (1867—1942) «Снежные цветы», входящего в лирический цикл «Воздушно-белые». *Шибанов молчал...*— из баллады А. К. Толстого «Василий Шибанов».

«А что вы пишете?» (с. 697). *«Марксизм — оружие, огнестрельный метод, применяй умеючи метод этот!»*— Стихотворение было напечатано в пятом (майском) номере журнала «Журналист». Первые две строки в приводимой Маяковским цитате в окончательный текст не вошли. *...мои язвительные слова...*— Маяковский имеет в виду отчет ленинградской «Красной газеты» от 18 мая 1926 года о его выступлении в Государственном институте истории искусств. В отчете сообщалось: «Не мил ему (Маяковскому.— *Ред.)* и Лермонтов, хотя бы уже за то, что «у Лермонтова целые горы небесных сил // И ни слова об электрификации». За то, что «любой строчкой Лермонтов доказывает, что он интеллигент и к тому же деклассированный». *...после сдачи по договору своей комедии-драмы...*— Речь идет о «Комедии с убийством», работа над которой не пошла дальше черновых набросков. *Полное собрание сочинений...*— Весной 1925 года Госиздат заключил с Маяковским договор на издание его Собрания сочинений в четырех томах. По договору издание должно было быть осуществлено в течение одного года. В дальнейшем сроки выпуска томов неоднократно передвигались; после настойчивых предложений вначале была достигнута договоренность о пополнении его пятым томом, затем оно было еще более увеличено. В конечном итоге издание расширилось до десятитомного Собрания сочинений. 1—6-е тома вышли в свет при жизни Маяковского; остальные появились после его смерти. Из последних четырех томов седьмой и восьмой были подготовлены к печати самим поэтом. *...продолжение журнала «Леф».*— Ежемесячный журнал «Новый Леф» выходил в течение двух лет: с января 1927 по декабрь 1928 года. *...вроде различных «Игорей»...*— Имеется в виду опера А. П. Бородина «Князь Игорь».

Ездил я так (с. 703).— Очерк написан под впечатлением поездки в Чехословакию, Францию, Германию и Польшу в апреле — мае 1927 года. *Бальмонт* К. Д. (1867—1942) — русский поэт, после Октябрьской революции — эмигрант. Сонет, посвященный Маяковскому, был написан Бальмонтом в январе 1918 года. *Броневский* Владислав (1897—1962) — польский поэт, один из зачинателей пролетарской поэзии. *Якобсон* — см. с. 748. *...синеблузные вещи...*— То есть произведения, характерные для «Синей блузы»— разновидности эстрадного театра, получившего распространение в 20-х годах, для которого было характерным обращение к злободневным вопросам текущей жизни. Актеры выступали в синих рабочих блузах, что и дало название этому направлению в профессиональном и самодеятельном

театре. *Тагор* Рабиндранат (1861—1941) — крупнейший индийский писатель-гуманист и общественный деятель. *Милюков* П. Н.— см. с. 739. *Бенеш* Эдуард (1884—1948) — государственный и политический деятель Чехословакии, в 20-е годы был министром иностранных дел. *Дюамель* Жорж (1884—1966) — французский писатель; был в Москве в марте — апреле 1927 года. *...основываясь на печальном опыте с Мораном и Берро...*— Маяковский имеет в виду клеветнические очерки французского писателя Поля Морана «Я жгу Москву» и журналиста Анри Берро «Что я видел в Москве», выпущенные после их поездки в СССР в 1924 году. *Дюртен* Люк (1881—1959) — французский писатель. *Они собираются на свои обеды уже с 1909 года.*— Маяковский говорит о заседаниях «Пен-клуба», который был организован не в 1909 году, а в 1921 году. *Дягилев* С. П. (1872—1929)— русский художественный и театральный деятель, антрепренер, организатор в Париже так называемых русских сезонов — выступлений балетных и оперных групп. *«Ажаны»* (фр.) — полицейские. *«Клартэ»* — международное объединение прогрессивных деятелей культуры, издававшее в 1919—1928 годах свой журнал. *Кор-а-кор* (фр.) — схватка, рукопашная. *«Бродячая собака»* — артистический подвал-кафе, в котором собиралась художественная богема предреволюционного Петрограда. *Иванов* Г. В. (1894—1958) — русский поэт, входивший в группу акмеистов, в 1923 году эмигрировал за границу. *Бехер* И. Р. (1891—1958) — немецкий поэт. *«Ротэ Фанэ»* — газета, центральный орган Коммунистической партии Германии. *Каменева* О. Д. — в то время — председатель правления ВОКС. *Роган* Карл — редактор немецкого журнала «Europäische Revue». *Пепеэсовцы* — члены партии ППС (Польской партии социалистов). *...письма Родченко...*— имеются в виду письма художника А. М. Родченко (1891—1956) из Парижа, напечатанные в № 2 журнала «Новый Леф» за 1927 год. *Слонимский* Антони (1895—1976) — польский писатель. В 1921 году перевел «Левый марш», одновременно с которым напечатал как бы в ответ Маяковскому свое стихотворение «Контрмарш». *Стерн* Анатоль (1899—1968) — польский поэт, переводчик стихов Маяковского.

Рожденные столицы (с. 710).— Очерк написан после лекционной поездки Маяковского в конце 1927 года по маршруту Харьков — Ростов — Новочеркасск — Таганрог — Армавир — Баку — Тифлис.

Желоночная добыча нефти — подъем нефти из скважины при помощи желонки, примитивного прибора, напоминающего ведро. *...«беру манташевские, даю манташевские!»*— Речь идет о биржевых спекуляциях акциями бывшего нефтепромышленника Манташева. *Я видел Баку 24-го года.*— В 1924 году Маяковский в Баку не выступал,

но, возможно, был там проездом на пути из Тифлиса в сентябре 1924 года. Не лишено вероятности, что 24-й год назван ошибочно, и Маяковский имеет в виду свое посещение Баку в феврале 1926 года. *Тов. Киферис* — Тиферис Л. Л.— в 1927 году один из руководителей технической реконструкции бакинской нефтяной промышленности. *Групповой привод* — метод глубоконасосной эксплуатации, при котором от одного привода (мотора) эксплуатируется несколько скважин. *Азпролеты* — азербайджанские пролетарские поэты. *...восточные сладости, вывозимые отсюда Есениным...*— Маяковский имеет в виду сборник стихов С. Есенина «Персидские мотивы», написанных поэтом в 1924 году в Баку. *...от необычайности зрелища.*— Речь идет о первой в СССР электрифицированной железной дороге между Баку и его рабочими пригородами.

Письмо Равича и Равичу (с. 714).— *Равич* Л. О. (1909—1957) — поэт и очеркист. В 1928 году учился на рабфаке в Ленинграде. *...применительно к Петру Великому...*— Имеется в виду памятник Петру Первому в Ленинграде работы скульптора Э. М. Фальконе (1716—1791). *«Я хочу быть понят своей страной...»*— из вариантов стихотворения «Домой!».

Из выступления в Доме комсомола Красной Пресни на вечере, посвященном двадцатилетию деятельности (с. 721).— 25 марта 1930 года в Центральном доме комсомола Красной Пресни состоялся вечер Маяковского. Здесь же была развернута выставка Маяковского «Двадцать лет работы», перенесенная из клуба Федерации писателей. Ее открытие в Доме комсомола состоялось 18 марта. На вечере поэт рассказывал о своем творчестве, читал стихи, отвечал на записки. В прениях выступали молодые рабочие, комсомольцы, члены литературной бригады Маяковского, представители «Комсомольской правды» и райкома комсомола. Выступление Маяковского на вечере было застенографировано, однако стенограмма не была выправлена, к тому же качество записи местами неудовлетворительное.

Профессор Воронов С. А. (1866—1951) — хирург, работавший в области пересадки человеческих органов. *«От горящей домны революции отошел великий кочегар»* — из стихотворения А. Жарова «На смерть Ленина». *Вот т. Шафир... выпустил книжку...*— Имеется в виду книжка Я. Шафира «Газета и деревня». *...Катаев... идет на завод...*— В «Литературной газете» 1 июля 1929 года был напечатан очерк В. П. Катаева о соцсоревновании на Московском тормозном заводе «То, что я видел», вызвавший резкую критику в печати. *Товарищи наши из бригады...*— Речь идет о молодежной группе, организованной в феврале 1930 года и поставившей своей целью изучение и пропа-

ганду творчества Маяковского. *Последняя из написанных вещей — о выставке...*— Речь идет о поэме «Во весь голос». *Северянин* (Лотарев) И. В. (1887—1941) — поэт, глава поэтической группы «эгофутуристов». Маяковский неточно цитирует его строки из «Поэзы истребления» (1914). *...в «Красной ниве» статья т. Покровского...*— Ответ заместителя Наркомпроса РСФСР М. Н. Покровского на анкету «Красной нивы» о Пушкине, опубликованный в декабрьском номере журнала. *«Смирись, Кавказ: идет Ермолов!»*— строка из эпилога поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник».

А. Ушаков

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

ПЬЕСЫ

ПРОЗА

Маяковский В. В.

М 39 Сочинения в двух томах. Т. II/Сост. Ал. Михайлова; Прим. А. Ушакова.— М.: Правда, 1988.—768 с.

Во второй том Сочинений В. В. Маяковского входят поэмы, избранные пьесы и прозаические произведения поэта.

М $\frac{4702010200-1515}{080(02)-88}$ 1515—88 (подписное) 84 Р 7

Владимир Владимирович Маяковский

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том второй

Редакторы Е. Дворецкая, Т. Лодяная

Художественные редакторы В. Масленников, А. Моисеев.

Технический редактор К. Заботина

ИБ 1515

Сдано в набор 22.01.87. Подписано в печать 17.06.87.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 40,32. Усл. кр.-отт. 40,74. Уч.-изд. л. 42,53.
Тираж 6 000 000 экз. (6-й завод: 1 250 001—1 500 000).
Заказ 2021. Цена 3 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва Архангельского обкома КПСС, 163002, г. Архангельск, проспект Новгородский, 32.




2
В·В·МАЯКОВСКИЙ